АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

3

МАЙ — ИЮНЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
МОСКВА — 1980

СОДЕРЖАНИЕ

Трубачев О. Н. (Москва). Реконструкция слов и их значений 3

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Поздняков К. И. (Москва). Вопросы методики сравнительно-генетического анализа (на материале языков манде) 15
Елизаренкова Т. Я. (Москва). Ведийский и санскрит: к проблеме вариации лингвистического типа 22
Черкасов Л. Н. (Ярославль). О классификации согласных современного русского литературного языка по способу образования 36
Пумпянский А. Л. (Калинин). К вопросу о материальной стороне языка 46
Алпатов В. М., Крючкова Т. Б. (Москва). О мужском и женском вариантах японского языка 58

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Тарланов З. К. (Петрозаводск). К вопросу об изоморфизме глагольно-именных формантов в дагестанских языках 69
Гринбаум Н. С. (Ленинград). Древнегреческий литературный язык. Раннеэллинистический период 79
Хаттори С. (Токио). О формировании татарского и чувашского языков 86
Бирюкович Р. М. (Саратов). К семантическому обоснованию категории принадлежности в тюркских языках 95
Сологуб А. И. (Москва). Об ударении в парадигмах существительных женского рода единственного числа в русских говорах 107
Лундин А. Г. (Ленинград). Степени сравнения прилагательных в семитских языках 118
Гамзатов Р. Э. (Москва). Развитие языковой жизни Дагестана в условиях зрелого социалистического общества 123

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Рецензии

Домашнев А. И., Смирницкая С. В., Найдич Л. Э. (Ленинград). *W. Haas.* Sprachwandel und Sprachgeographie 129
Баскаков А. Н. (Москва). *Й. Скацел.* Общественные функции русского языка в развитии социально-экономической интеграции в Чехословакии 132
Климов Г. А. (Москва). *C. Tchekhoff.* Aux fondements de la syntaxe: l'ergatif 135
Бородина М. А., Сухачев Н. Л. (Ленинград). *А. А. Касаткин.* Очерки истории литературного итальянского языка (XVIII—XX вв.) . . . 137
Сизова И. А. (Москва). *F. de Tollenaere, R. L. Jones.* Word-indices and word-lists to the Gothic Bible and minor fragments 141
Нигматуллин А. З. (Уфа). *Х. Р. Курбатов.* Татарская лингвистическая стилистика и поэтика 145
Максимов В. И. (Ленинград). «Краткий толковый словарь русского языка (для иностранцев)» 148
Михайловская Н. Г. (Москва). «Язык Толстого» 151

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки 155

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

О. С. Ахманова, Ф. М. Березин, Р. А. Будагов, Ю. Д. Дешериев, А. И. Домашнев, Ю. Н. Караулов, Г. А. Климов (отв. секретарь редакции), *В. З. Панфилов* (зам. главного редактора), *В. М. Солнцев* (зам. главного редактора), *О. Н. Трубачев, Ф. П. Филин* (главный редактор), *В. Н. Ярцева*

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка, редакция журнала «Вопросы языкознания». Тел. 202-92-04

Зав. редакцией *И. В. Соболева*

© Издательство «Наука», «Вопросы языкознания», 1980 г.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1980

ТРУБАЧЕВ О. Н.

РЕКОНСТРУКЦИЯ СЛОВ И ИХ ЗНАЧЕНИЙ *

Практически с самого момента провозглашения примата синхронии над диахронией наметилась и антитеза между исчезающе малым объемом понятия синхронии и всеобъемлющим характером диахронии. Строгий принцип единого среза, одномоментности в синхронии никогда не выдерживался да и не мог быть выдержан, чем объясняется вынужденная необходимость условно принимать за синхронное состояние отрезок времени некоторой протяженности, с чем неизбежно связано упрощение действительности [1]. Например, по мнению Ж. Ре-Дебов, основанному на наблюдаемой смене биологических и социолингвистических поколений, «...чистая синхрония соответствует шестидесяти годам языковой истории» [2]. В этом можно усмотреть petitio principii, но важно другое. Если действительность так властно диктует моделирование синхронных и ахронических схем по образу периодов развития («...une diachronie très courte, considérée comme une synchronie pratique...»), то это означает возможность и даже необходимость в синхронии, описании более широкого применения методов и достижений диахронии, истории. Однако на практике дело обстоит иначе. Использование диахронических методов в синхронии сковывалось и тормозилось упомянутой идеей примата синхронии и декларацией пропасти между синхронией и диахронией, хотя сама языковая реальность нас учит другому и убеждает в необходимости преодолевать инерцию теории.

Из всей обширной проблематики нас интересует здесь аспект слова и его значения, а также наиболее глубокого понимания этого значения, т. е. лексикологический и лексикографический аспекты проблемы. Продолжая приведенную выше критику примата синхронии над диахронией (историей), я считаю уместным напомнить уже высказывавшуюся ранее мысль о том, что (1) «...все словари — исторические в той или иной мере, ...абсолютно только понятие исторического словаря» [3]. Равным образом (2) углубленное понимание современного значения слова есть тем самым его реконструкция. Какие-то стороны значения слова активны, какие-то, наоборот, пассивны, латентны, приглушены,

---

* В основу этой статьи лег доклад на IV заседании Комиссии по лексикологии и лексикографии при Международном комитете славистов [Либлице (ЧССР), май 1979 г.], посвященном проблемам значения слова. Обмен мнениями по наиболее острым вопросам лексической семантики, имевший там место, показалось целесообразным в интересах дела отразить в настоящей статье.

[1] Ф. де Соссюр, Курс общей лингвистики, в кн.: Ф. де Соссюр, Труды по языкознанию, М., 1977, стр. 134.

[2] J. Rey-Debove, Étude linguistique et sémiotique des dictionnaires français contemporains, The Hague — Paris, 1971, стр. 98.

[3] О. Н. Трубачев, Лексикография и этимология, в кн.: «Славянское языкознание. VII Международный съезд славистов. Доклады советской делегации», М., 1973, стр. 294.

но они есть и могут проявляться при употреблении слова. Связь активных и латентных сторон значения несомненна, концепция целостности значения слова едва ли подлежит спору (ср. *ниже*), *описание одних* сторон и игнорирование других — едва ли лучший способ познания, и в этом элементарно намечается взаимодействие методов синхронии и диахронии в исследовании значений слов.

Реконструкция, на которой строится компаративистика, была всегда реконструкцией форм. Реконструкция была предметом интересов и сомнений для всех, кто думал о недоступном прошлом и видел в реконструкции либо исключительно формулу соответствия, как А. Мейе, либо реальные формы языка и цель всякого сравнения, как Ф. де Соссюр [4].

Однако, чтобы быть действительно реальной, реконструкция полнозначных элементов языка должна быть также реконструкцией значения. Вместе с тем мы должны констатировать, что реконструкция лексических значений решительно отстает в своей методике. Ее роль пассивна и вспомогательна, о ней вспоминают, когда что-то «не так». Ср. обращение к семантическому критерию в известных принципах этимологического исследования О. Семереньи, точнее, только в одном из этих принципов: «В. Если этимон вызывает предположение о необычном семантическом развитии, исследователь должен заново проверить этимологию с *фонологической точки зрения*» [5].

Как это ни странно, реконструкция древнего слова отнюдь не часто оказывается единой адекватной реконструкцией формы и значения. А поскольку слово — это обязательное единство формы и значения, мы приходим к обескураживающему выводу, что реконструкция слова — акт не только сложный, но и редкий. Не случайно поэтому реконструкция теснее связывается по-прежнему не с лексикологией, а с грамматикой (фонетика, морфология, словообразование, синтаксис), которой принадлежит бóльшая часть рекомендаций и правил, связанных с реконструкцией.

Из этого парадоксального положения вырастают другие недостатки. Взаимосвязь значения и формы в практике сравнения и этимологии не оставляла сомнений ни у кого, но понималась весьма своеобразно. Примером слишком буквального и чересчур жесткого истолкования этой связи может служить статическая концепция семантики родственных слов в трудах В. Махека: родственными признаются слова, пусть даже весьма далекие формально, но с тем же самым значением [6]. Таким образом, присущие этой этимологической школе очень широкие допущения формальных

---

[4] О воззрениях «формалистов» и «реалистов» на реконструкцию и целом круге проблем см. специальный итальянский сборник, который говорит об остром теоретическом интересе последних лет именно к реконструкции, а вместе с ней — к проблемам диахронической лингвистики, сравнительного языкознания («Problemi della ricostruzione in linguistica. Atti del convegno internazionale di studi. Pavia, 1—2 ottobre 1975» a cura di R. Simone e U. Vignuzzi, Roma, 1977. В этом сборнике нет, однако, ни одного доклада по семантической реконструкции). Ср., далее, тезисы докладов конференции «Проблемы реконструкции» (М., 23—25 октября 1978 г.) (насколько можно судить, вопрос о семантической реконструкции на конференции не ставился), наконец — специальную новую монографию Г. Бирнбаума [H. Birnbaum, Linguistic reconstruction: its potentials and limitations in new perspective, Washington [б. г.] (= «Journal of Indo-European studies», monograph № 2)]. В этой небольшой реферативной работе есть специальный раздел «*Semantic reconstruction*» (стр. 41), в котором прогресс в семантической реконструкции связывается с успехами этимологических исследований.

[5] О. Семереньи, Славянская этимология на индоевропейском фоне, ВЯ, 1967, 4, стр. 12; O. Szemerényi, Principles of etymological research in the Indo-European languages, в кн.: «II. Fachtagung für indogermanische und allgemeine Sprachwissenschaft», Innsbruck, 1962.

[6] См. второе, посмертное издание: V. Machek, Etymologický slovník jazyka českého, Praha, 1971 (Úvodní slovo, стр. 11).

отклонений как бы компенсируются своеобразным семантическим ригоризмом, в чем можно признать внутреннюю логику с позиций данного метода, но трудно признать адекватность фактам языка. Все же это свидетельствует о поисках надежных опорных пунктов в семантике. Но в еще большей степени свидетельствует это о том, что в семантике еще элементарно не выработано понятие исторического (диахронического) тождества. Одного этого достаточно, чтобы понять, какая пропасть разделяет детально разработанную фонетику и семантику как она есть. Важность оперирования историческим тождеством в фонетике и этимологии понята давно, и тем заложена основа точной науки исторической фонетики, а также всего действительно точного в этимологии. В семантике же мы по-прежнему, говоря фигурально, подвизаемся в своих суждениях часто на уровне тождеств *habere* и *haben*, т. е. тождеств мнимых. В конце концов типология (т. е. общее правдоподобие, probabilité) развития есть не что иное, как правильная идентификация диахронических тождеств. Именно типология семантического развития определяет реконструкцию значений слов.

Разумеется, мыслительный фон автономен в отношении звуковой формы слова, но вместе с тем он связан с ней множеством нитей. Эволюция значений не может не выражаться через эволюцию форм слов [7], тем самым — реконструкция значений тесно связана с реконструкцией форм, она во многом как бы читается через реконструкцию формы. Примером может служить название месяца: др.-инд. *mās-*, авест. *mā̊*, род. пад. *mā̊ŋhō*, греч. ион. μεί̯ς (*μῆνς), аттич. μήν, лат. *mēnsis*, литов. *mĕnuo*, *mĕnesis*, арм. *amis*, род. пад. *amsoy*, алб. *muai*, ирл. *mī*, гот. *mēna*, слав. **mĕsęcь* (**mēsen-* < **mēnes-*), на основании которых реконструировалась праформа и.-е. **mēns-* или, скорее, **mēnes-*, обозначавшая луну, небесное тело, а также отрезок времени — месяц. Временно́е значение, хотя и охватывает различные индоевропейские языки и бесспорно восходит к праиндоевропейской древности, все же должно быть признано вторичным отражением удивительных свойств луны — ее способности со строгой периодичностью во времени убывать и нарастать. Следовательно, значение «месяц, период времени, за который луна нарождается и вырастает до полнолуния» вторично получено из значения «месяц, луна». Но и это древнее значение и.-е. **mēnes-* неизначально, оно является скорее сложным, чем простым (ср. далее еще о «сложных» и «простых» значениях слов). Как же образовалось значение «луна» у и.-е. **mēnes-*? Если опустить здесь некоторые менее интересные гипотезы, остаются две этимологии: одна из них (Я. Розвадовского) реконструирует первоначальное значение и.-е. **mēnes-* как «eius qui mutatur, изменяющаяся», что встречает, однако, формальное препятствие, поскольку соответствующий глагол «менять(ся)» имел дифтонгическую огласовку **moi̯-*, **moi̯*-n-, в отличие от названия луны, месяца; есть и семантическое препятствие, потому что названная глагольная основа преимущественно применялась к человеческим отношениям, обмену, торговле и на луну, небесное тело, вряд ли распространялась. Поэтому преобладает другая этимология — **mēnes-* от **mē-* «мерить», которая, кажется, имеет в свою пользу и формальные, и реальные моменты [8]. Однако и эта этимология и семантическая реконструкция оказывается чисто умозрительной. Реконструируемое значение («мера?», «мерило?») кажется с самого начала нена-

[7] И. Немец, выступая в дискуссии на заседании в Либлице, справедливо указывал, что лексическое значение проявляется и со стороны формы слова.

[8] См.: E. Berneker, Slavisches etymologisches Wörterbuch, II, Heidelberg, 1924, стр. 51; М. Фасмер, Этимологический словарь русского языка, II, М., 1967, стр. 609, с дальнейшей литературой.

туральным и единственным в своем роде, даже для такого светила, как луна. Типологическая уникальность в плане семантики усугубляется сомнениями в плане формальной реконструкции: этимологизация от **mē-* «мерить» объясняет лишь часть слова **mēn-*, в то время как другая часть (*-es-*) не получает объяснения, а, между прочим, она неизменно наличествует и должна быть объяснена. Ее принадлежность к флексии сомнительна, вероятнее всего, это суффикс, определенным образом модифицирующий форму и значение корня. Так возникает гипотеза об этимологическом родстве и.-е. **mēnes-* «месяц, луна» и компаратива **men(i)os-* «меньше, меньший», ср. ст. -слав. *мьне* (**mьn'es-*), лат. *minor*, *minus*, греч. μείων, μεῖον. Конечно, между формами остаются различия, нуждающиеся в объяснении, но их присутствие естественно, учитывая давность функциональной дифференциации и необходимость ее формального выражения (продление корневого гласного, отклоняющийся состав суффикса, ср., впрочем, литовский компаративный суффикс *-es-nis* наряду с йотовым вариантом *-ios-* в других индоевропейских языках). Проявляются, однако, и выгоды нового объяснения: так, впервые стало возможным предположить контекстную связь и прочесть словосочетание **mēnes- louksnā* как последовательность значений «меньшая луна» [9]; при традиционной этимологии нельзя было говорить о контексте и приходилось довольствоваться реконструкцией изолированных семем «мера, мерить» и «луна». Существование, далее, таких обозначений (полу)месяца, как франц. *croissant*, собств. «растущий», иначе говоря, oppositum понятию «меньший, уменьшающийся» (луна то нарастает, то уменьшается), вселяет в нас уверенность в правильности избранной интерпретации, над которой размышлял задолго до нас Сократ: «Месяц (μείς) мог бы от уменьшаемости (μειοῦσθαι) правильно быть назван μείης» (Платон. Кратил).

Таким образом, изменение значений во времени — факт бесспорный, и семантическая реконструкция остается актуальной задачей. Преобладающая зыбкость представлений, связанных с семантикой, и существующие опыты перенесения структурного анализа из синхронии в диахронию наводят на мысль о возможности внедрения более строгих системно-структурных критериев также в методику семантической реконструкции. Ставится, таким образом, вопрос о структурации диахронической семантики и границах ее применения. Э. Бенвенист в своей работе «Семантические проблемы реконструкции» (1954 г.; русск. издание — 1974 г.) дал хорошие образцы оперирования противопоставлением вариантов значения, их нейтрализацией, семантизацией одного из вариантов, т. е. превращением его в семему, самостоятельное значение. Все это так, но из правильных констатаций делаются иногда ложные выводы. Трактовка лексического значения как семемы условно ставит значение — семему в ряд так называемых эмических терминов и представлений современной лингвистики: фонема, морфема, лексема. Этот ряд моделируется прежде всего по образу и подобию фонемы, что неизбежно ведет к натяжкам.

[9] И. Немец, участвовавший в обсуждении предложенной мной этимологии **mēnes-*, отозвался о ней положительно («strukturní příklad»), но вместе с тем высказал соображение, что, принимая во внимание этимологическое значение слова **louksnā* «светило», все словосочетание можно понять как «меньшее светило» (по сравнению с солнцем). Однако наиболее вероятным кажется, что мотивом такого называния послужили фазовость, уменьшение самой луны, т. е. структурное противопоставление, если угодно, мыслилось не между солнцем и луной как меньшим светилом (?), а луной и меньшей луной. Умирание как атрибут месяца-луны интересно отразилось в традиционной образности плача жены по мертвому мужу, которого безутешная вдова называет именно месяцем. Ср. один довольно ранний пример (1389 г.): *Видѣвши же княгини его мертва на постели лежаща, и въсплакася горкымъ гласомъ: ...мѣсяць мои красныи, рано погибаеши.* Воскр. лет. VIII, 57 (Картотека ДРС, Институт русского языка АН СССР). На это употребление обратила мое внимание Г. А. Богатова.

Начнем с того, что наличие дифференциальных признаков, характерное для фонемы, не подтверждается даже для такой близкой эмической единицы формального уровня, как морфема. Тем не менее, мы наблюдаем, как часто в последнее время предпринимаются механические попытки перенести все фонологические представления в область семантики, где ведутся при этом поиски дифференциальных признаков, или сем, у семемы. Эффективность и оправданность таких попыток вызывает у нас серьезные сомнения. Самобытность уровня лексической семантики остается при этом непонятой. Эта самобытность семантики состоит в том, что семема (лексическое значение) сохраняет всегда свое единство и неделимость; точно так же и вариант семемы, т. е. потенциальная семема. В лучших исследованиях по диахронической семантике, действительно вскрывающих семантическую эволюцию и дающих реконструкцию значения, мы видим именно такую целостную концепцию семемы. Противоположные понимания в литературе (семема как пучок ДП) мы относим за счет негативного давления сходной терминологии. Вообще структурация значения по семантическим дифференциальным признакам — большая иллюзия нашего времени, и исследования по диахронической семантике и реконструкции значений ее не подтверждают [10]. Думается, что именно исследования по исторической семантике играют в этом вопросе решающую диагностическую роль, поскольку синхронный анализ семантики по фонологическому образцу меньше подходит для вскрытия недостатков метода, и лишь история значения, реконструкция древнего значения слова учит нас считаться с эволюцией значения как единого целого, а не как суммы сем или дифференциальных признаков. Значение слова — это органически цельный блок. В конце концов, сегментация значения на отдельные компоненты или признаки, в синхронном плане и в целях какого-нибудь специального, скажем, учебного эксперимента — вещь допустимая, хоть и малоэффективная в диагностическом плане. Любая такая сегментация окажется или грубой или внеязыковой (описывающей не столько лексическое значение, сколько соотнесенную с ним реальность), но прежде всего — неполной, потому что всегда есть риск оставить вне поля зрения некий суперсегментный остаток [11], который как раз и есть суть значения. Так — в синхронии. Что же касается диахронии и особенно реконструкции, то они вскрывают не-

---

[10] Ср. на эту тему отчасти уже: О. Н. Трубачев, Этимологические исследования и лексическая семантика, сб. «Принципы и методы семантических исследований», М., 1976.

[11] Весьма симптоматично поэтому, в наших глазах, выступление на упомянутом заседании Комиссии чехословацкой лингвистки В. Будовичовой, говорившей о важности понятия остаточного значения, не поддающегося формализации. Вполне справедливо высказывалась она о нерешенности структурно-семантических проблем слова. В целом, по мнению В. Будовичовой, компонентный анализ не добился значительных результатов ни в варианте структурной семантики Греймаса, ни в генеративном варианте. Столь же здраво судит В. Будовичова о произвольности выделения семантических ДП (в зависимости от остроумия автора). Попыткам некоторых исследователей обосновать внеязыковой критерий сегментации значения слова как отражение языком внеязыковой действительности В. Будовичова, как нам кажется, очень удачно противопоставила концепцию асимметрии отношений языкового и внеязыкового планов (мы бы сказали — сложности или непрямолинейности языкового отражения действительности, в чем, собственно, и проявляется самобытность языка). На необходимость отличать внеязыковую действительность и действительность языковую сочли нужным обратить внимание и другие участники дискуссии в Либлице [например, Х. Шустер-Шевц (Лейпциг)]. Вообще идея изоморфизма, кардинальная для семантического компонентного анализа и его сторонников [Й. Филипец (Прага), автор вступительного доклада и активный участник дискуссии], встретила на заседании критику и весьма вескую оппозицию в перспективной концепции асимметрии отношений между различными уровнями языка.

достатки названного метода более сурово, демонстрируя неактуальность семантического компонентного анализа. Складывается впечатление, что главное внимание исследователя должно быть направлено на значение как целое, а в диахронии — на постепенность, «градуальность» изменения всего значения[12]. Например, между реконструируемым праславянским словом и значением *ploxъ (вариант к *ploskъ) «плоский» (ср. чеш. *plochý* «плоский»), с одной стороны, и русск. *плохо́й* «нехороший, негативный, отрицательный, вызывающий осуждение» — с другой стороны, вытягивается целая цепочка градусов или шагов изменяющегося значения: «плоский, ровный, открытый, незащищенный, плохо, без присмотра лежащий, плохой». В пословицах Симони (XVIII в.) обнаруживается пример, фиксирующий промежуточный градус этой диахронической семантической шкалы: «не там вор берет, где много, а там, где плохо» (т. е. «открыто, не заперто, без присмотра»). Современный вариант той же пословицы — «вор берет, где плохо лежит» — есть лишь корректура речи под давлением вторично изменившегося значения слова.

Критикуя семантический компонентный анализ, мы критикуем его научный результат, а не похвальное стремление объективизировать «неуловимое значение слова». В сущности, раздельная трактовка, или сегментация значения, задолго до опытов компонентного анализа осуществлялась в практической лексикографии с той разницей, что в последней речь идет не о семах или семантических дифференциальных признаках, а о «значении 1, 2, 3...». И тому и другому противостоит единое значение единого слова в реальном языке, или, точнее, то, что можно назвать, используя в описательной семантике опыт истории культуры и сравнительно-исторического языкознания, синкретичным значением слова[13]. Условность лексикографической трактовки «значение 1-е», «значение 2-е», «значение 3-е» в связи со сказанным выше состоит в том, что, описывая таким образом значение слова, мы не можем быть вполне уверены, что при этом не пропущены какие-то промежуточные фрагменты значения между выделенными «1-ым» и «2-ым», «2-ым» и «3-им». В. Бланар (Братислава) одобрительно откликнулся во время дискуссии в Либлице на идею опускаемых промежуточных значений и предложил «то, что между 1-ым и 2-ым значениями» называть лексическими вариантами. Однако, думается, что, множа рубрики (и терминологию, о чем также ниже), мы лишь удаляемся от понимания целостности значения, которое, в конечном счете, остается главным. Делимость значения не доказана. Возникает вопрос, оправдан ли методологически анализ значения, опирающийся на проблематичную и недоказанную процедуру — сегментацию.

Сегментацию значения, которую дает практическая лексикография, мы принимаем cum grano salis, стараясь не забывать о некотором возникающем упрощении. Однако тенденция превратить рабочую процедуру в общую теорию вызывает серьезные возражения. Не повторяя их полностью, остановлюсь на отдельных моментах. Можно сказать, что смутная неудовлетворенность теорией семантического компонентного анализа растет как бы и изнутри, находя различные выходы. В частности, мне кажется, что понятие семантического инварианта, будучи нечетким и противоречивым, есть не что иное, как проявление своеобразной ностальгии

---

[12] О понятии постепенности изменения, правда, на фонетическом материале см.: S. Scalise, Gradualità versus non gradualità nel mutamento fonetico, в кн.: «Problemi della ricostruzione in linguistica...», стр. 59 и сл.

[13] И. Немец при обсуждении доклада назвал это диффузностью значения, вслед за Д. Н. Шмелевым. См.: Д. Н. Шмелев. Проблемы семантического анализа лексики (на материале русского языка), М., 1973, стр. 76—77 и сл.

по единому, целостному значению слова, которое декларативно признается всеми, но нередко подменяется суммой семантических ДП. Имея постоянно дело и на практике и в теории с меняющимся значением слов, я все больше убеждаюсь, что «семантический инвариант» — это пример давления терминологии на почве теории межуровневого изоморфизма. Вопрос о терминологии — не последний по важности хотя бы потому, что состояние в терминологии теории всегда симптоматично для состояния самой теории. На заседании в Либлице один докладчик сетовал на «недостаток терминологии» в семантическом компонентном анализе, однако приводившийся при этом перечень свидетельствовал об обратном — о гипертрофии терминологии (сема, архисема, гиперсема, семантическое поле, гипосема, абстрактная сема, метасема, дифференциальный признак, система, структура, класс, триада...). Скорее всего, все дело в недостатке самой методологии.

В докладе Й. Филипца на конференции в Либлице был выдвинут в общем почтенный принцип важности чистоты метода при исследовании семантических полей. Но, соблюдая чистоту метода, полезно также не упускать из виду недостаточность методов (а иногда, как известно,— и целых дисциплин, откуда теперешнее внимание к интердисциплинарным исследованиям). Недостаточность синхронного метода описания мы пытаемся показать здесь и далее на некоторых примерах. Равным образом необходимо сознавать недостаточность диахронического метода хотя бы потому, что он, в свою очередь, зависит от синхронных (письменных) фиксаций. Главное — это язык, адекватное описание и осмысление которого может обеспечить лишь широкий подход и достаточно гибкая методология, в противном случае к уже названной вначале антитезе придется добавить еще одну благоприобретенную антитезу между чистотой метода и искомой полнотой описания и объяснения. Хорошо известно, что явление богаче, чем закон.

В упомянутой дискуссии поднимался вопрос о произвольности вычленения сем/компонентов значения слов. В развитие этого положения можно сказать, что некоторая их умозрительность базируется на ходячих (наивных) понятийных представлениях о внеязыковых особенностях реалий. В то же время семантическое наполнение лексем бывает не только совершенно иначе построено этимологически, но также — и это особенно существенно для синхронии — первоначальная, этимологически вскрываемая семантическая структура лексемы продолжает определенным образом влиять на употребление лексемы в речи, живет в контексте. Этимологическое значение слова представляет не только исторический интерес, как нередко думают, но и ключ к пониманию современной семантики слова, в которой этимологическое значение может воспроизводиться. Так, по компонентному анализу, семема «птица» включает сему «лететь», и это кажется так просто и логично. Но обращает на себя внимание то обстоятельство, что в разных языках слова со значением «птица», как правило, не связаны происхождением с глаголом «лететь»: слав. **pъtakъ/*pъtica* — но **letěti*, нем. *Vogel* — но *fliegen*, англ. *bird* — но *fly*, лат. *avis* — но *volare* (соответственно франц. *oiseau* — но *voler*), греч. ὄρνις — но πέτομαι, литов. *paukštis* — но *skristi*, венг. *madár* — но *szállni*. Похоже, что гетерономасия представляет собой здесь более распространенное и, видимо, более древнее явление, чем тавтономасия, ср. фин. *lintu* «птица» — *lentää* «лететь» или вторичное греч. πετεινός, πετεινόν «крылатый, летучий» (о птице, ср. пример из новозаветного койне, далее) — πέτομαι «лететь». Причина коренится в иных, чем наши, воззрениях древних на птицу. Но еще важнее для нас отметить здесь продолжающуюся скрытую жизненность этих древних воззрений (что, разумеется, неоднозначно хомскиан-

ским innate ideas, а относится к стойкости потенций языка, слова). Действительно, летание по воздуху отличает не одних только птиц (ср. образование в германском от глагола «летать» названия для мухи — нем. *Fliege*, англ. *fly* и т. д.). Главное, что бросалось в глаза древнему человеку в птице,— это, скорее, способ выведения потомства (несение яиц, высиживание птенцов) и забота о потомстве. Образ гнезда с торчащими оттуда разинутыми клювами птенцов и неутомимое снование кормящих птиц-родителей знакомы каждому и сейчас.

Поскольку известный словарь К. Д. Бака является словарем избранных синонимов, охватывает наряду с древними языками материалы новых языков, дублирующие друг друга, а главное — его этимологические комментарии не всегда надежны [14], представило интерес остановиться особо на этимологической природе нескольких затронутых синонимов со значением «птица». Показания этимологии действительно красноречивы, и они не оставляют места для семы «лететь» по крайней мере у этих названий птицы, несмотря на стойкую тенденцию искать данную сему даже в древних значениях. Надо сказать, что необнаружение этимона «лететь» у названия птицы нередко очень озадачивает исследователей, заставляя их принимать насильственные решения либо признавать свое бессилие, хотя более внимательный анализ и семантическая типология помогают пойти дальше и установить довольно очевидные связи форм, а с ними и принципиальное изменение значения. Начнем со ст.-слав. **пътица**, русск. *птица* и других славянских соответствий. Чисто умозрительное сближение их с др.-инд. *pátati* «лететь», греч. πέτομαι, неточное и с фонетической стороны, давно оставлено, и, напротив, обращено внимание на фонетически точное и перспективное семантически родство слав **pъtica*, литов. *paũkštis*, латыш. *putns* «птица» с лат. *putus* «дитя», др.-инд. *putrá-* «сын», *pōta-* «детеныш животного», литов. *paĩtas* «яйцо» [15]. Этимологизация основного германского названия птицы, насколько она отражена в словаре Клюге [16], целиком скована вышеупомянутыми традиционными воззрениями, поэтому всерьез дебатируется производность от **flug-* «fliegen» и реконструкция **flug-la*. Архаичными и исходными (в свете связей славянского названия птицы) являются, однако, форма и значение ранне-ново-верхнем. *fugel* «зародышевое пятно в яичном белке» (XVI в.). Германское суффиксальное производное **fug-la-*, вероятно, родственно формально и семантически русск. диал. *пуга* «тупой конец яйца», далее — греч. πυγή «задница», ср. укр. *гузка* «тупой конец яйца» — *гуз(но)*.

Оригинальное английское название птицы — *bird* признается — по причине все тех же рутинных торможений — «of uncertain origin» [17], несмотря на то, что семантическая и генетическая эволюция, в сущности, известна, ср. др.-англ. *bridd* «птенец» (NB: значение!), далее — явно родственное гнездо англ. *breed* «выращивать», *brood* «высиживать (яйца)», нем. *brüten* «то же».

Еще менее удовлетворительно состояние этимологизации и семантической реконструкции лат. *avis* «птица»: обычно констатируют родство с др.-инд. *víḥ*, *véḥ*, *váyas-* «птица», авест. *vīš* (род. пад. мн. числа *vayąm*) —

[14] C. D. Buck, A dictionary of selected synonyms in the principal Indo-European languages, 3 impression, Chicago — London, 1971, стр. 183: *bird*.

[15] М. Фасмер, Этимологический словарь русского языка, III, М., 1971, стр. 398; E. Fraenkel, Litauisches etymologisches Wörterbuch, I, Heidelberg — Göttingen, 1962, стр. 554; О. Н. Трубачев, История славянских терминов родства, М., 1959, стр. 51—52.

[16] F. Kluge, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, 20. Aufl., Berlin, 1967, стр. 822—823.

[17] E. Klein, A comprehensive etymological dictionary of the English language, I, Amsterdam — London — New York, 1966, стр. 175.

«то же». «Alle weiteren Verbindungen unsicher» [18]. Между тем сюда относятся из балтийского не только литов. *vištà* «курица» [19], но и глагол литов. *veĩsti* «плодить(ся), размножаться», латыш. *veist* «выращивать, размножать», индоевропейская основа **u̯eis-*, явно исходная для перечисленных выше названий птицы. Ср. также типологические параллели славянских, германских, балтийских названий птицы, уже разобранных нами ранее.

Греч. ὄρνις «птица» обычно сравнивают с названиями орла — хетт. *ḫaraš*, гот. *ara*, литов *erẽlis*, слав. **orъlъ* [20], что, конечно, еще нельзя признать этимологией в подлинном смысле. Только сближение с ἔρνος «отпрыск, потомок» и далее — ὄρνυμαι, ὄρνυμι, в значениях «начинать(ся), рождать(ся)» позволяет сделать ощутимый шаг в семантической реконструкции также для греческого названия птицы.

Таким образом, древним значением лексемы «птица» в рассмотренных выше примерах было «детеныш, выкормыш», а не «летун, то, что летает». Довольно широкий охват языков и самостоятельный характер основ позволяет предполагать у этого семантического развития довольно общий характер. Следует, далее, отметить определенную жизненность или оживление этого празначения в современном языке или даже скорее в речи, в ее эмоциональных стилях; не случайно и сейчас мать может назвать ребенка «птенчиком, птичкой». Вспоминается евангельская притча: ἐμβλέψατε εἰς τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, ὅτι οὐ σπείρουσιν οὐδὲ θερίζουσιν οὐδὲ συνάγουσιν εἰς ἀποθήκας, καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τρέφει αὐτά. Matth. 6,26. (Русск. перев. синод. изд. 1912 г.): «Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и отец ваш небесный питает их». И сочетание *птицы небесные* и очевидное противопоставление *птицы небесные — отец небесный* станут понятнее, если мы попробуем предположить здесь отношение детей к отцу (для чего, разумеется, потребуется осмысление некоторых слов как вторичных, ср. греч. τὰ πετεινά, собств. «летучие, крылатые» — о птицах, или как поздних вставок в текст вроде *отец в а ш...*). Жизнь древнейшего значения продолжается и в послепраязыковые эпохи, и с этими тонкими фактами надлежит считаться всем, кто питает серьезный интерес к значению слова. Изложенный пример предназначался для того, чтобы показать, что этимология и связанная с ней реконструкция древнего значения важна не только сама по себе и для себя, но и для полного адекватного анализа современного значения слова, и это отражает интереснейшую, еще недостаточно исследованную сторону языка, когда древние связи происхождения, забываемые в коммуникации, латентно живут и периодически маркируются в словоупотреблении, в разных стилях речи.

Если мы научимся лучше понимать и использовать богатства семантической диахронии, мы поймем многое неясное в употреблении слов и их значений в разные эпохи. Динамика словаря станет для нас яснее. Появление целых больших и, как нам кажется сейчас, незаменимых семейств слов получает объяснение как первоначальный акт семантической филиации, сдвиг значения, например, гнездо слав. **xodъ*, **xoditi*. Становится возможным глубже проникнуть в природу такого универсального явления, как у т р а т ы с л о в а р я. Поняв их, мы сумеем восстановить утраченное, по крайней мере, в отдельных случаях, что крайне ценно для

[18] A. W a l d e — J. B. H o f m a n n, Lateinisches etymologisches Wörterbuch, I, Heidelberg, 1965, стр. 84; M. M a y r h o f e r, Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch des Altindischen, III, Heidelberg, 1976, стр. 265.

[19] E. F r a e n k e l, Litauisches etymologisches Wörterbuch, II, стр. 1266: «Etymologie unsicher».

[20] H j. F r i s k, Griechisches etymologisches Wörterbuch, II, стр. 421—422; P. C h a n t r a i n e, Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots, III, Paris, 1974, стр. 822—823.

сравнительного языкознания, для познания прошлого, для познания вообще. Дело в том, что иногда «утрата» лексемы есть не что иное, как изменение семемы, смысла. Утрата, таким образом, оказывается мнимой, лишний раз демонстрируя нам мощный фактор эволюции значения (ср. случай и.-е. **oməsos* в славянском, ниже). С неравномерностью развития значения тоже надо считаться. При этом отсутствие лексического соответствия в языке при проверке подчас оборачивается всего лишь отсутствием последующего семантического развития, на самом же деле лексическое соответствие имеется, но его значение как бы остановилось на более архаической стадии развития, а отсутствие лексемы оказывается и на сей раз мнимым и опять — по причине нераспознанности значения (ср. и.-е. **rēĝ-* «править, царствовать» и вопрос о его славянских соответствиях, ниже).

Реконструкция лексических значений освещает отдельные звенья языкового строя и мотивы их реорганизации, или, точнее, переосмысления. Вообще при таком подходе выясняется, что в языке гораздо больше переосмыслений, чем абсолютных прибавлений и вычитаний. Эта ярко функциональная черта заслуживает самого серьезного исследования. Переосмысление отдельных форм и слов, положившее конец их дальнейшему существованию, не менее важно для этимологии и реконструкции, чем нейтрализация противопоставлений двух значений как доказательство единства слова, так хорошо изученная Бенвенистом. Пример на переосмысление морфологической формы с последующей лексикализацией — это судьба и.-е. **sod-*, связанного чередованием с и.-е. **sed-* «сидеть» в славянском. Начнем с того, что славянский не знает *-o-* ступени **sod-* от корня **sed-*. Правда, наличие слав. **sadъ*, **saditi* весьма ослабляет это утверждение, так как **sad-* восходит к **sōd-*, что есть всего лишь долгая ступень в отношении к **sod-*. Так, внутренняя реконструкция показывает, что в славянском ступень **sod-* была. В действительности же эта ступень и сейчас существует в скрытом виде, хотя функционально ее нет, она исчезла в акте переосмысления и генезиса нового лексического значения: **sod-* «сидение» > **sod-* «ход» > праслав. **xodъ* в особых фонетических позициях. И.-е. **sod-* «сидение» и выдвижение **sod-* «ход, ходьба» тесно связаны как взаимоисключающие друг друга явления. Первое из них представлено именно в языках, не развивших второго значения, ср. др.-ирл. **suide* «сидение», лат. *solium* «трон» из и.-е. **sodiom*. Любопытно, что как раз греческий (ὁδός) и славянский, в которых и.-е. **sod-* выступает в значении «ход, ходить», не знают **sod-* в значении «сидение, сидеть», что служит косвенным, но убедительным доказательством первоначального этимологического единства **sed-/*sod-* «сидеть» и **sod-* «ходить». Можно ли считать, что семантическая инновация «сидеть» > «ходить» охватила обе ступени апофонии **sed-/*sod-* [что, возможно, объясняло бы причину продления корневого гласного **sed-* > **sēd-* как специфическое раннее отличие формы лексемы «сидеть» (ср. слав. **sědĕti*, но эту долготу имеют также и балт., литов. *sėdėti*, где значение «ход, ходить» неизвестно)], или ступень **šьd-* апофонически вторична, редукционна по отношению к слав. **xodъ*? Со стороны реально-семантической заманчиво считать, что на инновации «сидеть» > «ходить» отразился в древности новый способ передвижения сидя (например, в повозке или верхом, ср. русск. *всадник*, др.-инд. *sādín* «то же»), или здесь в немалой степени сыграла роль семантика достижения цели, как можно бы было понять др.-инд. *ā-sad-* «подходить, достигать» (так сказать, «присесть в конце пути, у цели»?), *ut-sad-* «уходить», авест, *apa-had-* «устраняться, избегать».

Таким путем язык лексикализовал семантический вариант, преодолев затем (фонетически) возникшую избыточную омонимию.

Но вернемся к рассмотрению в плане семантической реконструкции двух бегло упомянутых случаев мнимого неучастия славянского в древней индоевропейской лексике: **oməsos* и **rēg-*. Индоевропейское название плеча **oməsos* (др.-инд. *áṁsa-*, греч. ὦμος, лат. *umerus*) как будто не известно в славянском. В свое время мной был предложен эксперимент по реконструкции. Если все-таки попытаться предположить, что и.-е. **oməso-* уцелело в славянском и получило в нем формальное продолжение и развитие, то результатом будет закономерное праслав. **ǫsъ*. Однако в этой форме в славянских языках фигурирует только название уса, усов или усов с бородой (русск. *ус*, польск. *wąs* и др.). Обнаруженное загадочное столкновение двух якобы разных слов — индоевропейского названия плеча и славянского названия усов — любопытно сочетается с неудовлетворительностью этимологизации последнего. Этимологии слав. **ǫsъ* исходят из молчаливой презумпции изначальности значения «усы, растительность на лице» у этого слова. Не будем перечислять их здесь подробно, но именно в этой их априорности коренится причина их тщетности. Между прочим, семема «усы» и соответствующий термин, как это ни странно для такого неоспоримого атрибута мужественности и мужской красоты, развиваются очень поздно и даже отсутствуют в ряде языков. Очевидно, все-таки существовали какие-то обозначения и описания, которые не ограничивались лексемой и семемой и.-е. **bhordhā*, слав. **borda* и т. д. «борода». Большая, красивая борода ложится на грудь, а усы, если вообще представляется возможным как-то выделить их из бороды, достают до плеч (в каком-то смысле фигурально, что дела не меняет). Так реконструируется связь слов и значений: **oməsos* «плечо» > **ǫsъ* «волосы до плеч» > «усы до плеч» > «усы» [21].

И.-е **rēĝ-*, известное как обозначение царя, царской власти и царских полномочий, реконструируется для более древних эпох как слово со значениями из сферы сакральных, жреческих функций — «размечать, разделять, проводить линию, р е з а т ь ч е р т у», и мы приходим к семантике слав. **rězъ*, **rězati*, которое закономерно включается благодаря данной семантической реконструкции в ареал и.-е. **rēĝ-* [22].

Семантической реконструкции приходится иметь дело с различными лексическими значениями. Здесь можно встретить продуктивные семантические модели, слова с развивающимися значениями, значения с прозрачной генеалогией (ср. «хватать рукой» > «понимать, схватывать умом»), есть, наконец, слова вроде бенвенистовских первичных вокабул (vocables primaires), слова с «вечными» значениями. Значения можно понимать как простые и непростые (сложные). В общем все значения слов человеческого языка, видимо, производны и вторичны, но в особенности это относится к сложным значениям. Примером такого сложного и вместе вечного значения является семема «гора». Как все-таки формируется значение «гора»? Как решает эту задачу компонентный анализ? Возможно (мне в данный момент такие опыты неизвестны) выделением сем, или дифференциальных признаков «высокий», «очень большой», «твердый», «каменный», «неподвижный», т. е. всего того, что в среднем сознании ассоциируется со словом и значением «гора» и может быть отнесено к школьным знаниям, энциклопедизму, бытовому опыту, иначе говоря — к внеязыковой сфере. Отдельные признаки, действительно, могут совпадать с реконструируемыми значениями, например, в основе названия горы в некоторых индоевропейских языках лежит **kouk-* «высокий» или **bhṛgh-*

[21] См.: О. Н. Т р у б а ч е в, Заметки по этимологии и сравнительной грамматике. «Этимология. 1970», М., 1972, стр. 13—14.

[22] См.: В. Н. Т о п о р о в, Славянские комментарии к нескольким латинским архаизмам, «Этимология. 1972», М., 1974, стр. 12 и сл.

с тем же значением, но могут и не совпадать. Возможности семантической типологии здесь шире, и семантическая реконструкция должна ими овладеть. Возьмем слав. **gora*, изучению и реконструкции семантической предыстории которого мешает монотонность семантических соответствий родственных слов («гора», изредка — «лес», что, конечно, вторично). Ю. Покорный дает в своем словаре и.-е. **g^{u}er-*, **g^{u}or-* со значением «гора» как пределом семантической реконструкции. Однако имеются сигналы о непервоначальности такого состояния. Эти сигналы поступают со стороны формы слов. Так, мы обнаруживаем явную диспропорцию между типично именной семантикой («гора»!) и типично глагольным или отглагольным вокализмом корня **g^{u}er-*: **g^{u}or-*: **g^{u}r̥-* (ср. слав. **gora*, др.-инд. *giri-*, литов. *giriù*, алб. *gur* «камень»). Подобная развитая апофония могла возникнуть только на базе глагольных и глагольно-именных функций. Отыскивается (или, вернее сказать, давно известна, но не получила адекватной интерпретации) и позиция нейтрализации, которая увлекает нас в несколько неожиданном направлении. Это и.-е. **g^{u}rīvā-*: др. -инд. *grīvā* «затылок», авест. *grīvā* «горный перевал», перс. *garīva* «холм», но также *girē* «шея», слав. **griva* «волосы на шее», латыш. *grīva* «устье реки». Одни ученые относят это **g^{u}rīvā* только к гнезду «гора», а другие (NB!) — к корню и.-е. **g^{u}er-* «глотать, поглощать и т. д.». Как всегда, позиция нейтрализации доставляет много хлопот ученым, причем первые из них вынуждены отрицать связь **g^{u}rīvā* и **g^{u}er-* «поглощать» (что довольно трудно), а вторые обходят молчанием связь **g^{u}rīvā* и **g^{u}or-* «гора», что также насильственно. А между тем разумнее признать, что перед нами единая цепь этимологически родственных форм (характерно и там и тут наличие лабиального задненебного в начале слова) с единой линией филиации значений; нужно лишь логично объяснить при этом природу значения «гора». Никого не удивляет определение вулкана как горы, извергающей пламя, но реконструкция значения **gora* как «извергающая воду, испускающая через уста влагу» в сущности гораздо более универсальна и естественна. Случай слав. **gora* < и.-е. **g^{u}er-* «испускать, извергать через уста» (ср. наличие последнего значения у др.-инд. **gar-*) находит параллель в названии горы авест. *Xarā-bərəzaitī*, сюда же ср. перс. *Har-burz*, *Эльбурс* в Иране и *Эльбрус* на Кавказе, которое мы этимологизируем как **sarā-* **bhr̥ĝh-* «высокий (в о д о)-с т о к». Любопытна взаимозаменяемость обоих компонентов в составе одного сложного названия горы: др.-инд. *Pīlu-sāra*, она же — *Pīlu-giri*, наконец, вспомним о том, что *-giri* выступает в Индии не только в названиях гор, но и в названиях рек *Candanagiri*, *Antyāgirā*. Это очень древнее воззрение, по которому гора — податель влаги, не оставил без внимания Аристотель в своей «Метеорологии», где он говорит о массах холодной влаги, скапливающихся в горах.

Не механическая композиция, а единое содержание, прочное и изменчивое одновременно,— таково значение слова. С его прочностью, как и с его изменчивостью, связывает свои надежды лексико-семантическая реконструкция.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1980

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

ПОЗДНЯКОВ К. И.

ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ СРАВНИТЕЛЬНО-ГЕНЕТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

(на материале языков манде)

Семья манде объединяет приблизительно сорок языков и диалектов, распространенных на обширной территории в Западной Африке.

Сравнительно-историческое исследование языков манде сопряжено со значительными трудностями. Отсутствие письменной традиции снижает уровень источников по отдельным языкам и диалектам. В сравнительном словаре, который может быть составлен на их основе, неизбежно будут собраны не только лексические данные, но и многочисленные ошибки и неточности, допущенные при их фиксации. Отсутствие письменных памятников и надежных исторических свидетельств не позволяет на начальном этапе исследования выявить заимствования и, что особенно важно, разграничить явления омонимии и полисемии с тем, чтобы обогатить сравнительный словарь.

Подобная ситуация характерна для подавляющего большинства африканских языков. В случае с языками манде она усугубляется и тем, что этимологически большинство основ манде моносиллабично. Таким образом, для установления лексического родства не подходит и другой ориентир, которым обычно пользуются компаративисты: при сближении тех или иных основ, при восстановлении системы начального консонантизма нельзя оглянуться на данные второго или третьего слогов, так как они представляют собой, как правило, суффиксальные формы позднего происхождения. Таким образом, в языках манде сравнению подлежат фактически лишь два звука: начальный согласный и следующий за ним гласный. При этом гласный подвержен ассимиляции под влиянием суффиксального гласного, а начальный согласный неустойчив и подчиняется законам изменения начального согласного в шве синтагмы — законам разнохарактерным и изученным крайне поверхностно. В этих условиях не остается ни одной точки опоры для восстановления системы регулярных фонетических соответствий и любые попытки определения лексического родства целиком зависят от научных установок и смелости исследователя.

То же можно сказать и о внутреннем сопоставлении лексики языков манде. Указанная специфика языкового материала существенно расширяет возможности возведения самых разнообразных форм к единому архетипу. Используя традиционные приемы сравнительно-исторического анализа, можно построить параллельно несколько систем фонетических соответствий и каждую из них достаточно убедительно аргументировать. Но исторически сложившаяся система регулярных соответствий одна, и чтобы увидеть ее в скоплении противоречивых фактов, приходится искать какие-то новые критерии, новые «подсказки», которыми можно было бы ру-

ководствоваться в условиях, когда нельзя применить критерии традиционные. Некоторые приемы сравнительно-генетического анализа, разработанные в ходе исследования лексики языков манде, и рассматриваются в настоящей статье.

Для проведения исследования был составлен сравнительный словарь по тридцати языкам и диалектам манде, содержащий 8458 слов. Словарь объединяет лексику следующих языков и диалектов: бобо-финг (255)[1], биса (319), лебир (307), сан южный (275), сан северный (261), боко (174), буса (173), нван (266), мва (255), бен (257), гбан (343), вен (270), дан (279), дан Данане (282), мано (263), гуро (267), яуре (268), кпелле (369), менде (403), дон (154), бле (164), бо (287), бозо (377), бозо Диафарабе (253), сонинке (241), сусу (396), бамана (484), манинка (406), мандинка (250), вай (160).

Эти тридцать языков и диалектов манде относительно полно представляют семью, объединяя данные по всем тринадцати подгруппам, когда-либо выделявшимся в ней. Таким образом, если собранный материал не всегда позволяет установить связи языков и диалектов внутри подгрупп, например, в центральной подгруппе «юго-западных манде», то выводы о соотношении различных подгрупп семьи могут быть сделаны.

Составление сравнительного словаря является необходимым условием для реконструкции ряда фонетических соответствий. Вместе с тем наиболее существенные черты системы соответствий могут быть выявлены, как показано в работе, на первоначальном этапе исследования, предшествующем составлению сравнительного словаря.

Один из важнейших принципов сравнительно-исторического языкознания состоит, как известно, в следующем: каждое различие двух родственных языков должно быть понято через развитие какого-либо элемента единой для таких языков праязыковой системы. Этот постулат должен, очевидно, относиться не только к «качеству» сопоставляемых единиц, но и в равной степени к любой из их количественных характеристик. Данное положение послужило основой для разработки предлагаемой методики установления рядов соответствий.

Наиболее существенной количественной характеристикой фонемы является частота ее употребления (в тексте или в словаре). Для этимологического анализа релевантны словарные частоты фонем. Под словарной частотой употребления фонемы понимается отношение числа слов, содержащих данную фонему, к общему числу слов языка в словаре (так, например, частота употребления начального *h* в языке биса составляет 11,9%, т. е. в словаре биса 11,9% слов содержат начальный *h*).

Сопоставление частот употребления начальных согласных в тридцати языках и диалектах манде обнаруживает существенные расхождения между ними.

Как же можно объяснить расхождения тридцати частотных характеристик одного начального согласного, каждая из которых представляет собой результат развития одной характеристики — праязыковой? Как, например, можно объяснить тот факт, что в одном из языков манде (язык биса) 11,9% общего количества слов начинаются с согласного *h*, в то время как в близкородственном биса языке (язык лебир) этот начальный согласный вообще не представлен, как и в большинстве языков манде?

Это явление может быть обусловлено двумя причинами: 1) во втором языке (лебир) группа слов утратила начальный согласный *h*, из которого развился новый звук (например, $*h > ø$). В таком случае, доля утрачен-

[1] В скобках указывается количество слов языка, представленных в сравнительном словаре.

ного звука свелась к нулю (при этом доля *ø* увеличилась); 2) напротив, в первом языке (биса) группа слов, некогда начинавшихся с какого-либо другого звука, получила этот начальный согласный (например, $*f > h$). В таком случае, частота употребления *h* в этом языке увеличилась (соответственно, частота *f* уменьшилась). И в первом, и во втором случае возникает ситуация, при которой какой-то звук праязыка изменяется в одном из языков, в результате чего в других языках наблюдается соответствие между разными звуками (*h* и *ø* или *f* и *h*).

Отсюда можно сделать обратный вывод: если в двух языках существует регулярное соответствие между двумя разными звуками, например, между *f* и *h*, то в одном из языков доля *f* в общем числе звуковых употреблений должна быть больше средней частоты употребления этого звука в подгруппе языков, а доля *h* — меньше средней, в другом же языке должна наблюдаться противоположная ситуация.

Это можно показать на примере. Предположим, что нам доподлинно известна картина фонетических изменений, и в частности известно, что на стадии, непосредственно предшествующей языковому расщеплению, т. е. в праязыке, было сорок два слова, начинающихся с *f*, и десять слов с *h*. Ряд исконных лексических основ исчезает: вытесняется заимствованиями, заменяется другими основами манде в результате семантических изменений. Предположим, что первый язык почти не затронули изменения, и в нем сохранилось сорок основ с начальным *f* и все десять основ с *h*. Во втором языке произошло изменение $*f > h$ и, таким образом, в нем появилось пятьдесят две основы с начальным *h*. Чтобы предлагаемый пример выглядел естественно, предположим, что этот язык испытал сильное влияние какого-либо неродственного языка, в результате чего сорок две основы были вытеснены заимствованиями, и осталось, таким образом, десять основ с начальным *h*, как и в первом языке. В результате в первом языке *f* — сорок основ, *h* — десять основ; во втором языке *f* — 0 основ, *h* — десять основ.

Попробуем на основании указанного критерия выявить соответствие *f* (первого языка) ~ *h* (второго языка), возникшее в результате изменения $*f > h$ во втором языке:

	Сумма	*f*	*h*
частота в первом языке	100% (50 основ)	80% (40 основ)	20% (10 основ)
частота во втором языке	100% (10 основ)	0% (0 основ)	100% (10 основ)
средняя частота	100%	40%	60%
отклонение от средней частоты в первом языке	—	+40% (80—40)	—40% (20—60)
отклонение от средней частоты во втором языке	—	—40% (0—40)	+40% (100—60)

Таким образом, отклонения от средней частоты употребления звуков *f* и *h* в обоих языках позволяют выявить соответствие *f* первого языка (+40%) ~ *h* второго языка (+40%).

Приведенный пример включает только один этап фонетического развития. Можно, однако, убедиться в том, что усложнение задачи путем введения промежуточных ступеней фонетических изменений не оказывает влияния на конечный результат — соответствие двух разных звуков влечет за собой образование двух пар отклонений от средних частот употреб-

ления звуков. При этом показатели отклонений получат разные знаки: если, например, частота употребления одного звука превышает среднюю в первом языке и ниже средней во втором, то частота употребления другого звука окажется в первом языке ниже, а во втором — выше:

	Первый звук	Второй звук
первый язык	+	—
второй язык	—	+

Рассмотрим фрагмент таблицы отклонений от средних частот употребления звуков в одной из подгрупп манде, объединяющей два языка — кпелле и менде:

Звук	*mb*	*b*	*h*	*kp*	*kpw*	*ng*	*w*	*y*	*l*	*nj*	*nd*	*s*
Средн.(в%)	2,2	4,5	8,1	5,6	3,0	5,2	3.5	5,5	5,2	0,9	3,7	2,6
Кпелле	—2,2	+1,5	+2,2	—2,9	+3,0	—5,2	+1,7	+3,2	+3,5	—0,9	—3,7	—2,6
Менде	+2,2	—1,5	—2,2	+2,9	—3,0	+5,2	—1,7	—3,2	—3,5	+0,9	+3,7	+2,6

Сравнение частотных отклонений указывает на значительное расхождение фонетических систем кпелле и менде. В частности, начальные согласные *mb*, *nd*, *ng* и *nj*, характеризующиеся в менде большой частотой употребления, в языке кпелле вообще не отмечены и, следовательно, соответствуют каким-то другим согласным языка кпелле.

Вместе с тем знакомство с лексикой языка менде без ее сопоставления с материалами по кпелле указывает на определенную корреляцию согласных менде в следующих парах, охваченных процессом изменения начального согласного в этом языке: *mb* ~ *b*, *nd* ~ *l*, *ng* ~ *w*, *ng* ~ *y*, *nj* ~ *y*.

Возникает, таким образом, предположение о наличии соответствий между *mb*, *nd*, *ng* и *nj* языка менде, с одной стороны, и *b*, *l*, *w*, *y*, языка кпелле, с другой. Данные таблицы частотных отклонений этой группы языков подтверждают это предположение полностью: начальные *b*, *l*, *w*, *y* языка кпелле характеризуются значимыми завышенными частотами употребления. Можно, следовательно, не прибегая к материалам сравнительного словаря, с большой степенью вероятности установить соответствия:

Кпелле	*b*	*l*	*w*	*y*	*y*
Менде	*mb*/*b*	*nd*/*l*	*ng*/*w*	*ng*/*y*	*nj*/*y*

Помимо этих звуков, приведенная выборка содержит еще четыре примера значимых отклонений, т. е. таких отклонений, которые должны быть объяснены регулярными соответствиями:

Звук	*kp*	*kpw*	*s*	*h*
Кпелле (откл. в %)	—2,9	+3,0	—2,6	+2,2
Менде (откл. в %)	+2,9	—3,0	+2,6	—2,2

Направленность этих отклонений, а также их количественные характеристики позволяют установить соответствия *kpw* (кпелле) ~ *kp* (менде); *h* (кпелле) ~ *s* (менде).

Обнаруживается и следующее обстоятельство: если в кпелле начальный *s* полностью отсутствует, то в менде начальный *h* отмечен в 5,9% слов. Большой частотой употребления характеризуется начальный *h* и в кпелле. Следовательно, соответствие *h* (кпелле) ~ *s* (менде) не может объяснить всех употреблений *h* в этих языках. Выделяется, таким образом, соответствие *h* (кпелле) ~ *h* (менде), поскольку все значимые отклонения разных звуков уже объяснены регулярными соответствиями.

Помимо соответствия *h* ~ *h*, характер частотных отклонений указывает на наличие следующих однозначных соответствий в этих языках: *m* ~ *m*, *n* ~ *n*, *ny* ~ *ny*, *p* ~ *p*, *f* ~ *f*, *t* ~ *t*.

В другой подгруппе — гуро-яуре — значимые отклонения (их направленность показана в приводимой ниже табл.) отмечены для одиннадцати звуков, что также свидетельствует о значительных фонетических изменениях, произошедших в одном из языков:

Звук	*b*	*p*	*v*	*f*	*g*	*k*	*gy*	*d*	*t*	*s*	*z*
Гуро	+	—	+	—	+	—	+	+	—	+	—
Яуре	—	+	—	+	—	+	—	—	+	—	+

Для того чтобы установить регулярные фонетические соответствия гуро и яуре, сравнивать лексику этих языков не нужно. Частотные отклонения, определенные в каждом языке отдельно, указывают на бесспорное соответствие звонких начальных согласных гуро глухим яуре. Наблюдаемая в приведенной таблице корреляция *b* и *p* подтверждается парами *g* ~ *k*, *z* ~ *s*, *d* ~ *t*. Частотные отклонения свидетельствуют и о том, что в этих языках противопоставляются как звонкий и глухой начальные *v* (гуро) и *f* (яуре). По аналогии со всеми другими звонкими согласными гуро соответствием *gy* (гуро) в языке яуре может предположительно считаться начальный *ky*.

Не менее показательны отклонения от средних частот употребления начальных согласных в других подгруппах манде, в том числе и в наиболее представительной подгруппе — нван-мано, объединяющей восемь языков и диалектов.

Реконструированные отдельно для каждой подгруппы ряды вероятных фонетических соответствий могут быть объединены. В различиях средних частот употребления фонем по подгруппам внутри какой-либо группы отражаются различия фонетических систем языков-основ этих подгрупп. В свою очередь различия средних частот по группам внутри семьи в целом указывают на определенные процессы изменения праязыковых фонем, протекавшие на начальных этапах языковой дивергенции в семье манде. Таким образом, ряды вероятных соответствий в семье языков и предварительная реконструкция праязыковой системы начального консонантизма могут быть получены в результате проведения двух этапов обобщающего анализа, аналогичного по методике анализу частотных отклонений в рамках отдельной подгруппы.

Применение изложенной методики дает удовлетворительные результаты: сопоставление рядов вероятных соответствий, реконструированных на основе предварительных статистических данных, с рядами регулярных соответствий, выявленными на завершающем этапе сравнительного анализа лексики языков манде, убеждают в том, что большинство прафонем и их рефлексов в отдельных языках может быть восстановлено с достаточной ясностью на начальной стадии исследования, предшествующей составлению сравнительного словаря [2].

Преимущество такого рода анализа оказывается менее заметным, если целью исследования является установление регулярных фонетических соответствий между отдельными родственными языками (например, соответствия согласных в языках вен и бен). Однако отдельные сопоставления родственных языков при огромном разнообразии языков и диалектов, распространенных в данном регионе, не отвечают, как правило, задачам компаративистики. Сравнительный анализ лексики языков вен и бен не позволяет, например, составить представление о характеристиках языка-основы восточной группы, а следовательно, и сравнить эти языки с языками, входящими в другие группы манде.

---

[2] К. И. Поздняков, Языки манде (сравнительно-исторический анализ). Канд. диссерт., 2, М., 1978, стр. 16—21, 26—31.

Если же целью проводимого исследования является установление системы регулярных фонетических соответствий и фонетические реконструкции в группе, включающей десятки языков, то оно неизбежно начинается с длительной работы по составлению сравнительного словаря языков группы. Реконструкция предполагаемой системы соответствий в группе родственных языков на основе анализа частот употребления фонем дает возможность приступить к составлению словаря родственных слов, минуя предварительный этап объединения слов по семантическому признаку, на котором не учитываются случаи заимствований (внешних и внутренних) и семантических изменений. Устраняется, таким образом, наиболее трудоемкая часть предварительного анализа. Вместе с тем появляется относительно надежный критерий установления фонетических соответствий в условиях, когда какие-либо другие надежные критерии отсутствуют.

Наблюдения над соотношением фонемных частот в родственных языках позволяют наметить и некоторые приемы оценки результатов сравнительно-генетического анализа и их последовательного уточнения. Необходимость их разработки продиктована следующими обстоятельствами: 1) в рамках традиционного анализа большое число примеров отражения прафонемы в языке не настораживает — чем больше примеров, тем надежнее считается соответствие. Вместе с тем наблюдаемые в разных языках существенные различия между количеством слов, отнесенных к одному ряду соответствий, должны быть объяснены. Необходимо для этого установить максимально возможное число слов каждого языка, относимых к данному ряду; 2) незаполнения, «окна» в таблице фонетических соответствий обозначают две принципиально различные ситуации, указывая: а) на поверхностность проведенного анализа или недостаточное количество имеющихся языковых данных; б) на значительное число заимствований, вытеснивших в языке все исконные основы, относящиеся к данному ряду, или на низкую частоту употребления соответствующей фонемы в праязыке. Таким образом, незаполненная графа таблицы соответствий (а также вопросительный знак после рефлекса) указывает в одном случае на слабые стороны проведенного анализа (а), в другом же случае, напротив, полно и надежно отражает результаты сравнительно-исторического исследования (б) и представляет, следовательно, не меньший интерес, чем все прочие заполнения таблицы. Для разграничения этих ситуаций необходимо определить минимально возможное количество слов каждого языка, относимых к данному ряду; 3) сравнительно-этимологический анализ может оказаться неточным и в том случае, если система соответствий установлена абсолютно верно, поскольку одна система соответствий составляет несколько возможностей для идентификации цепочки родственных слов, что, в свою очередь, обусловлено существованием многочисленных примеров слияния в языке нескольких прафонем. Например, соответствие *k* (вай) ~ *k* (бозо) отмечено в шести рядах, восходящих к $*k$, $*\underline{k}$, $*ky$, $*kw$, $*\underline{g}_1$, $*\underline{g}_2$, и объяснение двух родственных слов с начальным *k*, зафиксированных только в вай и бозо, каким-либо из этих шести рядов является произвольным. Дополнительным критерием при соотнесении слов с рядами соответствий может служить определение возможного числа слов в каждом языке, относимых к тому или иному ряду.

Таким образом, установление указанных контрольных характеристик позволило бы в значительной степени уточнить сравнительно-исторический анализ фонетики и лексики в тех случаях, когда традиционные приемы анализа оказываются неэффективными.

Разработанная методика оценки и уточнения результатов [3] основана

[3] Подробнее см.: К. И. Поздняков, указ. соч., 1, стр. 28—49; 2, стр. 32—35.

на следующей закономерности: «мощность»[4] одного ряда в каждом дивергентном языке должна быть постоянной и равняться частоте употребления прафонемы, к которой восходит данный ряд соответствий. Соотношение частот употребления фонем в праязыке должно совпадать с соотношением частот различных рефлексов в любом из языков семьи независимо от количества заимствований и инноваций в языке, поскольку нет никаких оснований полагать, что заимствования вытесняют слова с одним начальным согласным «охотнее», чем с другим.

Количество вытесненных лексических основ, как бы велико оно ни было, будет пропорционально частоте употребления отмеченной в них прафонемы, а следовательно, соотношение праязыковых частот останется неизменным.

Частоты употребления фонем праманде определяются следующим образом. Каждый раз, когда мы сближаем группу слов из различных языков, объясняя ее каким-либо рядом соответствий, мы как бы фиксируем в праязыке одну основу. Количество таких операций совпадает с количеством слов праязыка, выделяемых на основе собранных в сравнительном словаре материалов. Количество основ праязыка, образовавших один ряд соответствий, равно количеству отнесений к ряду.

Это не означает, что пересчитав сближенные нами же группы слов, можно утверждать: в праманде было 334 слова, причем 6% (20 слов) — с начальным *k. Эти цифры отражают лишь степень точности (или неточности) проведенного анализа. Но коль скоро мы называем какие-то слова родственными, реконструируем какие-то основы, анализ должен быть проведен так, чтобы получаемые результаты не противоречили друг другу.

Устанавливаются, таким образом, частоты употребления каждой реконструированной фонемы праманде, с которыми сопоставлены частотные характеристики рефлексов прафонемы в тридцати языках семьи. Отклонения от контрольных (праязыковых) частот рассматривались как свидетельство неточности проведенного анализа. Средний процент выявляемых ошибок составляет 8,9%. Это означает, что в среднем в каждом из тридцати языков 8,9% слов соотнесено с рядами соответствий неверно и в каждом из двадцати семи установленных рядов 8,9% примеров должно быть пересмотрено. Определяется также, в каких языках и в каких рядах соответствий допущено наибольшее количество неточностей.

При этом обнаружена прямая зависимость между степенью достоверности полученных результатов и объемом привлеченного материала. Языки с наибольшими показателями ошибочных заполнений (в частности, языки доп, вай, бле, буса) представлены в сравнительном словаре наименьшим числом слов. И напротив, наиболее полно представленные языки (в частности, бамана, манинка, менде, сусу, бозо, кпелле, гбан, биса, лебир) показывают наименьший процент выявляемых ошибок. Это лишь подтверждает установленную закономерность, согласно которой частоты древней фонемы и ее рефлексов в каждом дивергентном языке должны быть равны.

Таким образом, перераспределение лексики по рядам соответствий в зависимости от характера частотных отклонений не следует рассматривать как искусственное «притягивание» словарного материала к заранее сложившейся умозрительной схеме — сравнительно-историческая интерпретация полученных количественных характеристик позволяет выявить ряд ошибок, допущенных при восстановлении системы соответствий и составлении пробного этимологического словаря языков манде .

[4] Под «мощностью» ряда в языке понимается процентное отношение числа слов, объясненных в языке данным рядом соответствия, к общему числу слов этого языка, объясненных системой соответствий.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1980

ЕЛИЗАРЕНКОВА Т. Я.

ВЕДИЙСКИЙ И САНСКРИТ: К ПРОБЛЕМЕ ВАРИАЦИИ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ТИПА

Ведийский язык, как известно, является одним из классических древних индоевропейских языков, и с его изучением связано становление сравнительно-исторической грамматики и.-е. языков. Это обстоятельство наложило определенный отпечаток на все дальнейшее изучение ведийского языка, который трактовался как и.-е. по преимуществу. В ведийском языке исследователей интересовали прежде всего архаизмы, которые с синхронной точки зрения могли быть несистемными элементами или находиться на периферии системных противопоставлений. При таком подходе тип конкретного описываемого языка неизбежно оставался вне поля зрения исследователя.

Хотя понятие «индоевропейский» является генетическим, с ним связаны и определенные типологические представления. Древние и.-е. языки были в основном флективными по своему типу, поэтому в ведийском языке разрабатывались прежде всего морфология и морфонология, лежащая в основе морфологии этого языка (не говоря уже о более широком изучении фонетики, необходимом для установления рядов соответствий с другими древними и.-е. языками). Для языка со столь развитой флексией, как ведийский, когда слово, обладающее ясной морфологической структурой, представляется самодовлеющим, синтаксический уровень описания разрабатывался гораздо менее тщательно.

Все это привело к тому, что типологическая характеристика ведийского языка складывалась главным образом по парадигматической оси, т. е. давалась в качестве определенного набора единиц, принадлежащих к тому или иному уровню. В фонетике — это противопоставление пяти рядов смычных согласных, в том числе церебральных; внутри каждого ряда — противопоставление по звонкости — глухости, придыхательности — непридыхательности, назальности — неназальности; среди гласных — неразличение *e*, *o* и дифтонгов по долготе/краткости при релевантности этой оппозиции для прочих гласных; в морфонологии — противопоставление ступени чередования корневого гласного, типа основы и типа флексии.

Данные синтагматики использовались в гораздо меньшей степени. Это в определенной мере оправдано, если структура ведийского языка типологически сравнивается со структурами других древних и.-е. языков, и становится гораздо менее оправданным при сопоставлении ведийского языка с непосредственно следующим за ним этапом развития древнеиндийского языка — санскритом. Ведь известно, что при типологической характеристике языка, если не применяется универсальная схема, моделирующая факты любого языка, выбор параметров, по которым определяется тип данного языка, становится особенно существенным. Выбор этот в свою очередь зависит от того, с языками какого типа сравнивается структура описываемого языка.

Обычно задача типологического исследования состоит в установлении типологических схождений. Именно в этом и заключается смысл типоло-

гического сопоставления языков, принадлежащих к разным семьям. Однако возможно — более того — целесообразно типологическое изучение генетически близкородственных и хронологически непосредственно примыкающих друг к другу или даже принадлежащих к одному синхронному срезу языков. При большой парадигматической близости этих языков они могут представлять собой разные системы в силу синтагматических различий. В этом случае задача типологического исследования должна, естественно, заключаться не в установлении, как обычно, типологических схождений, а, наоборот, в фиксировании типологических расхождений. Интересный пример такого рода можно привести из истории развития индоарийских языков, когда в пределах одного синхронного среза, в двух среднеиндийских языках, в пракритах шаурасени и махараштри, по парадигматической оси имеется один и тот же набор фонем, но фонологические системы этих языков разные в силу весьма различных правил комбинации этих фонем по синтагматической оси [1]. Конечно, такая ситуация парадоксальна и не часто встречается, но она поучительна в теоретическом плане.

Все эти общие соображения имеют непосредственное отношение к типологической характеристике ведийского языка по сравнению с санскритом [2]. Если обратиться к парадигматической характеристике обоих языков в области морфологии, то получится следующая картина. Основной набор морфем, служащий для выражения грамматических значений, в этих языках в общем один и тот же. В глаголе, например, разница заключается в наличии в ведийском субъюнктива: показатель *-a-* в основе и набор «усиленных» окончаний в медиальном залоге помимо обычных окончаний. Однако характер использования этого общего фонда морфем в ведийском языке и в санскрите неодинаков. Можно сказать, что в ведийском языке по сравнению с санскритом грамматические показатели менее автоматизированы. Грамматика в ведийском языке менее принудительна, и это проявляется различными способами.

Для ведийского языка характерна во многих случаях вариативность флексий там, где в санскрите предписывается только одна определенная флексия. Варианты окончаний засвидетельствованы как в имени, так и в глаголе. В именной флексии известны следующие наиболее распространенные варианты: L. sg. согласных основ *-i*/ноль (*áçmani*/*áçman* «в скале»); I. sg. f. основ на *-ā -ayā*/*-ā* (*priyáyā*/*priyā́* «с возлюбленной»); I. sg. основ на *-i -ā*/*-nā*/*-ī* [*çúcyā*/*çúcinā*/ *çúcī*/*çúci* «чистым» (последняя форма — результат метрического сокращения)]; у основ на *-u -ā*/*-nā* (*mádhvā*/*mádhunā* «сладким»); N.— Acc.— V. du. m. согласных основ и основ на *-a -ā*/*-au* (*pitárā*/ /*pitárau* «двое родителей», *devā́*/*deva*/*devaú* «два бога» — вторая форма — результат метрического сокращения); N. pl. m. у основ на *-a* и изредка f. у основ на *-ā -ās*/*-āsas* (*devā́s*/*devā́sas* «боги»); N.— Acc.— V. n. *-ā*/*-āni* (*bhadrā́*/*bhadrā̃ni* «благословенные», *kármā*/*kármā*/*kármāṇi* «дела»); I. pl. от основ на *-a -aís*/*-ébhis* (*devaís*/*devébhis* «с богами») и некот. др.

В глаголе основные варианты флексий следующие: 1 pl. pr. *-mas*/*-masi* (*vádāmas*/*vádāmasi* от vad- «говорить»), 2 pl. pr. *-tha*/*-thana* (*vádatha*/*vá-*

[1] См.: В. В. Вертоградова, Структурная типология среднеиндийских фонологических систем, М., 1967.

[2] Здесь следует уточнить, что понимается под этими языками. В обоих случаях имеются в виду литературные языки древней Индии (культовый ведийский язык рассматривается как разновидность литературного; вопрос о том, был ли санскрит когда-либо разговорным языком, оставляется в стороне). Они различались, во-первых, хронологически: начало ведийского языка условно датируется концом II — начало I тыс. до н. э., а начало санскрита тоже условно III—II вв. до н. э., и, во-вторых, по своей диалектной базе: ведийский язык связан с Пенджабом, т. е. с крайним северо-западом, а санскрит — с Мадхьядеша, т. е. с центральной областью северной Индии.

dathana); 2 pl. iv. *-ta/-tana* (*kṛṇóta/kṛṇótana* от *kar-* «делать»); 1 sg. subj. *-āni/-ā* (*bhávāni/bhávā* от *bhū-* «быть»).

Наличие такого количества вариантов флексий говорит о недостаточно жесткой грамматикализации форм в ведийском языке. В метрическом языке мантр на это налагается еще возможная неоднозначность окончаний с исходом на гласный. В зависимости от места, занимаемого словом в метрической схеме стиха, долгий гласный может сокращаться, а краткий удлиняться. Например: *ágne sāpāyanó bhava* (I, 1, 9) «О Агни, будь доступен!» и *índra prāçū́r bhavā sácā* (I, 40, 1) «О Индра, будь при этом гостем (?)!». Во втором случае форма 2 sg. iv. *bhavā* омонимична форме 1 sg. subj., и только контекст подсказывает правильную интерпретацию.

Наконец, причины омонимии форм могут быть грамматическими, как в случае неразличения форм ед. и мн. числа, встречающегося иногда у существительных среднего рода. Например: *tád u práyakṣatamam asya kárma | dasmásya cā́rutamam asti dáṃsaḥ* (I, 62, 6) «Ведь это есть самое удивительное его деяние, лучшее чудо чудесного»... и *índrasya kárma súkṛtā purū́ṇi* (III, 30, 13) «Многочисленные деяния Индры прекрасны». Для идентификации отдельной формы здесь тоже приходится прибегать к контексту, поскольку граммема числа имени существительного выражена согласованием с личной формой глагола или прилагательным.

В одних случаях выбор варианта флексии в языке мантр может до некоторой степени определяться типом соответствующей основы (например, вариант флексии N. pl. *-āsas* очень часто встречается у основ на *-a* и совсем редко у основ на *-ā*), в других — соображениями метрики.

Для ведийского языка характерна в отличие от санскрита такая ситуация, когда одно значение регулярно может передаваться разными формами. Например, значение будущего времени в системе этого языка регулярно выражают формы футурума [в «Ригведе (далее — РВ) весьма немногочисленные] и формы субъюнктива (в РВ очень употребительные), а иногда это значение приобретают в отдельных контекстах формы инъюнктива. Например: *staviṣyā́mi tvā́m aháṃ|víçvasyā́mṛta bhojana* | (I, 44, 5) «Я буду прославлять (или «хочу прославлять») тебя, о, бессмертный усладитель всего!»; *índraṃ stavā nṛ́tamaṃ*... (X, 89, 1) «Я буду прославлять (или «хочу прославлять») Индру, самого мужественного...». Значение 2 sg. iv. кроме парадигматических форм самого́ императива передают еще соответствующие формы инъюнктива и субъюнктива. Например:...*āthā́bhayaṃ kṛṇuhi viçváto naḥ* (III, 47, 2) «...а также создай нам повсюду отсутствие страха!»; ...*asmā́bhyam máhi várivaḥ sugáṃ kaḥ* (VI, 44, 18) «... создай нам великое широкое пространство, легкий проезд!»; *ná stotā́raṃ nidé karaḥ* (III, 41, 6) «Не выставь восхвалителя на позор!» (букв. «Не сделай восхвалителя для позора!»).

Комбинаторные возможности морфем в ведийском языке нередко бывают шире, чем в санскрите. Так, в ведийском языке суффиксы степеней сравнения прилагательных присоединяются не только к основам прилагательных, как в санскрите, но также к основам существительных и, наконец, даже сложных слов. Например, в мантрах наряду с *vapúṣṭara-* от *vápuṣ-* «удивительный», *priyátama-* от *priyá-* «приятный» и т. п. встречаются формы типа *vṛtrátara-* от *vṛtrá-* «враг», nom. pr. дракона, *índrātamā* «самая подобная Индре» от *índra-*, *ratnadhā́tama-* от *ratnadhā́-* «наделяющий сокровищами», *ā́gamiṣṭha-* «лучше всех приходящий» от *ā* + *gam-* «приходить» и др.

Значение грамматической формы не всегда выводимо из значений составляющих ее морфем. Так, например, в ведийском глаголе формальные показатели косвенных наклонений могут соединяться не только с основой презенса, как в санскрите, но также и с другими временны́ми основами —

аориста и перфекта, однако разницы в значении между этими формами нет. Вот некоторые примеры: *draviṇodā́ dadātū no vásūni* (I, 15, 8) «Пусть даритель богатств подарит (3. sg. iv. pr.) нам блага!» и...*bhágaç ca dātu vā́ryam* (VII, 15, 11) «...и Бхага пусть подарит (3. sg. iv. aor.) лучшее богатство!»; *sāhyā́ma dā́sam ā́ryaṃ tváyā yujā́* (X, 83, 1) «Пусть одолеем мы (1. pl. opt. aor.) дасу и арью с тобою как с союзником!» и *índratvotāḥ sāsahyāma pṛtanyató* (I, 132, 1) «С твоею помощью, о Индра, пусть одолеем (1. pl. opt. pf). мы противников!».

Может быть и наоборот. С одним формальным показателем в ведийском языке могут быть связаны разные значения. Так, *-si* является регулярной первичной флексией 2. sg. pr., а у небольшой группы глаголов эти формы функционируют в значении 2. sg. iv.[3], ср., например, *yāsi* от *yā-* «идти; двигаться»; *bhū́myā ádhi pravátā yāsi sā́nunā...* (X, 75, 2) «Ты движешься по склону, по поверхности земли...» и *parṣi* от *par-* «переправлять»: *pā́rṣi ṇaḥ pārám áṃhasaḥ svastí* (II, 33, 3) «Переправь нас благополучно через нужду!». Или другой пример. В ведийском языке *-a-* является тематическим гласным, т. е. лишенным грамматической семантики формантом, с помощью которого образуются определенные типы глагольных временных основ, например: pr. *bháv-a-ti* от *bhū-* «быть», aor. *á-vid-a-t* от *vid-* «находить» и показателем субъюнктива, например, *kár-a-t* от *kar-* «делать», *bhávāti* (<*bhav-a-a-ti*) от *bhū-*. Надо заметить, что в таких случаях при синхронном описании правомерна также постановка вопроса об омонимии грамматических показателей.

Материально тождественные и обладающие одним и тем же грамматическим значением морфемы могут не быть функционально тождественны друг другу в рамках своей системы в ведийском языке и в санскрите в силу различающихся общих характеристик этих систем. Так, аугмент *a-* в ведийском и в санскрите является формальным показателем прошедшего времени в глаголе: вед., санскр. impf. *á- bhavat* от *bhū-* «он был» при pres. *bhávati*, aor. *ávidat* от *vid-* «находить» при pres. *vindáti*. В ведийском языке, однако, наряду с *ábhavat*, *ávidat* могут употребляться и безаугментные формы типа *bhávat*, *vidát* — так называемый инъюнктив, способный выражать в зависимости от контекста широкий круг модальных и временных значений. В санскрите же употребление аугмента обязательно, оно автоматично у любой формы со вторичными окончаниями.

Пример другого рода. Морфема *-tum* является показателем инфинитива в ведийском языке и в санскрите. В санскрите это единственная морфема, образующая инфинитив от глагольного корня. В ведийском языке она одна из многих, причем принадлежит к числу малоупотребительных. Морфема *-tum* по происхождению является вин. падежом от имен действия на *-tu*. В языке мантр более распространены инфинитивы, формальный показатель которых восходит к флексии дат. падежа отглагольных имен с различными суффиксами (употребляющихся также самостоятельно или только в составе инфинитива). Эти инфинитивы обычно выражают значение цели (одно из значений, характерных для дат. падежа). Они образуются с помощью ряда морфем — *-e*: *dṛçé* «чтобы видеть» (*dṛç-*), *bhujé* «чтобы наслаждаться» (*bhuj-*); *-ase*: *áyase* «чтобы идти» (*i-*), *çriyáse* «чтобы сверкать» (*çrī-*); *-aye*: *dṛçáye* «чтобы видеть» (*dṛç-*), *yudháye* «чтобы сражаться» (*yúdh-*); *-tave*: *étave* «чтобы идти» (*i-*), *pā́tave* «чтобы пить» (*-pā-*); *-tavaí*: *étavaí* «чтобы идти» (*i-*), *pā́tavai* «чтобы пить» (*pā-*); *-tyai*: *ityai* «чтобы идти» (*i-*); *-dhyai*: *iyádhyai* «чтобы идти» (*i-*), *pibádhyai* «чтобы пить» (*pā-*); *-mane*: *dā́mane* «чтобы дать» (*dā-*), *vidmáne* «чтобы знать» (*vid-*); *-vane*: *dāváne* «чтобы дать» — итого девять способов образования дательного инфинитива.

[3] Интерпретация этой флексии здесь дается чисто синхронная, и возможность разного происхождения поэтому во внимание не принимается.

Инфинитивы с флексией вин. падежа гораздо менее многочисленны и употребительны. В предложении они выступают обычно в функции прямого объекта и управляются глаголами со значением «мочь», «хотеть» или глаголами движения. Они образуются с помощью двух морфем — *-am*: *vicr̥tam* «развязывать» (*vi* + *cr̥t-*), *samídham* «зажигать» [*sam* + + *i*(*n*)*dh-*] и *-tum*: *ótum* «ткать» (*ū-*), *práṣṭum* «спрашивать» (*prach-*). В РВ инфинитивы на *-tum* образуют только пять корней.

Инфинитивы с флексией род.-отложит. падежа в ведах тоже малоупотребительны. Они сохраняют обычно семантику отложит. падежа или употребляются со служебными словами, управляющими род. или отложит. падежом. Образуются они двумя способами: с помощью морфемы *-as*, например, *avapádas* «от падения вниз» (*ava* + *pad-*), и морфемы *-tos*: *kártos* «из-за деления» (*kar-* «делать»).

Наконец, есть еще инфинитивы с флексией местн. падежа. Они совсем редки и не вполне ясны морфологически и семантически. Образуются морфемами *-i*: *budhí* «при пробуждении» (*budh-*), *-tari*: *dhartári* «чтобы поддержать» (*dhar-*), *-ani*: *iṣáṇi* «чтобы возбудить», *-sani*: *neṣáṇi* «вести» (*nī-*).

Таким образом, в ведийском языке сохраняется формальная и семантическая связь инфинитивов разных способов образования с соответствующим исходным падежом. Между инфинитивами, образованными от одного падежа, разницы в значении нет. Так, *áyase*, *étave*, *étavaí*, *ityaí* от *i-* значит одно и то же, а *kártave* и *kártos* от *kar-* имеют разное грамматическое значение.

Все эти проблемы сняты в санскрите, поскольку форма инфинитива в этом языке одна. Она утратила семантическую связь с вин. падежом, приобрела широкий круг значений. В силу всего этого при системном подходе инфинитив на *-tum* в ведийском языке и инфинитив на *-tum* в санскрите, строго говоря, несопоставимы.

Неодинаковое место в системе ведийского языка и санскрита занимают абсолютивы на *-tvā*. Разница здесь менее резкая, чем в отношении инфинитива на *-tum*, но пренебрегать ею все же невозможно. Для обоих языков существует дополнительное распределение морфем: *-tvā* образует абсолютивы от корней без приставки, *-yă* от корней с приставкой, т. е. *gatvā* от *gam-* «идти», но *āgatya* от *ā* + *gam-* «приходить». Это фрагмент системы, общий для ведийского языка и санскрита. Однако в ведийском языке от корней без приставок, кроме *-tvā*, употребляются еще морфемы *-tvī* и *-tvāya*, причем в самом древнем памятнике, в РВ, абсолютивы на *-tvī* наиболее употребительны. Таким образом, объем противопоставления морфем *-yă* и *-tvā* в ведийском языке оказывается иным, чем в санскрите.

Наиболее ярким примером материально тождественных граммем, по-разному функционирующих в системе ведийского языка и санскрита, является футурум, уже упоминавшийся здесь ранее. В ведийском языке футурум с суффиксом *-sya*/*-iṣya* в системе оппозиций противостоит другим граммемам времени как средство выражения плана будущего в отличие от плана настоящего или прошлого. При этом в РВ футурум очень мало употребителен (засвидетельствован всего у 16 корней), а будущее время регулярно передается модальной граммемой субъюнктива. В санскрите же футурум является единственным способом выражения будущего времени и образуется от любого глагольного корня, а субъюнктива нет.

Неодинаковым является объем косвенных наклонений, общих для ведийского языка и санскрита, а именно императива и оптатива, из-за того, что в ведийском языке существует еще субъюнктив[4]. По инвариант-

[4] Инъюнктив здесь не принимается во внимание, так как он противостоит всей системе видо-временных и модальных оппозиций в целом.

ным значениям субъюнктив ближе всего к оптативу. Эти две граммемы наклонений различаются по одному только признаку: автономность/неавтономность. Оптатив выражает желание, не соотносимое с какими-либо условиями, т. е. как действие автономное, в то время как субъюнктив выражает желательность или возможность действия в явной или имплицитной зависимости от каких-то других обстоятельств. Ср., например, оптатив: *asmé tád indrāvaruṇā vásu ṣyād*... (III, 62, 3) «Да будет у нас, о Индра-Варуна, это добро...!» и субъюнктив: *púnar éhi vṛṣākape suvitā̆ kalpayāvahai* (X, 86, 21) «Возвращайся снова, Вришакапи, (и) мы хорошо поладим!» Во многих вариантах значений оптатив и субъюнктив совпадают друг с другом, а также с императивом. Однако здесь существует важное синтаксическое различие. Субъюнктив в ведийском языке является основным наклонением, употребляющимся в придаточных предложениях, в то время как императив не употребляется в них никогда, а оптатив редко.

Схема противопоставлений граммем наклонений в санскрите совсем иная, чем в ведийском языке. Различительный признак: автономность/неавтономность — не используется в парадигматической характеристике граммем. Оптатив широко употребляется как в главном, так и в придаточном предложении.

Нередко грамматические оппозиции в ведийском языке менее универсальны, чем в санскрите. В обоих языках, например, существует такая кардинальная оппозиция, как оппозиция двух серий флексии глагола, служащая для различения ряда граммем времени и наклонения. В ряде случаев она является единственным средством различения. Так, если основа глагола способна употребляться и с первичными, и со вторичными окончаниями, то форма со вторичными окончаниями отождествляется как имперфект, а если она засвидетельствована только со вторичными окончаниями, то эти формы являются аористом. Иными словами, вопрос: имперфект или аорист — решается так или иначе в зависимости от того, есть ли соответствующая форма презенса. Например, *átirat* — имперфект, так как есть презенс *tiráti* (от *tar-* «пересекать»), а *ásicat* — аорист, так как основа презенса имеет иную структуру — *siñcáti* (от *sic-* «поливать»), или *ábibhar* — имперфект при презенсе *bíbharti* (от *-bhar-* «нести»), а *áçiçret* — аорист, поскольку презенс — *çráyate* (от *çri-* «направлять») и др.

Для санскрита это противопоставление двух серий глагольных флексий является безусловным. В языке мантр, однако, дело обстоит совсем иначе. В РВ насчитывается около 20-ти глагольных корней, у которых одна и та же основа встречается и в презенсе, и в аористе, только в аористе она хорошо засвидетельствована, а в презенсе встречается лишь несколько изолированных форм. Например, у глаголов *dā-* «давать» и *dhā-* «класть» хорошо засвидетельствованы редуплицированные презенсы *dádāti*, *dádhāti*, в связи с чем *ádadāt* и *ádadhāt* являются имперфектами, а корневые формы *ádāt* и *ádhāt* считаются аористами. Но наряду с этим известны и отдельные случаи употребления корневых основ с первичными окончаниями *dā́ti*, *dhā́ti* [5].

К этому следует еще добавить, что при обилии в РВ модальных форм и их преобладании над формами изъявительного наклонения в парадигме данного глагола может вообще не оказаться форм с первичными окончаниями (как оно нередко и бывает в этом памятнике), и тем самым вообще утрачивается критерий для идентификации форм.

---

[5] Подробнее об этом см.: Т. Я. Елизаренкова, Аорист в «Ригведе», М., 1960, стр. 31 и сл.

Большие трудности при идентификации вызывает слабая формальная охарактеризованность таких наклонений, как субъюнктив и инъюнктив. Приметой субъюнктива является суффикс *-a-*, совпадающий с тематическим гласным, что в отдельных случаях может послужить причиной неясности. Окончания могут быть и первичными, и вторичными — это единственная граммема, совмещающая две серии окончаний,— и, наконец, «усиленными» первичными окончаниями медиального залога. Для иллюстрации можно привести глагол *kar-* «делать». Хорошо установлена система презенса с носовым суффиксом: през. *kṛṇóti*, имперф. *ákṛṇot*. Аористом следует считать корневое аугментное образование типа *ákar-* — его формы тоже многочисленны, но засвидетельствованы и единичные корневые формы с первичной флексией: 2 du. *kṛthas*, 1 pl. *kurmás*, 2 pl. *kṛtha*. Есть немало тематических форм с первичными окончаниями типа *kárasi*, *kárati* и т. п., которые структурно можно было бы связать с такой аугментной формой, как *ákaram*, но они имеют модальное значение и принадлежат субъюнктиву. Есть многочисленные тематические формы субъюнктива со вторичными окончаниями типа *kárat* и атематические формы инъюнктива типа *kár*. При таком положении трудно говорить о единой парадигме глагола. У глаголов VI класса типа *tudáti* в РВ парадигма индикатива, как было показано Рену [6], является в значительной степени фикцией, так как у большинства глаголов этого класса структурно неясным модальным формам с вторичными окончаниями обычно соответствуют лишь редкие изолированные формы с первичными окончаниями.

В связи с тем, что парадигматическая характеристика многих форм в РВ недостаточно отчетливо выражена, их характеристика в содержательном плане тоже бывает весьма неопределенной. В таких случаях при установлении значения структурно неясной формы особую роль приобретает контекст, и исследователю приходится опираться на значение соседних форм, обладающих ясной и однозначной структурой. Такова ситуация прежде всего с инъюнктивом, способным выражать самый широкий круг временных и модальных значений [7] (инвариантное его значение, как показано К. Гофманом [8], было, по-видимому, мемоpативным, т. е. упоминанием действия, а не его описанием). Попадая в «силовое поле» какого-либо формально охарактеризованного глагола, инъюнктив заражается конкретным смыслом. Если рядом находится аугментная форма или перфект, инъюнктив выражает прошедшее время, например: *avaṃçé dyā́m astabhāyad bṛhántam | ā́ ródasī apṛṇad antárikṣam | sá dhārayad pṛthivī́m paprátha ca | sómasya tā́ máda índraç cakāra* || (II, 15, 2) «При отсутствии балки он поддержал (impf.) высокое небо, он наполнил (impf.) два мира, воздушное пространство. Он укрепил (inj.) и расширил (inj.) землю. В опьянении сомой Индра совершил (pf.) эти (деяния»). Если рядом находится формально охарактеризованная модальная форма, то инъюнктив имеет в данном контексте модальное значение, например: *sakhīyatā́m avitā́ bodhi sákhā | gṛṇāná indra stuvaté váyo dhāḥ* | (IV, 17, 18) «Будь (iv.) помощником, другом для того, кто ищет друга! О Индра, воспеваемый, дай (inj.) хвалителю жизненную силу!»

Неоднозначными могут быть и отдельные именные формы, идентифицируемые или на основании контекста, или с помощью формально охарактеризованных согласующихся с ними слов. Так, взятая вне контекста РВ именная форма *ūtī́* (от *ūtí* — f. «помощь; поддержка; подкрепление») не

[6] L. R e n o u, Le type védique tudáti, «Mélanges linguistiques offertes à Vendryes», Paris, 1925.

[7] L. R e n o u, Les formes dites d'injonctif dans la Ṛgveda, «Étrennes de linguistique offertes par quelques amis à Émile Benveniste», Paris, 1928.

[8] K. H o f f m a n n, Der Injunktiv im Veda, Heidelberg, 1967, стр. 278—279.

может быть отождествлена однозначно. Чаще всего она имеет значение I. sg., например: *aviḍḍhīndra citráyā na ūtī* (II, 17, 8) «Поддержи нас, Индра, яркою поддержкой!». В этой функции форма *ūtī*, как указывает Рену [9], приобретает нередко наречное значение. *Ūtī* иногда интерпретируется, как усеченная форма I. pl. (вместо *ūtíbhis*), например: *ā́ no bṛhantā bṛhatī́bhir ūtī́ | índra yātáṃ varuṇa vā́jasātau |* (IV, 41, 11) «Да придете вы к нам, о высокие Индра и Варуна, с высокими поддержками для завоевания добычи!». В некоторых контекстах форма *ūtī* имеет значение цели и отождествляется с *D.* sg., например: *marútvān no bhavatv índra ūtī́* (I, 100, 1—15*d*) «Да придет (букв. «станет») к нам Индра, сопровождаемый Марутами, на помощь!» Саяна глоссирует эту форму дат. падежами: *ūtī ūtaye rakṣaṇāya bhavatu*. Наконец, в одном не вполне ясном контексте РВ *ūtī* имеет, видимо, значение N. du.: *ubhā́ çáṃsā náryā mā́m aviṣṭām | ūbhé mā́m ūtī ávasā sacetām |* (I, 185, 9) «Оба прославления, связанных с мужами, да поддержат меня, обе поддержки — подкрепления да следуют за мной!».

В санскрите все эти структурно неотчетливые неоднозначные грамматические категории, граммемы и формы вышли из употребления, и грамматика стала гораздо более жесткой и принудительной.

Можно сказать, что в ряде случаев ведийский язык характеризуется оппозицией не типа: *a* — *b*, а типа: ноль — *a*, ноль — *b*. В этом состоит одно из существенных типологических различий между ведийским языком и санскритом.

В области фонетики и фонологии типологические различия между ведийским языком и санскритом также лежат на синтагматической оси [10]. Что касается парадигматики, то набор фонем в ведийском языке, за фонологическую систему которого здесь принимается система РВ, в санскрите практически один и тот же или, при другой интерпретации, когда за *jh* в ведийском языке не признается фонемного статуса (в РВ встречается один раз в виде геминаты в звукоподражании *jájhjhatīḥ* V, 52, 6; в санскрите фонемный статус этого звука не вызывает сомнений, но фонема малоупотребительна), различается на одну фонему. Различие на уровне вариантов фонем состоит в том, что в РВ *ḍ*, *ḍh* в интервокальном положении представлены соответствующими вариантами *ḷ*, *ḷh*, а в санскрите нет.

Различия по синтагматической оси между ведийским языком и санскритом настолько глубоки, что дают основания рассматривать фонологические системы этих языков как нетождественные. Они касаются как общих правил комбинации классов фонем в тексте, так и частных правил дистрибуции отдельных фонем.

Наиболее существенное различие между двумя системами проявляется в дистрибуции гласных между собой. В РВ в пределах слова, простого или сложного, нет запрета на сочетания гласных, будь то гласные фонемы или гласные варианты глайдов или плавного сонанта *ṛ*/*r*. Эта тенденция реализуется в зависимости от условий в виде сверхдолгих гласных в определенных формах в определенных местах метрической схемы, например, G. pl. *apaām* от *ap-* «воды»; сочетаний гласных форм глайдов с гласными фонемами, например, *syāt*/*siāt* — 3 sg. opt. от *as-* «быть», *tvám*/*tuám* «ты», *nyócanī*/*niócanī* «приятная», *svápas*/*suápas* «прекрасная работа» (реально в произношении в последних двух случаях — только второй вариант); комбинации слогообразующих фонем на стыке двух членов сложного сло-

---

[9] L. Renou, Grammaire de la langue védique, Paris, 1952, стр. 346.

[10] Подробнее об этом см.: Т. Я. Елизаренкова, Исследования по диахронической фонологии индоарийских языков, М., 1974, стр. 125—142.

ва, например: *aghá-açva-* «имеющий плохого коня», *pura-etā́* идущий впереди» и т. п.

В санскрите зияние гласных в пределах одного слова категорически запрещено, и при встрече двух гласных в формообразовании и словообразовании автоматически действуют правила сандхи, дающие в результате один гласный. Зияние гласных встречается в санскрите только в определенном сандхи на границе двух слов и является в связи с этим пограничным сигналом.

Разной является в ведийском языке и в санскрите синтагматическая трактовка глайдов, притом что набор их вариантов: *i/iy/y*, *u/uv/v*, *ī/iy/y*, *ū/uv/v* — в обоих языках одинаков, и в принципе правила дистрибуции вариантов в тексте одни и те же. Три варианта должны находиться в отношении дополнительного распределения: гласный вариант глайда — перед согласным, согласный перед гласным, а вариант «гласный + согласный» перед согласным после тяжелого слога. Разной для двух систем оказывается степень последовательности в соблюдении этих правил. Можно сказать, что в РВ нередко отсутствует принцип взаимной дополнительности вариантов. Одно слово в разных метрических схемах может быть представлено тремя вариантами: *tanvàs/tanū́vas/tanū́as* — N. pl. от *tanū́-* «тело», и таким образом метрический уровень оказывается выше фонетического. С другой стороны, в некоторых грамматических формах глайд никогда не вокализуется и всегда сохраняется его фонетически оправданный вариант, например, в G. sg.— *sya*, в именном словообразующем суффиксе *-va-* и др. Наряду с этим есть класс форм, в которых в соответствующих метрических схемах глайд имеет тенденцию вокализоваться, например, в склонении имен на *-ī*, *-ū*. Так механика взаимодействия уровней нивелирует до определенной степени правила распределения глайдов в ведийском языке.

В санскрите основное правило распределения вариантов глайдов: гласный вариант глайда — перед согласным, согласный — перед гласным — является автоматическим. На распределение же вариантов *y/iy*, *v/uv* наложены строгие морфологические ограничения: *iy/uv* встречаются только в небольшом числе грамматических форм после тяжелого слога. В результате ситуация с распределением вариантов глайдов в ведийском тексте и в санскрите оказывается совершенно различной.

Комбинаторные возможности согласных фонем в этих двух языках также заметно отличаются друг от друга. Прежде всего это относится к классу церебральных фонем. В РВ на его дистрибуцию наложен ряд важных ограничений. Церебральные не встречаются в РВ в начале слова. В санскрите все члены этого класса, кроме *ṇ*, допускаются, хотя и редко, в этом положении, и тем самым запрет оказывается снятым (важно, что есть около десятка корней с начальным церебральным, как *ṭal-*, *ḍī-*, *ḍhauk-* и др.). В санскрите расширились комбинаторные возможности церебральных фонем в отношении других согласных за счет увеличения бинарных сочетаний согласных с церебральной на первом месте. В санскрите стала гораздо более употребительной глухая непридыхательная церебральная *ṭ-* — в РВ это одна из самых редких фонем.

Важное синтагматическое различие между ведийским языком и санскритом проявляется в трактовке сочетаний согласных фонем. В ведийском языке они более ограничены и в качественном, и в количественном отношении по сравнению с санскритом. Так, в санскрите более разнообразны бинарные комбинации согласных фонем, в составе которых находятся придыхательная или палатальная фонемы. В санскрите большее распространение получают геминаты. Расширяются комбинаторные возможности фонем *b* и *l* (последняя вообще очень редко встречается в РВ).

Еще бо́льшие различия существуют между ведийским языком и санскритом в отношении консонантных сочетаний, состоящих более чем из двух фонем. В ведийском языке отсутствует ряд типов трехчленных комбинаций неслогообразующих звуков, которые в санскрите достаточно широко представлены в пределах слова. Таков тип сочетаний, состоящий из одного шумного и двух сонорных, например *-kmy-*, *-kly-*, *-dvr-*, *-lgv-* и др., или такие более редкие типы, как сочетание трех сонорных, например *-mny-*, *-rvy-* и др., и сочетание трех шумных, встречающееся на границе сложного слова, например *-kst-*, *-ṭst-*, *-tsph-* и др.

Кроме того, важно отметить, что две данные системы отличаются друг от друга не только разными структурами сочетаний согласных, но и разной синтагматической трактовкой одинаковых структур. Основную характеристику санскритских консонантных сочетаний Рену видит в том, что группы, насчитывающие до четырех — пяти элементов, в принципе сохраняются. Их упрощение является аномальным фактом [11]. В языке РВ действовала прямо противоположная тенденция — упрощать консонантные группы всеми способами. Исследователи ведийского языка не раз отмечали, что в нем консонантные сочетания метрически приравниваются к слогу. В фонетических трактатах-пратишакхья описываются разные способы разбиения групп согласных: сочетания с *r* разбиваются с помощью сверхкраткого гласного сварабхакти, сочетания с носовыми согласными — с помощью спхотана, сочетания с глайдами — за счет вокализации глайда.

Фразовые сандхи ведийского языка и санскрита также весьма отличны друг от друга. Парадигматические различия и здесь невелики — в санскрите почти полностью исчез такой вариант конечных носовых фонем, как анунасика, который был заменен на вариант анусвара. Основное различие заключается в степени обязательности одних и тех же правил в этих двух языках. Есть правила, действующие с одинаковым автоматизмом в обеих системах. Прежде всего это касается внешних сандхи согласных, т. е. уподобления по звонкости — глухости, палатальности — непалатальности, церебральности — нецеребральности. Не так обстоит дело с внешними сандхи гласных. В санскрите действие этих правил тоже является автоматическим. В языке РВ оно в значительной мере факультативно. Эти сандхи могут быть только графическими, а на метрическом уровне вскрывается зияние гласных; немало также случаев, когда отсутствие сандхи зафиксировано и на письме, например: *víçve amṛtā* IV, 42, 1; *índra ṛbhúbhir* III, 60, 5; *yó asti* II, 33, 7.

Подводя итог, можно сказать, что в области фонетики и фонологии синтагматические различия между ведийским языком и санскритом не менее, если не более, существенны, чем в области морфологии.

Обратимся теперь к области синтаксиса. Синтаксические различия между ведийским языком и санскритом представляются весьма важными. Различия по синтагматической оси являются здесь до некоторой степени проекцией важных парадигматических различий. А именно: на синтагматической оси находит свое отражение одна из общих количественных характеристик языка, заключающаяся в том, что длина ведийского слова в среднем гораздо меньше санскритского. Дело здесь отнюдь не только в отсутствии в ведийском языке многочисленных длинных сложных слов, специфичных для санскрита (они в этом языке представляют собой скорее стилистическую особенность текстов определенных жанров). Существенным является наличие значительного числа коротких слов (часто односложных) и их большая употребительность в тексте.

---

[11] L. R e n o u, Grammaire sanskrite, I, Paris, 1930, стр. 5.

Ведийские глагольные формы могут быть короче соответствующих санскритских на две морфемы: 1) за счет аугмента (о чем говорилось ранее) и 2) за счет префикса. В ведийском языке, прежде всего в языке РВ, не существу т, строго говоря, глагольных префиксов-морфем, входящих в состав глагольной формы, где они предшествовали бы корню, с которым были бы неразрывно спаяны, как это имеет место в санскрите. Они имеют статус полусамостоятельных слов в этом памятнике, обладая способностью употребляться отдельно от соответствующей личной формы глагола, с которой они составляют семантическое единство. При этом наречие-префикс всегда несет на себе ударение, а личная глагольная форма бывает безударной, когда находится в главном предложении (т. е. энклитикой при наречии-префиксе). В РВ преобладает самостоятельное употребление наречий-префиксов. И формально, и семантически эти два способа выражения, синтаксический и словообразовательный, являются по отношению друг к другу факультативными вариантами, ср., например: ***ápāvr̥nod*** *dúro áçmavrajānām* (X, 139, 6) «Он **отворил** ворота замкнутым в скале (коровам)» и ***ápa*** *dvā́rā támaso váhnir* ***āvaḥ*** (III, 5, 1) «Везущий (жертву) **отворил** врата мрака». Два наречия -префикса, относящихся к одной личной форме глагола, могут быть соединены союзами, например: *sáṃ ca práti cāsi* (II, 1, 55) «Ты и похож, и равен». Наконец, в эллиптичных оборотах (а они встречаются часто в самхитах) элидируется личная форма глагола, являющаяся энклитикой, а не ударное наречие-префикс, например: *úd īratām ávara út párāsa | ún madhyamā́ḥ pitáraḥ somyā́saḥ* (X, 15, 1) «Пусть отправятся ближние, от(правятся) дальние, от(правятся) средние отцы, достойные сомы...». В случае же эмфазы наречие-префикс может выступать в виде повтора при одной глагольной форме, например: *sáṃsam íd yuvase vr̥ṣan...* (X, 191, 1) «Вместе собираешь ты, о бык...». Все это свидетельствует о большой употребительности наречий-префиксов в качестве самостоятельных слов.

С рядом ведийских падежей употребляются коротенькие вспомогательные слова — предлоги-послелоги (формально часть их совпадает с приглагольными наречиями-префиксами), например: *dáma ā́* «в доме», *ā́ samudrā́t* «до моря» (ср. *ā́ gahi* «приди!»); *jánāṅ áti* «через людей» (ср. *áti krāmema* «пусть мы перешагнем!») и др. В тексте не всегда бывает ясно, является ли данное слово наречием-префиксом или предлогом-послелогом, например: *táṃ návyasī* ***hr̥dá ā́ jā́yamānam*** | *asmā́t sukīrtír mádhujihvam açyāḥ* (I, 60, 3) «Его, (вновь) рождающегося, из сердца, от нас, пусть достигнет новое восхваление, (его) медовоязычного,...»; *svá ā́ yás túbhyaṃ* ***dáma ā́ vibhā́ti...*** (I, 71, 6) «Кто для тебя в собственном доме пылает...».

В связи с существованием этих двух классов вспомогательных и полусамостоятельных слов вопрос о границах слова, а также о границах между словообразованием и синтаксисом в ведийском языке решается совсем иначе, чем в санскрите. При описании ведийского языка в терминах непосредственно составляющих приходится выделять последовательно два яруса: первый, моделирующий связь словоформы с полусамостоятельным словом (наречием-префиксом или предлогом-послелогом), и второй, моделирующий разные типы сочетаний самостоятельных слов, при этом конструкции первого яруса выступают в качестве единиц в составе конструкций второго яруса.

В пределах первого яруса неполнозначное слово полностью реализует свое лексическое значение лишь в сочетании с одним их полнозначных слов. Степень слияния значений бывает различной: от сохранения двух отдельных лексических значений, из которых одно уточняет другое, до почти полной утраты вспомогательным словом своего лексического значения и приобретения им значения грамматического показателя. Бывает,

что в результате слияния двух лексических значений первого и второго членов конструкции первого яруса возникает новое лексическое значение. Это происходит в ряде случаев при сочетании наречия-префикса с глаголом, например: *dā-* «давать» — *ā́* + *dā-* «брать», *ji-* «побеждать» — *párā*+ *ji-* «проигрывать; терпеть поражение», *vṛ-* «скрывать» — *ápa* + *vṛ-* «раскрывать» и т. д., притом что *ā́*, *párā*, *ápa* функционируют в тексте как отдельные слова.

Конструкции первого яруса весьма разнообразны по своей семантике. Чаще всего они выражают подчинительную связь. Так, разные виды управления выражают конструкции, в состав которых входит предлог/послелог и имя в определенном падеже. Управляемое имя может стоять в вин. падеже, например: *áchā rávam* «на зов», *abhí mitrā́m* «к другу» и др.; в инструм. падеже: *sám páthibhiḥ* «с женами», *úpa* (*mitrásya*) *dhármabhiḥ* «в соответствии с установлениями (Митры)» и др.; в отложит. падеже: *divás pári* «с неба», *ṛté tvā́t* «без тебя» и др.; в местн. падеже: *dáma ā́* «в доме», *suté sácā* «у выжатого [сомы]» и др.

Конструкции, в состав которых входят наречие-префикс и глагол, выражают отношение примыкания, например: *prá asmā́ úpastutim | bháratā yáj jújoṣati|* (VIII, 62, 1) «Принесите же ему восхваление, чтобы он радовался!».

Конструкции первого яруса моделируют также сочинительную связь. Здесь возможны два варианта. Во-первых, эта связь реализуется в виде сочетания двух наречий-префиксов, связанных с одним глаголом, например: ***prá*** *sadyó agne* ***áty*** *eṣy anyā́n...* (III, 1, 9) «Ты, о Агни, тотчас же превосходишь других...». Во-вторых, она реализуется, когда каждый (или один) из этих префиксов-наречий имеет при себе сочинительный союз-частицу *ca*, например: *ápaçyam gopā́m...* ***ā́ ca párā ca*** *pathíbhiç* ***cárantam*** (I, 164, 31) «Я видел пастуха, ...**приходящего** и **уходящего** (своими) путями».

В состав второго яруса, объединяющего собой конструкции полнозначных слов, могут входить конструкции первого яруса в качестве составляющих его членов наряду с членами, состоящими из одного слова. Например, элементарная синтаксическая конструкция: $\text{Nom}_{\text{instr.}}$ + Vb. может реализоваться и как *vardhase girā́* «ты возрастаешь от песни», и как *ā́ gahi sakhébhiḥ* «приди с друзьями!».

В санскрите, где префиксы неразрывно спаяны с соответствующими глагольными корнями и не могут употребляться в качестве самостоятельных наречий, одного уровня, моделирующего все возможные элементарные синтаксические конструкции, оказывается достаточно. В этом заключается важное типологическое отличие ведийского языка от санскрита.

В ведийском языке существует еще один класс коротких полусамостоятельных слов. Это эмфатические частицы, часть которых функционирует также в качестве союзов. Их роль в ведийском синтаксисе чрезвычайно велика, как в мантрах, так и в поздневедийской прозе [12]. Они могут подчеркивать значение отдельного слова или предложения, осуществлять связь между предложениями. Они втягивают в сферу своего влияния застывшие местоименные падежные формы (*īm*, *sīm*, *yad*), союзы, наречия-префиксы. Эти частицы бывают ударными и безударными. Эмфатические частицы (или их цепочки), относящиеся ко всему предложению, тяготеют к началу предложения (первое или второе место в зависимости от ударности/безударности частицы), например: *yác cid dhí vām purá ṛṣayo| juhūré 'vase narā |ā́ yātam açvinā...* (VIII, 8, 6) «Ведь если (или «так как»)

[12] О роли частиц в упанишадах см.: G. Gren-Eklund, A study of nominal sentences in the oldest Upaniṣads, Uppsala, 1978, стр. 98 и сл.

еще раньше риши звали вас двоих на помощь, о мужи, приезжайте, о Ашвины!...»; *ní ṣīm íd átra gúhyā dádhāna | utá kṣatrā́ya ródasī sám añjan* (III, 38, 3) «Тут вот оставляя тайные (следы), они помазали оба мира на власть». Можно сказать, что эти начальные комплексы фразы представляют собой существенную информацию, выведенную синтаксически за скобки. Вся остальная часть фразы — это их грамматическая актуализация. Все это представляет собой изоглоссу, соединяющую ведийский язык, например, с хеттским. Санскрит не разделяет этой черты с ведийским языком.

Существование в ведийском языке многочисленного и функционально важного класса неизменяемых слов моделируется на синтагматической оси иным типом связи, чем изменяемые слова. Следствие этого проявляется в том, что весь объем синтаксических отношений членится по-разному в ведийском языке и в санскрите. Конструкции с неизменяемыми словами моделируются такими типами связи, как примыкание и управление, в результате чего соответственно меняется доля, приходящаяся на согласование. Для санскрита же характерно иное разбиение этого объема, при котором примыканию принадлежит гораздо меньшая часть, чем в ведийском. Это тоже составляет важное типологическое различие общего характера между двумя языками.

Помимо перечисленных выше общих типологических различий между ведийским языком и санскритом, проявляющихся на синтагматической оси, нельзя оставить без внимания и некоторые частности, касающиеся разной функциональной нагрузки отдельных синтаксических конструкций в этих языках.

Известно, что конструкция согласования: $\text{Nom.}_{\text{nominat.}}$ + Part.— могла быть предикативной как в ведийском языке, так и в санскрите. Предикативное употребление причастий засвидетельствовано уже в РВ, например: *gírṇám bhúvanaṃ támasāpagūḷham* (X, 88, 2) «Вселенная была проглочена, сокрыта мраком». В языке мантр, т. е. в наиболее древней части ведийского языка, конструкция с предикативным причастием занимала второстепенное положение. Главным способом выражения предикативности была конструкция согласования: $\text{Nom.}_{\text{nominat.}}$ + $\text{Vb.}_{\text{fin.}}$. С развитием языка соотношение между этими двумя предикативными конструкциями постепенно менялось. В классическом санскрите решительно преобладает именная предикативная конструкция. Кроме того, как известно, в определенном жанре текстов, в научной литературе, выработался так называемый именной стиль, в котором предикативное употребление причастий стало нормой [13].

Другой пример. Конструкция с абсолютивом, выражавшим побочное действие, употреблялась и в ведийском, и в санскрите. В РВ эти конструкции встречаются, но они употребляются сравнительно редко, например: *asyá pītvā́ çatakrato | ghanó vṛtrā́ṇām abhavaḥ* (I, 4, 8) «Напившись его, о стоумный, ты стал сокрушителем врагов». Абсолютивные конструкции реализуют отношение примыкания. Гораздо более употребительны в РВ для передачи того же значения непредикативные конструкции согласования имени с причастием, например: *ní māyíno dānavásya māyā́ | ápādayat papivā́n sutásya* (II, 11, 10) «Он поверг ниц колдовские чары колдовского данавы, напившись (букв. «напившийся») сомы». Причастные конструкции согласования выходят из употребления в санскрите в этой функции. Конструкции с абсолютивом, наоборот, широко распространяются, и абсолютивы становятся обязательной «неконечной» формой глагола.

---

[13] См. классическую работу на эту тему: J. B l o c h, La phrase nominale en sanskrit, MSLP, 14, 1906—1908, стр. 27—96.

Иными словами, из нескольких действий в прошедшем времени только последнее обычно выражается в санскрите личной формой глагола, а все остальные представлены деепричастиями. Эта конструкция распространилась в санскрите под влиянием контакта с дравидийскими языками. Так, отношение примыкания вновь завоевывает в санскрите утраченные было позиции, но конструкции, в которых реализуется это отношение, в значительной степени иные, чем в ведийском языке.

Приведенные факты свидетельствуют о том, что использование синтагматических параметров на всех уровнях описания языка: в фонологии, морфологии и синтаксисе — оказывается более эффективным при типологической характеристике близкородственных языков, чем применение парадигматических параметров. Именно с помощью этого критерия удается выявить весьма существенные различия между ведийским языком и санскритом, принадлежащих к одному флективному типу, но представляющих разные его вариации.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1980

ЧЕРКАСОВ Л. Н.

О КЛАССИФИКАЦИИ СОГЛАСНЫХ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА ПО СПОСОБУ ОБРАЗОВАНИЯ

Известно, что существует целый ряд классификаций согласных фонем по способу образования, что различные исследователи, исходя из одного и того же основания для деления, приходят не к одному, как это можно было бы предположить, а к нескольким, иногда конфликтующим классификационным решениям. Объяснение этого факта, очевидно, лежит в варьировании интерпретации понятия «способ образования согласных», которое, вероятно, настолько широко, что включает в себя несколько аспектов, и при классификации согласных лингвисты распределяют свое внимание между ними в разной степени: одни из них не придают должного значения тем аспектам, которые считаются важными у других.

В настоящей статье мы хотели бы провести логический анализ наиболее распространенных классификаций согласных, рассмотреть понятие «способ образования согласных» с точки зрения функциональной нагрузки различных типов преграды и предложить такую классификацию согласных современного русского литературного языка, которая могла бы быть приемлемой для лингвистов, стоящих на различных классификационных позициях.

Очевидно, такая классификация, будучи логической операцией деления данного множества предметов на подмножества, должна проводиться в строгом соответствии со следующими установленными формально-логическими правилами деления объема понятия: 1) в одной и той же классификации необходимо применять одно и то же основание; 2) объем членов классификации должен равняться объему классифицируемого класса; 3) члены деления должны взаимно исключать друг друга; 4) подразделение на классы должно быть непрерывным [1].

Это значит, что классы и подклассы согласных должны быть выделены на основании одного и того же признака; при установлении подклассов класса согласных нельзя опускать ни один из подклассов; члены деления должны быть несовместимыми понятиями, и один и тот же согласный не может быть отнесен к нескольким однорядным классам и подклассам, а последние не должны пересекаться; деление на подклассы должно быть соподчиненным, то есть необходимо брать ближайший подкласс, а не перескакивать через него.

Такова логическая обоснованность процедуры деления, которая, однако, в лингвистических классификациях в ряде случаев не соблюдается [2]. Особенно показательны в этом отношении классификации согласных у зарубежных авторов. Например, Д. Джоунз предлагает следующие классы звуков, выделенные им на основе очень широко понимаемого способа образования: 1) взрывные, 2) аффрикаты, 3) носовые, 4) латеральные,

---

[1] Н. И. Кондаков, Логический словарь-справочник, 2-е изд., М., 1976, стр. 248 и 464.

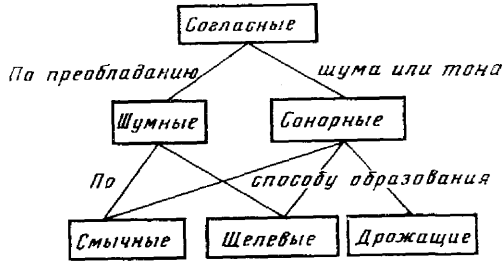
[2] В. И. Кодухов, Общее языкознание, М., 1974, стр. 233.

5) фрикативные и 6) полугласные [3]. Такая же примерно классификация встречается и у многих других иностранных лингвистов [4].

Нетрудно заметить, что в указанной классификации согласных некоторые из вышеприведенных формально-логических правил не соблюдены. Это относится, прежде всего, к правилу единого основания: класс взрывных выделен, очевидно, по резкому и мгновенному способу размыкания смычки; носовые и латеральные определены по местоположению воздушного канала, а аффрикаты и фрикативные — по наличию шума трения (фрикации), производимого воздухом в месте образования звука. Полугласные получили свое название, как указывает Д. Джоунз, по трем признакам: по скользящей природе, краткости и неударности [5]. Не выдержано также второе правило, поскольку приводится класс носовых, но не обозначается класс ротовых, есть класс латеральных, но отсутствует класс срединных. Оставлено без внимания четвертое правило: латеральные и носовые, очевидно, составляют подкласс, а не класс. Таким образом, анализируемая классификация, как и другие подобные классификации зарубежных авторов, далеко не безупречна с формально-логической точки зрения [6].

Неудивительно, что многие фонетисты, и прежде всего советские, предлагают свои, логически более приемлемые классификации. Рассмотрим в этом плане наиболее типичные классификации согласных фонем, имеющиеся в нашей лингвистической литературе. Их две. Согласно одной из них, продолжающей традицию Л. В. Щербы [7], все согласные делятся на классы шумных и сонорных на основе преобладания шума или голоса (акустическое основание деления). По способу образования (артикуляторное основание деления) выделены классы смычных, щелевых и дрожащих [8]. Против такого деления возражать нельзя, поскольку оно удовлетворяет формально-логическим требованиям, но совместить эти классы, полученные на основе акустического и артикуляторного признаков, в одной классификации не удается. Для наглядности изобразим классификацию в виде генеалогического древа, в котором принцип соподчиненности выделяется особенно легко (см. схему 1).

Схема 1



[3] D. Jones, An outline of English phonetics, 9-th ed., Cambridge, 1960, стр. XVII.

[4] См., например: D. Beach, The phonetics of Hottentot language, Cambridge, 1938, стр. 53; O. von Essen, Allgemeine und angewandte Phonetik, Berlin, 1966, стр. 98; A. Gimson, An introduction to the pronunciation of English, London, 1962, стр. 30—31.

[5] D. Jones, указ. соч., стр. 25.

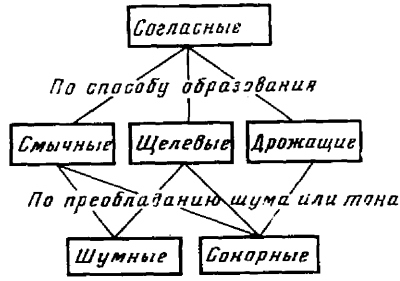
[6] Более детальный критический анализ зарубежных классификаций согласных, приведенный на другой основе, см.: V. A. Vassilyev, English phonetics. A theoretical course, M., 1970, стр. 107—112.

[7] Л. В. Щерба, Фонетика французского языка, 6-е изд., М., 1957, стр. 305.

[8] См.: Л. Р. Зиндер, Общая фонетика, Л., 1960, стр. 150; М. И. Матусевич, Введение в общую фонетику, 2-е изд., Л., 1948, стр. 41; ее же, Современный

«Древа», как видно из схемы, не получилось, так как некоторые из его «ветвей» не расходятся, а перекрещиваются (шумные щелевые с сонорными щелевыми и шумные смычные с сонорными смычными). Если построить генеалогическое древо иначе, с учетом зависимости звучания согласных от их артикуляции, поставив на первое место классификацию по способу образования, то и в этом случае возникает недопустимое перекрещивание «ветвей», что свидетельствует об отсутствии соподчинения между артикуляторными классами смычных и щелевых, с одной стороны, и акустическими классами шумных и сонорных, с другой (см. схему 2).

Схема 2



Отсутствие соподчиненности между указанными классами противоречит одному из фундаментальных положений фонетики о зависимости звучания от артикуляции, поэтому анализируемая классификация с фонетической точки зрения не может быть названа вполне последовательной. Другим ее слабым местом является отсутствие общего основания при делении смычных на подклассы взрывных, аффрикат и носовых, поскольку термин «взрывной» отражает внезапное разрушение преграды, «аффриката» — наличие фрикативного шума, а «носовой» показывает место, где образуется звук. Вопреки правилам логики, при делении класса смычных на подклассы применены три различных основания деления.

В свете этих критических замечаний становится понятно, почему по другой классификации, предложенной в работе Р. И. Аванесова и В. Н. Сидорова [9], сонанты [м], [м'], [н], [н'], [л], [л'] выделены в четвертый, самостоятельный класс смычно-проходных согласных [10]. Данное изменение, на наш взгляд, вполне оправдано не только известной акустической общностью этих звуков (их сонорностью), но и более последовательным соблюдением логических правил деления объема понятия. Нам особенно хотелось бы подчеркнуть тот факт, что в этой классификации почти все сонанты объединены в самостоятельные артикуляторные классы смычно-проходных и дрожащих согласных, отражая таким образом зависимость звучания от артикуляции.

Однако полного артикуляторно-акустического соподчинения не удалось добиться и здесь, так как [j] рассматривается как щелевой. Есть и еще одна черта, вызывающая возражение некоторых фонетистов: вклю-

---

русский язык. Фонетика, М., 1976, стр. 162; Л. Л. Буланин, Фонетика современного русского языка, М., 1970, стр. 53.

[9] Р. И. Аванесов, В. Н. Сидоров, Очерк грамматики русского литературного языка, I — Фонетика и морфология, М., 1945, стр. 29.

[10] См. также: Р. И. Аванесов, Русское литературное произношение, 5-е изд., М., 1972, стр. 37; А. В. Дудников, Русский язык, М., 1974, стр. 79; Б. Н. Головин, Введение в языкознание, 2-е изд., М., 1973, стр. 53; А. И. Моисеев, Русский язык. Фонетика. Морфология. Орфография, М., 1975, стр. 57; О. А. Норк, Н. Ф. Адамова, Фонетика современного немецкого языка. Нормативный курс, М., 1976, стр. 52; Р. Н. Попов и др., Современный русский язык, М., 1978, стр. 21.

чение [л], [л'] в класс смычно-проходных согласных. Например, М. И. Матусевич так аргументирует свое несогласие с подобной трактовкой [л], [л']: «Это неправильно по следующим соображениям: во-первых, с точки зрения артикуляционной, органы речи, для того чтобы образовать щель, должны где-либо сделать смычку; например, при артикуляции звука *s* смычка делается по бокам, а щель посередине, при артикуляции же звука *l*, наоборот, смычка делается посередине, а щели по бокам. С таким же успехом и звук *s*, так же как и все остальные щелевые, мог бы быть назван смычно-проходным» [11].

Сам по себе аргумент М. И. Матусевич не лишен логичности, но, тем не менее, мы интуитивно не принимаем во внимание полные боковые преграды у щелевых и в то же время учитываем щелевые преграды у [л], [л'], расположенные в том же месте. Поэтому возникает вопрос: не лежит ли в основе нашего выбора подсознательное чувство функциональной неравнозначности анализируемых преград? По-видимому, функциональная классификация артикуляторных преград — это тот путь, который может привести нас к наиболее логичной и непротиворечивой артикуляторной классификации согласных. В самом деле, определяющим признаком всех согласных является создаваемая на пути воздушного потока соответствующая преграда. Следовательно, классификация согласных должна основываться прежде всего на типах артикуляторных преград. Задача заключается в том, чтобы произвести классификацию самих преград, определить их типы.

Традиционно преграды подразделяются на полные и частичные. Если при артикуляции согласного образуется частичная преграда, то он относится к щелевым; если же возникает полная преграда, то звук причисляется к смычным. На этом хрестоматийном факте не следовало бы, вероятно, останавливаться — так он очевиден и, главное, привычен,— если бы не одно обстоятельство: полная преграда не является источником шума и не может быть, следовательно, положена в основу классификации согласных. Она — «немая» и влияет на шум лишь опосредствованно, поэтому на данном этапе классификации мы исключим ее из рассмотрения. Анализироваться будут лишь неполные преграды, например, щели (узкие и широкие), а также те преграды, которые существуют очень непродолжительное время после размыкания смычки. Поскольку большинство согласных — звуки шумные, и шум не исключается даже при произнесении сонантов, то мы назовем такие преграды шумообразующими.

До сих пор в фонетике не существовало, как нам кажется, особого понятия «шумообразующая преграда», поэтому не имеется специального термина для обозначения данного вида преграды. В советском языкознании есть понятия «полная преграда» и «неполная преграда», а в зарубежной лингвистике (особенно американской) употребляется еще и термин «стриктура» [12]. У некоторых авторов под стриктурой понимается сужение воздушного потока, у других стриктурой называется любая преграда, в том числе и полная [13]. Пользуясь тем, что в нашей литературе этого термина практически не существует, а в зарубежной он, по сути дела, избыточный, мы будем называть шумообразующую преграду с т р и к т у р о й.

---

[11] М. И. М а т у с е в и ч, Введение в общую фонетику, 3-е изд., М., 1959, стр. 50.

[12] Стриктура — от лат. *strictura* «сужение».

[13] См., например: L. B r o s n a h a n, B. M a l m b e r g, Introduction to phonetics, Cambridge, 1970, стр. 77; E. P i k e, Phonetic rank and subordination in consonant patterning and historical change, «Miscellanea Phonetica», London, 1954, стр. 26—27; K. P i k e, Phonetics. A critical analysis of phonetic theory and a technique for the practical description of sounds, Ann Arbor, 1958, стр. 120; E. P u l g r a m, Introduction to the spectrography of speech, 's-Gravenhage, 1959, стр. 158.

Помимо указанного термина, при анализе стриктур будут употребляться еще два: боковой язычный артикулятор и осевой язычный артикулятор. Под артикулятором мы понимаем минимальную часть механизма артикуляции, способную производить самостоятельные, независимые движения для образования определенной преграды. В языке, основном органе артикуляции, можно выделить несколько более или менее независимых частей, несколько артикуляторов, но нас будут интересовать лишь три продольные части: одна осевая и две боковые — которые впредь будут именоваться осевым и боковыми язычными артикуляторами (для краткости определение «язычный» может опускаться). То, что они являются артикуляторами, то есть в состоянии совершать самостоятельные, независимые движения, видно на примере артикуляции [с] и [л]. При произнесении [с] боковые артикуляторы осуществляют смычку, а осевой формирует необходимую щель; при артикуляции [л] все происходит наоборот: осевой артикулятор образует смычку, а боковые — неполную преграду.

Рассмотрим типы стриктур, образующихся при произнесении смычных взрывных, смычных аффрицированных, аффрикат и щелевых. Поскольку кинестетические ощущения не являются достаточно доказательными, сошлемся на многочисленные осциллограммы динамической палатографии, помещенные в книге «Речь. Артикуляция и восприятие» [14].

Как явствует из упомянутых осциллограмм, при образовании [т] осевой и боковые артикуляторы языка начинают отход от места смыкания быстро и синхронно, а сама стриктура, постепенно увеличиваясь, через мгновение прекращает свое существование. Шумовая часть (взрыв) [т] очень краткая и на динамических спектрограммах изображается в виде вертикальной последовательности точек. Мгновенное появление и исчезновение стриктуры, образующейся в результате резкого и синхронного отвода язычных артикуляторов от места полной преграды, дает право определить ее как взрывную. Термин этот существует в литературе давно, и здесь мы лишь уточняем его артикуляторную сущность.

Из тех же осциллограмм динамической палатографии следует, что тип стриктуры у аффрицированного [т'] и аффрикаты [ц] одинаковый, а именно, шумообразующая преграда появляется в результате последовательного отхода осевого и боковых артикуляторов языка от места смыкания. Сначала движение начинает осевой артикулятор, а затем к нему присоединяются и боковые. Этот факт полностью подтверждается и нашими динамическими спектрограммами. Они показывают, что шумовая часть у [т'] и [ц] состоит из двух фрикаций ($Ф_1$ и $Ф_2$), первая из которых выше по частоте, чем вторая. $Ф_1$ образуется в результате отхода осевого артикулятора от места смыкания, когда узкая стриктура порождает звук высокой частоты. $Ф_2$ образована в результате общего движения осевого и боковых артикуляторов, когда стриктура заметно расширилась и частота шума снизилась.

Отличительной особенностью данной стриктуры является ее непрерывное изменение, что вытекает из примерно равной длительности $Ф_1$ и $Ф_2$. Если осевой артикулятор остановится, то между $Ф_1$ и $Ф_2$ образуется узкая стабильная стриктура, характерная для щелевого, и вместо аффрикаты [ц] появится сочетание [тс] [15].

---

[14] Л. А. Чистович, В. А. Кожевников и др., Речь. Артикуляция и восприятие, М.— Л., 1965, стр. 35, 44, 65—73.

[15] Л. Н. Черкасов, Экспериментально-фонетическое исследование английских аффрикат и аффрицированных переднеязычных смычных (в сопоставлении с русскими). АКД, М., 1977.

Таким образом, анализ динамических осциллограмм и спектрограмм показывает, что стриктура аффрицированных смычных и аффрикат образуется в результате непрерывного и последовательного движения артикуляторов, которое распространяется от осевой части языка к его краям. Происходит как бы скользящее движение языка, которое подметила М. Длуская [16]. Учитывая указанную особенность аффрикат и аффрицированных смычных, мы назвали их стриктуру скользящей.

Если при образовании согласных шумообразующей преградой является щель, то такую стриктуру правомерно назвать щелевой. Щель мы определяем как узкое отверстие, и щелевая стриктура, следовательно, всегда узкая. Когда при артикуляции согласных формируется более широкая стриктура (например, как при произнесении сонанта [j]), то уровень шума резко снижается и образуются сонорные согласные. Вполне очевидно, что в данном случае возникает не щелевой тип стриктуры, который порождает фрикативные согласные, а какой-то другой тип, ведущий к возникновению сонорных согласных. Достаточно беглого взгляда на палатограммы [c] и [j], чтобы определить большую разницу в размере их стриктур. Если стриктура [c] выглядит как узкая щель, то стриктуру [j] можно рассматривать как довольно широкий проток [17]. Поэтому мы нашли нужным выделить еще один тип стриктуры — проточный, который ведет к образованию сонорных согласных и отличается от щелевого типа более широким воздушным трактом.

И, наконец, последний тип стриктуры — традиционный — это дрожащая стриктура, характерная для артикуляции русских [р], [р'].

Итак, было выделено пять стриктур: взрывная, скользящая, щелевая, проточная и дрожащая. Взрывная и скользящая стриктуры являются предельными, их нельзя тянуть, приостановив на какое-то время процесс их расширения, поскольку непрерывное расширение как раз и является их отличительной чертой. Их искусственное продление приводит к искажению звучания, к появлению дополнительного согласного. Различие между указанными стриктурами состоит в том, что взрывная стриктура образуется в результате мгновенного и синхронного отхода язычных артикуляторов от места смыкания, а скользящая порождается последовательным, асинхронным движением осевого и боковых язычных артикуляторов, в результате чего скользящая стриктура не расширяется так стремительно, как взрывная, а существует более продолжительное время. Щелевая, проточная и дрожащая стриктуры непредельные и длительные, их можно искусственно продлить, не искажая при этом звукового облика согласного. Различие между ними состоит в том, что щелевая стриктура более узкая по сравнению с проточной, и обе характеризуются постоянной открытостью по сравнению с дрожащей.

Теперь, после определения понятия «стриктура», мы вплотную подошли к определению способа образования, к которому стриктура имеет самое непосредственное отношение, так как способ образования чаще всего трактуется как характер воздушного прохода [18]. Очевидно, стриктура не может отразить его полностью, ибо она не охватывает те случаи, когда воздушный канал закрыт. Следовательно, при определении способа образования, кроме стриктуры, следует учитывать еще и тип воздушного канала. Последний, как известно, может быть перекрытым, если в нем

---

[16] M. Dłuska, Fonetyka polska, I, Kraków, 1950, стр. 94—103.

[17] См., например, палатограммы: Р. И. Аванесов, Фонетика современного русского литературного языка, М., 1956, стр. 153 и 156.

[18] См.: О. С. Ахманова, Словарь лингвистических терминов, М., 1966, стр. 449; А. А. Реформатский, Введение в языковедение, 4-е изд., М., 1967, стр. 170.

образуется полная преграда, приостанавливающая движение воздушного потока, или открытым, если воздух проходит по каналу свободно. В некоторых языках (в том числе и в русском) существует еще и третий тип воздушного прохода, который характеризуется быстрым чередованием открытости и закрытости. Его, вероятно, можно назвать перекрыто-открытым.

По типу воздушного прохода согласные подразделяются на следующие классы: прерванные (при перекрытом проходе), непрерванные (при открытом проходе) и прерванно-непрерванные (при перекрыто-открытом проходе). Данные термины рассматриваются как артикуляторные, хотя и заимствованы из акустической классификации звуков [19].

По типу стриктуры класс прерванных распадается на два подкласса: на взрывные [п], [п'], [б], [б'], [т], [д], [к], [к'], [г], [г'] (при взрывной стриктуре) и скользящие [т'], [д'], [ц], [ч'] (при скользящей стриктуре). Класс непрерванных по тому же принципу подразделяется на подкласс щелевых [ф], [ф'], [в], [в'], [с], [с'], [з], [з'], [ш], [ш:'], [ж], [ж:'], [х], [х'] (при щелевой стриктуре) и подкласс проточных [j], [л], [л'], [м], [м'], [н], [н'] (при проточной стриктуре). Класс прерванно-непрерванных представлен дрожащими [р], [р'], названными так по типу дрожащей стриктуры.

Таким образом, становится ясно, что способ образования согласных не есть нечто целое и единое; это не один принцип классификации, а два совершенно самостоятельных основания для сравнения, которые, очевидно, и следует использовать при делении согласных взамен традиционного способа образования. Существующие определения способа образования не исключают возможности трактовать характер воздушного протока с некоторой произвольностью. В качестве примера можно привести носовые сонорные [м] и [н], которые одни фонетисты относят к классу смычных, а другие — к классу смычно-проходных, что обусловлено различной интерпретацией характера воздушного прохода. Как известно, у согласных он может быть двух типов: суженный и сомкнутый. Какой из них образуется при произнесении носовых? Обычно считается, что сомкнутый, поэтому упомянутые согласные относятся к классу смычных. Однако сейчас, очевидно, наметилась твердая тенденция рассматривать проход, с одной стороны, сомкнутым, а с другой — суженным и трактовать [м], [н] как смычно-проходные. Какой подход правильный? Ответ, вероятно, зависит от того, как понимать термин «сомкнутый проход». Ясно, что для того, чтобы перекрыть воздушный канал, надо где-то образовать полные преграды. Но при их рассмотрении следует иметь в виду, что они могут быть двух типов: направляющими и престриктурными. При произнесении непрерванных щелевых полные преграды закрывают воздушный проход в тех местах, где не должно быть стриктуры, играя вспомогательную роль в образовании звуков. Это — направляющие преграды. При артикуляции прерванных взрывных и скользящих образуется сразу несколько полных преград, одна из которых преграждает путь воздуху в месте будущей стриктуры. Это — престриктурная преграда. Другие направляют воздушный поток через образующуюся затем стриктуру и играют ту же вспомогательную роль, что и полные преграды щелевых. Они являются, следовательно, направляющими преградами. При произнесении [с], как заметила М. И. Матусевич, по краям языка образуются полные преграды [20], однако в нашей классификации они не учиты-

---

[19] См.: Р. Якобсон, Г. Фант, М. Халле, Введение в анализ речи, в сб.: «Новое в лингвистике», II, М., 1962, стр. 181.

[20] См.: М. И. Матусевич, Введение в общую фонетику, 3-е изд., стр. 50.

Таблица

Артикуляционная классификация русских согласных фонем

Тип воздушного прохода	Тип стриктуры	Активные органы				Преобладание голоса или шума
		Губные	Передне-язычные	Средне-язычные	Задне-язычные	
Прерванные	Взрывные	п п' б б'	т д		к к' г г'	Шумные
	Скользящие		т' ц ч' д'			
Непрерванные	Щелевые	ф ф' в в'	с с' ш з з' ж		х х'	
	Проточные	м м'	н н' л л'	j		Сонорные
Прерванно-непрерванные	Дрожащие		р р'			

ваются, поскольку выполняют в основном направляющие функции. При артикуляции [л] полная преграда, образованная передней частью языка, тоже в основном является направляющей и в расчет не принимается. При определении типа воздушного канала у упомянутых звуков определяющим является отсутствие престриктурных преград, что дает основание причислить их к одному и тому же классу непрерванных согласных. Все носовые также непрерванные, поскольку у них нет полной престриктурной преграды, а имеющиеся полные ротовые преграды в основном выступают как направляющие. (Для удобства классификации мы принимаем во внимание лишь основную функцию преград. В некоторых случаях полные преграды, образующиеся при артикуляции носовых и латеральных, выполняют направляюще-престриктурную функцию, а сами сонанты являются сонорно-взрывными, но этот факт в фонетике для простоты описания не учитывается.)

Разделение полных преград по функциональному признаку на две группы позволяет отказаться от интуитивного подхода к их учету при классификации согласных, ибо становится очевидным, что здесь направляющие преграды не играют основной роли и учету подлежат лишь престриктурные преграды, так как именно их присутствие или отсутствие позволяет определить тип воздушного канала, образующегося при артикуляции согласного.

В свете изложенного нам кажется более целесообразным использовать при классификации согласных в качестве оснований деления тип воздушного прохода и тип стриктуры, а от термина «способ образования» отказаться вообще. В результате получим следующую упрощенную таблицу классификации согласных фонем современного русского литературного языка (см. табл.).

Предложенная таблица преследует одну ограниченную цель: наглядно показать читателю возможность подразделять согласные по типу воздушного прохода и стриктуры, поэтому в ней нет деления скользящих на аффрикаты и аффрицированные прерванные, щелевых — на свистящие и шипящие и т. п. При желании, очевидно, можно ввести и более мелкие группы по месту стриктуры (носовые, срединные и боковые проточные), по работе голосовых связок (звонкие и глухие) и по другим признакам.

Мы не проводили специального исследования типа стриктур у прерванных губных и заднеязычных согласных, поэтому не считаем себя вправе отойти от традиционного их толкования как взрывных.

Предложенная классификация является артикуляторной, но она дополняется ограниченной акустической классификацией по соотношению у согласных шума и голоса. При этом взрывные, скользящие и щелевые относятся к шумным, а проточные и дрожащие — к сонорным согласным. Эти две характеристики — артикуляторная и акустическая, не пересекаясь, взаимно дополняют и обогащают друг друга, и это позволяет нам заключить, что данная классификация отражает непосредственную зависимость звучания от артикуляции, точнее, чем традиционная.

Помимо этого, классификация по стриктурному принципу значительно упрощает теорию аффрикат, относительно природы которых существует множество самых различных и нередко противоречивых мнений. Порождено это, на наш взгляд, в большой степени существующими классификациями, в которых согласные делятся на смычные и щелевые, а для аффрикат как самостоятельных звуков не находится подобающего места. В самом деле, смычные потому и получили свое название, что обладают смычкой; щелевые названы по образующейся при их артикуляции щели, а аффрикаты, казалось бы, обладают и смычкой, и щелью и могут быть, следовательно, отнесены и к смычным, и к щелевым или могут занимать самостоятельное промежуточное между смычными и щелевыми положение. Данное рассуждение возникает лишь в том случае, если под щелью понимать любую неполную преграду, но если подходить к определению щели более точно, то окажется, что щель — это узкое отверстие, то есть вполне измеримая величина, а скользящая стриктура аффрикат, которая непрерывно расширяется, не может быть измерена. Собственно говоря, в любой данный момент ее измерить можно, но это будет своего рода моментальный снимок динамического процесса, ни в коей мере не характеризующий скользящую стриктуру в целом. К тому же следует помнить, что скользящей стриктурой обладают не только аффрикаты, но и аффрицированные язычные смычные (аффрицированные прерванные — в терминах нашей классификации), которые совершенно обоснованно никогда не рассматривались как сумма смычки и щели. И аффрикаты, и аффрицированные прерванные обладают одной и той же скользящей стриктурой [21], поэтому их, очевидно, вполне правомерно выделить в один и тот же подкласс скользящих, памятуя при этом, что различие между ними состоит прежде всего в месте образования, аффрицированные прерванные образуются там же, где и прерванные взрывные, а аффрикаты артикулируются в том же месте, где и непрерванные фрикативные.

Классификация, отражая существенные произносительные признаки согласных, наглядно показывает, что язычные взрывные, аффрицированные смычные и аффрикаты обладают принципиально одинаковой произносительной моделью: смычка + соответствующая предельная стриктура. Различие между указанными согласными состоит лишь в типе стриктуры. У взрывных она появляется в результате синхронного (и, следовательно, мгновенного) отхода от места смыкания всех трех язычных артикуляторов, а у скользящих (аффрикат и аффрицированных смычных) стриктура образуется в результате последовательного (и, следовательно, замедленного) отхода язычных артикуляторов, что создает кинестетическое ощущение

[21] Полное сходство конечного [т'] с аффрикатой подмечено Л. В. Златоустовой; см.: Л. В. Златоустова. Фонетическая структура слова в потоке речи, Казань, 1962, стр. 61. Однако динамическая палатография показывает, что скользящая стриктура присуща [т'] и [д'] во всех позициях; см. осциллограммы: Л. А. Чистович и др., указ. соч., стр. 35, 44, 65—73.

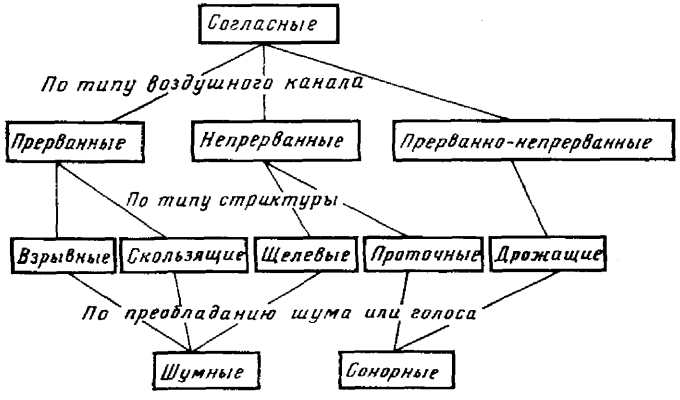
сложности артикуляции. По этой причине аффрикаты и аффрицированные смычные следует, очевидно, считать сложными звуками.

Таким образом, изложенное понятие стриктуры дает возможность переосмыслить традиционную классификацию согласных фонем и предложить такую классификацию, в которую закономерно «вписываются» даже такие, казалось бы, противоречивые звуки, как аффрикаты.

Нам представляется необходимым подчеркнуть, что при классификации согласных по типу стриктуры учитывается лишь основная стриктура согласного, которая соответствует основному артикуляторному фокусу данного звука. Так, у твердых не принимается во внимание дополнительная заднеязычная стриктура, у мягких — дополнительная переднеязычная стриктура и т. п. У носовых и латеральных сонантов в некоторых позициях может появиться дополнительная взрывная стриктура, как, например, у [м] в слове *мама*. Естественно, что при классификации этих согласных берется во внимание основная, проточная стриктура, без которой невозможно произнесение сонанта, а дополнительная, позиционно обусловленная взрывная стриктура не учитывается.

В заключение проведем проверку классификации «на логичность». Это удобнее всего сделать, представив ее в виде генеалогического древа (см. схему 3).

Схема 3



Рассмотрение древа приводит к выводу, что каждое подразделение на классы имеет общее основание, объем членов классификации равняется объему классифицируемого класса, члены классификации взаимно исключают друг друга, а подразделение на подклассы непрерывное (сначала проведено деление на более крупные классы, а затем и на более мелкие подклассы) и соподчиненное (нет перекрещивающихся понятий и повторяющихся в разных классах подклассов). Древо заканчивается акустической классификацией по соотношению шума и голоса на предмет проверки артикуляторно-акустической соотнесенности. Как известно, первые две схемы не выдержали такой проверки. Данная схема эту соотнесенность подтверждает. Из всего этого можно, очевидно, заключить, что предложенная классификация построена в соответствии с правилами логики и может быть использована при анализе согласных фонем.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1980

ПУМПЯНСКИЙ А. Л.

К ВОПРОСУ О МАТЕРИАЛЬНОЙ СТОРОНЕ ЯЗЫКА

Успешное сочетание математики и электроники привело к появлению новой науки — кибернетики, к созданию электронных вычислительных машин, знаменующих новую эру в научно-технической революции. Первоначально ЭВМ были рассчитаны на выполнение сложных числовых расчетов; их применение и непрерывное совершенствование в большой мере способствовало научно-техническому прогрессу. Впоследствии начались работы по машинному переводу (МП) с одного языка на другой [1]. Потребовалась кибернетическая формализация различных языковых явлений для нужд ЭВМ, создание «искусственных языков» и формализация мыслительных процессов («искусственный мозг», «электронный мозг»). «К сожалению,— отмечает Р. А. Будагов,— в последние годы некоторые авторы стали писать о „языке машины" и даже об „интеллекте машины" без кавычек, обнаруживая тем самым непонимание принципиального (качественного) отличия интеллекта и языка человека от всевозможных искусственно создаваемых для определенных целей сигнальных систем» [2]. Иллюстрацией такого непонимания служит следующее типичное высказывание кибернетиков. «Во многих работах кибернетиков, лингвистов и философов исследуется вопрос о соотношении языка человека и языка машины. При этом ведутся споры о том, что такое смысл и значение знака, могут ли ЭВМ образовывать понятия, можно ли по формальным законам решать творческие задачи» [3]. Подобное стремление кибернетиков подчинить себе другие науки уже давно осудил академик П. Н. Федосеев, писавший: «Надо отвергнуть претензии тех, кто в блестящих достижениях кибернетики видит основание для мнения, что будто бы кибернетика подменяет все другие науки, решает вопросы и за социологию, и за биологию, и за химию» [4]. Проделав огромную работу по созданию МП, кибернетики не смогли оправдать возложенных на них надежд и получить широко разрекламированные ими результаты. Полноценный МП научных и технических текстов оказался утопией [5]. Несмотря на это, проделанная работа не прошла даром и обогатила общее языкознание. Линг-

---

[1] См.: А. М. Эндрю, Мозг и вычислительная машина, М., 1967, стр. 36.

[2] Р. А. Будагов, Человек и его язык, М., 1974, стр. 257.

[3] Э. И. Бухалева, Моделирование смысла термина информационно-поискового языка, М., 1978, стр. 12. См. также: А. Н. Тихонов, Математика в нашей жизни, «Комсомольская правда», 12 IX 1979, стр. 3.

[4] П. Н. Федосеев, Философия и современное научное знание, ВФ, 1961, 7, стр. 19.

[5] Из числа последних работ по этому вопросу см.: Ю. В. Орфеев, В. С. Тюхтин, Мышление человека и «искусственный интеллект», § 2. Кризис автоматизированного перевода, М., 1978, стр. 122—127; Г. П. Мельников, Системология и языковые аспекты кибернетики, М., 1978, стр. 318—320. Из более ранних работ см.: А. Л. Пумпянский, Информационная роль порядка слов в научной и технической литературе, М., 1974, стр. 7—8; И. Бар-Хиллел, Будущее машинного перевода (Почему машины не научатся переводить?), ВЯ, 1969, 4; М. Таубе, Вычислительные машины и здравый смысл, М., 1964.

висты получили еще одно фактическое подтверждение закона многозначности языковых явлений [6]. Именно категория языковой многозначности позволяет человеку использовать ограниченное количество языковых средств для выражения неограниченного количества значений (смыслов) и сообщать и понимать не только известные, но и неизвестные, «незапрограммированные» мысли. Многозначность лежит в основе совершенствования языка и не мешает, а помогает общению людей, поскольку естественный человеческий мозг обладает уникальной способностью выбирать из многозначности тот однозначный вариант языковой единицы, который ему необходим в процессе общения. Способный к многозначному восприятию языковых единиц мозг человека является носителем как бы гигантской «ЭВМ», несоизмеримой по своему качеству и количественным масштабам со всеми имеющимися в мире ЭВМ и, по-видимому, со всеми ЭВМ будущих «поколений». Лингвисты получили реальное подтверждение тому бесспорному для них положению [7], что ни одна ЭВМ, построенная на принципе двоичных сигналов (кодов) и использующая примитивный двузначный и «искусственный» мозг [8], не в состоянии справиться со сложной многозначностью естественных языков. Этот лингвистически непреложный факт признал в своей книге сам основоположник кибернетики Н. Винер. Не отказавшись от своего убеждения, что теоретически язык можно формализовать так, чтобы обеспечить МП, он заявил, что из-за низкого уровня языкознания осуществление безошибочного МП невозможно. Необходимо подключить к МП человека и изучать их взаимную реакцию на перевод [9]. Поэтому сейчас как в США, так и у нас предпринимаются попытки создать неполноценный машинный «перевод», используя большие машинные словари и сравнительно простые алгоритмы. Полученные таким путем тексты затем осмысляются человеком — квалифицированными переводчиками, осуществляющими постредактирование. Практически ценность этой работы более чем сомнительна, но она предпринимается в первую очередь с новой целью — а именно, для усовершенствования, отработки электронно-вычислительной техники. В частности, эта работа позволила сформулировать новые требования к конструкции ЭВМ следующих «поколений» с учетом переработки информации человеком [10]. Что же касается качества неосмысленных текстов до «постредактирования», то они содержат неупорядоченную информацию об основной тематической направленности текстов, которую обеспечивают машинные словари (тезаурусы). Используя те же средства в качестве быстродействующего механического информатора, значительно более упорядоченную и качественную информацию о тематической направленности текстов удается обеспечить

---

[6] Р. А. Будагов, Человек и его язык, стр. 117—129.

[7] См., например: Л. С. Бархударов, Г. В. Колшанский, К вопросу о возможности машинного перевода, ВЯ, 1958, 1, стр. 131.

[8] Знаменательно, что принцип двузначности ЭВМ срабатывает уже на уровне амебы, обладающей способностью различения «я» — «не-я» (см.: Г. И. Мельников, указ. соч., стр. 19).

[9] Н. Винер, Творец и робот. Обсуждение некоторых проблем, в которых кибернетика сталкивается с религией, М., 1966, стр. 88. Отметим несоответствие русского названия этой работы английскому: God and Golem. Inc. A comment on certain points where cybernetics impinges on religion, Cambridge (Mass.), [1964]. В религиозно-мистическом представлении Н. Винера прототипом современной ЭВМ служит глиняный человек — Голем, ставший настоящим человеком, живым, одухотворенным существом благодаря сверхъестественной власти магических заклинаний (стр. 60, 102).

[10] См.: Р. Г. Котов, Лингвистика и современное состояние машинного перевода. ВЯ, 1976, 5, стр. 37, 38, 41, 43; см. также: В. Н. Герасимов, Ю. Н. Марчук, Современное состояние машинного перевода, «Машинный перевод и автоматизация информационных процессов», М., 1975.

методами, успешно разрабатываемыми Р. Г. Пиотровским [11] и Н. Д. Андреевым [12]. Еще более качественную информацию можно получить благодаря принципиальному разграничению монолингвистической, т. е. внутриязыковой, и билингвистической (типологической), т.е. межъязыковой, многозначности. Как отмечалось, в пределах одного языка многозначность практически не ощущается. Например, в последнее время при составлении английских практических грамматик в качестве четвертой основной формы глагола введена так называемая «инговая» форма глагола (например, кроме прежних *speak — spoke — spoken* вводится еще и *speaking*), четко воспринимаемая носителями английского языка в каждом конкретном случае однозначно. В то же время, для преодоления межъязыковой многозначности этой формы требуется билингвистическое описание ее одиннадцати русских эквивалентов [13]. Указанный принцип положен в основу выявления межъязыковой многозначности на всех языковых уровнях. При этом учитывается, что формальное выражение значения категорий каждого языка зависит от его структурной типологии и может включать элементы разных языковых уровней.

Невозможность осуществления полноценного МП и, соответственно, построения „искусственного интеллекта", хотя бы приближенно соответствующего естественному мышлению [14], не смущает, однако, многих кибернетиков. Они продолжают утверждать, что «нет разницы между кибернетической машиной достаточно высокой организации и человеком, между „искусственным" и „естественным" способом ее создания» [15]. Они уже «предвидят» то время, когда на смену человеку придут разумные кибернетические устройства, которые «неохотно будут верить в то, что они только машины» [16]. В. А. Звегинцев считает для себя возможным следующее идеалистическое высказывание Дж. Бернала: «...Теперь счетные устройства и их коды могут материально воплотить человеческую мысль в совершенно новые формы, в какой-то мере заменить язык. И даже пойти в своем развитии дальше какого-либо языка» (последние три слова особо подчеркнуты В. А. Звегинцевым). Далее Звегинцев отмечает, что в «разговоре» с машиной мы вынуждены оперировать «чистыми», «не отягощенными материей» значениями. Машина заставляет нас перейти на язык «чистых значений». Некоторые ученые допускают, что человек также заговорит на языке «чистых значений» [17]. Недавно Ф. П. Филин вновь напомнил: «Нельзя объединить в единое целое... материализм и идеализм, диалектику и механицизм. В этом плане существует только борьба, борьба непримиримая» [18]. В связи с этим представляется уместным еще раз обратиться к вопросу о материальной стороне языка [19]. Существенным при

---

[11] К. Б. Бектаев, С. К. Кенесбаев, Р. Г. Пиотровский, Об инженерной лингвистике, ВЯ, 1973, 3; Р. Г. Пиотровский, Текст, машина, человек, Л., 1955; его же, Лингвистическое колесо, «Химия и жизнь», 1977, 1.

[12] Н. Д. Андреев, Статистико-комбинаторные методы в теоретическом и прикладном языковедении, Л., 1967.

[13] А. Л. Пумпянский, Чтение и перевод английской научной и технической литературы, М., 1968, стр. 271—273.

[14] См. также: Н. Д. Андреев, указ. соч., стр. 197—213. Подробную библиографию по данному вопросу см. в указ. соч. Ю. В. Орфеева, В. С. Тюхтина.

[15] С. Соболев, Да, это вполне серьезно!, сб. «Возможное и невозможное в кибернетике», М., 1963, стр. 85.

[16] См.: М. Минский, На пути к созданию искусственного разума, сб. «Вычислительные машины и мышление», М., 1967, стр. 456.

[17] См.: В. А. Звегинцев, Теоретическая и прикладная лингвистика, М., 1968, стр. 17; ср. стр. 286.

[18] Ф. П. Филин, О специальных теориях в языкознании, ВЯ, 1978, 2, стр. 25.

[19] См.: В. З. Панфилов, Марксизм-ленинизм как философская основа языкознания, ВЯ, 1979, 4, стр. 10—18.

этом является разграничение В. З. Панфиловым мышления в чувственно-наглядных образах, являющихся результатом непосредственного воздействия на мышление объектов действительности и не обязательно сопряженных с вербальной репрезентацией, и мышления абстрактного, обобщенного, осуществляемого в логических формах в виде понятий, суждений, значений, обязательно оформленных вербально [20]. Своевременным прозвучало возражение Р. А. Будагова против попыток переноса законов функционирования искусственных сигнальных кодов на законы функционирования естественных языков под флагом сближения лингвистики с семиотикой и кибернетикой [21]. Нерешенным остается вопрос, могут ли неязыковые материальные субстанции, применяемые в процессе коммуникации, заменять звуковую, материальную оболочку языка. Некоторые языковеды склонны считать, что письменный текст, электрические импульсы и электромагнитные волны являются языковыми знаками, поскольку они материальны и передают ту же семантическую информацию, что и звучащая речь. Утверждается, что «...в какой бы субстанции — фонетической, графической, световой или электромагнитной — ни был воплощен английский или русский текст, он всегда остается английским или, соответственно, русским текстом: английский текст должен анализироваться английской, а русский — русской грамматикой, также независимо от того, воплощены ли эти грамматики в звуковой, графической, „дырочной", электромагнитной или химической субстанции» [22]. Мы полагаем, что приравнивание языкового знака к многочисленным неязыковым материальным субстанциям прошлого, настоящего и будущего исторически обусловлено многолетней лингвистической традицией отождествления звучащего слова с его графическим изображением, с его письменным выражением. Это отождествление послужило благоприятной почвой для последующего приравнивания языкового знака к любой неязыковой материальной субстанции. В частности, отождествление языкового знака (звучания) и неязыкового знака (графики) послужило причиной признания возможности непосредственной связи между письменностью и мышлением, сначала в «идеографическом» письме, а затем и в старописьменных языках [23]. Несостоятельность этой позиции была убедительно обоснована В. А. Истриным, автором одной из самых фундаментальных работ по развитию письма. В. А. Истрин подробно объяснил причины ошибочности утверждений о равноправии письменной речи и звуковой речи как средства выражения языка. Отметив бытующее даже среди языковедов буквальное понимание неудачного термина «идеография», В. А. Истрин отказался от его употребления и ввел термин «логография» (от греческого λόγος «слово»), а вместо «идеограмма» стал употреблять «логограмма». В. А. Истрин допускал возможность временного опущения звучания в некоторых случаях письменной коммуникации. Отвергая идеалистическую концепцию существования не отягощенного материей мышления, В. А. Истрин

---

[20] См.: В. З. Панфилов, Философские проблемы языкознания, М., 1977, стр. 49.

[21] Р. А. Будагов, Борьба идей и направлений в языкознании нашего времени, М., 1978, стр. 49.

[22] Р. Г. Пиотровский, Текст, машина, человек, стр. 27. См. также: А. Н. Соколов, Взгляд на письмо с позиций теории знаковости, «Вопросы японской филологии», М., 1977, стр. 78.

[23] См.: А. А. Реформатский, Введение в языковедение, М., 1947, стр. 127; А. С. Чикобава, Введение в языкознание, 1, М., 1952, стр. 175; А. И. Томсон, К теории правописания и методологии преподавания его, Одесса, 1903, стр. 10; H. Bradley, On the relation between spoken and written language, Oxford, 1919, стр. 28.

писал: «В обоснование традиционного понимания идеографии иногда ссылаются также на современные вычислительные и другие кибернетические *машины, оперирующие со знаками-понятиями без какого-либо* словесного их оформления. Однако в этом случае мы тоже имеем дело со вторичным, искусственно достигнутым упрощением первоначально необходимой связи „понятие — слово — знак“» [24]. Мы также отказались от терминов «идеограмма», «идеография», поскольку они предполагают возможность непосредственной связи между письмом и мышлением. Много лет мы полагали, что Э. Сепир признает наличие такой непосредственной связи, поскольку он неоднократно писал, что «звуковая символика речи может быть полностью замещена моторной или зрительной символикой» [25]. Однако мы ошибались. Одновременно с этим Э. Сепир подчеркивает, что все многочисленные субституты звуковой символики являются лишь побочными продуктами обычной речи, и, прямо или косвенно, предполагают наличие посредствующего звена подлинной звуковой символики, которая лежит в основе всякой речи и всякого мышления. Письменный язык обладает относительной самостоятельностью. «И все же слухомоторные ассоциации, вероятно, всегда наличествуют хотя бы в скрытой форме,— *иначе говоря*, играют роль подсознательную. Даже те, кто читает и думает безо всякого использования звуковых образов, в конечном счете находится от них в зависимости» [26]. Комментируя высказывание Н. Винера о математических символиках, В. З. Панфилов указывает что «такого рода искусственные знаковые системы выступают как средство осуществления мышления лишь постольку, поскольку они опираются и являются производными по отношению к естественным языкам» [27]. Критикуя утверждение Л. Ельмслева о равноправии различных «манифестаций» языка, первичного к той «субстанции», в которой он материализуется (будь то «субстанция воздуха», «субстанция чернил» и т. п.), и приводя его высказывания о том, что лингвистическая форма не зависит от субстанции, в которой она манифестируется, что язык можно мыслить без звуков, О. С. Ахманова также утверждает, что реальное звучание речи составляет «природную материю» языка, основу его существования. Без звучания — нет языка. Нет написанного слова без «вторичного отражения» звучания слова, т. е. его звуковой оболочки в нашем сознании. Вместе с тем, осторожно замечает О. С. Ахманова, в «развитых» языках как будто аналогичную роль может играть отражение в сознании орфографического «образа» слова [28].

Перейдем к подробному рассмотрению соотношения, существующего между звучащей и письменной речью, что даст нам возможность уточнить некоторые аспекты понятия материальной стороны языка. Оговорим несколько терминов. В данной статье термин «письмо» означает графическую фиксацию звучащей речи, «правописание» или «орфография», — правила письма, «письменность» — зафиксированную *в письменном виде* звучащую речь, «обусловленное орфографией произношение» — произношение, являющееся следствием естественного воздействия письменности (письма, правописания), «буквенное произношение» — искусственное произношение «по буквам».

Как же осуществляется письменная коммуникация? Изобретение письма дало человеку возможность графически, условно фиксировать и кон-

---

[24] В. А. Истрин, Развитие письма, М., 1961, стр. 30.
[25] Э. Сепир, Язык, М., 1934, стр. 14.
[26] Э. Сепир, указ. соч., стр. 17.
[27] В. З. Панфилов, Взаимоотношение языка и мышления, М., 1971, стр. 61.
[28] О. С. Ахманова, Очерки по общей и русской лексикологии М., 1957, стр. 208—212.

кретно воспроизводить звучащую речь. Эта возможность появилась благодаря формированию в сознании человека определенных связей между объективно существующим, но условным, абстрактным отображением слова и его конкретным звучанием, его материальной стороной. При графическом способе условного отображения звучащей речи смысл, содержание написанного (напечатанного) текста может осознаваться только благодаря наличию графико-фонетических ассоциаций (ГФА) [29], являющихся непременным условием существования письменности. Письменная речь возможна благодаря неразрывной связи со звучащей речью. Эта связь осуществляется при помощи ГФА, воссоздающих материальную сторону языка, а тем самым и содержание, смысл высказывания. Наличие ГФА является непременным условием существования письменности и распространяется на **все** виды письма — пиктографию, иероглифику, фонетическое письмо и производные от него коды [30].

На основании учения И. П. Павлова [31] можно утверждать, что при речевом обращении, связанном с письменностью, одновременно действуют все три типа раздражителей, составляющих вторую сигнальную систему (зрительные, звуковые и кинестетические). ГФА возникают в результате их взаимодействия.

Изучение ГФА, существующих между произношением и традиционным правописанием, позволяет выяснить причину консерватизма правописания в старописьменных языках и показать отсутствие разрыва между традиционным правописанием и произношением. Это возможно при условии исторического подхода к психолого-лингвистическому механизму, лежащему в основе действия ГФА. ГФА возникают на основании определенных объективно существующих отношений между графической формой слова, лежащей в основе письменности, и фонетическим обликом слова, т. е. его звучанием. При соблюдении строго фонетического принципа правописания ГФА относительно просты. В исторически закрепленном правописании имеет место отход от этого принципа, однако, лишь частичный. Во-первых, исторически закрепленное правописание в значительной мере основано на фонетическом принципе, так как и при традиционном правописании, и при этимолого-морфологическом большинство букв и буквосочетаний сохраняют свое старое значение. Во-вторых, изменение произношения приводит к переосмыслению [32] восприятия гра-

---

[29] Термин И. А. Бодуэна де Куртенэ. См. его «Избранные труды по общему языкознанию», II, М., 1963, стр. 220. Полемизируя с нами, Й. С. Тышлер пишет, что «у незначительной части людей — больших писателей и поэтов, художников и артистов и других деятелей культуры — существуют непосредственные ассоциации между письмом, графикой и мыслью» (И. С. Тышлер, Графическая дифференциация омонимов, сб. «Вопросы романо-германского языкознания», 5, Саратов, 1977, стр. 11). Однако у этих людей речь идет не о ГФА, а о мышлении в чувственно наглядных образах (см. примеч. 20).

[30] Признание относительной самостоятельности письма, приводящей к появлению смысловых связей с письменным обликом слова при обязательном участии звуковой речи — большая заслуга И. А. Бодуэна де Куртенэ. К сожалению, эти положения были им выдвинуты и обоснованы лишь в отношении фонетического письма.

[31] См.: «Павловские среды», II, М.— Л., 1948, стр. 515; см. также: В. З. Панфилов, Взаимоотношения языка и мышления, стр. 61.

[32] А. Л. Пумпянский, Влияние письма на произношение (на материале английского языка). АКД, М., 1954, стр. 8; см. также: В. И. Юньев, О соотношении устной и письменной форм языка», «Ин. яз. в шк.», 1966, 2, стр. 22, 23, 24. Переосмысление графических символов началось очень давно при заимствовании письменности. Фонетически переосмысленные иероглифы или буквы получили название гетерограмм или псевдоидеограмм из-за наличия у людей иероглифо-фонетических ассоциаций. Например, древние персы писали слово «царь» по-арамейски (*m-l-k*), а произносили по-персидски (*šah*) (см.: В. А. Истрин, указ. соч., стр. 34, 152, 180, 228). При чтении памятников письменности «мертвых» языков мы пользуемся нашими ГФА. Приветствие римских гладиаторов: *Ave, Caesar, imperator, morituri te salutant*! звучит в устах

фических символов в определенных сочетаниях, что не нарушает основного принципа фонетического письма. Вследствие «разрыва» между правописанием и произношением произошло переосмысление графической системы, в результате чего написание многих слов получило новое, опосредованное восприятие. Например, в современном русском литературном языке в словах *корова*, *собака*, *посылка*, *топор*, *колоть* — буква «о» первого предударного слога естественно воспринимается как графема, обозначающая неударное [а]; в английском языке правописание слов *take*, *name*, *boat*, *fight*, *meet*, хотя и является традиционным, безошибочно ассоциируется с произношением [teɪk, neɪm, bout, faɪt, mi:t]. Следовательно, «разрыв» между правописанием и произношением, вызванный закреплением правописания, привел к переосмыслению восприятия графической системы языка и установлению новых ГФА. Отличие строго фонетического принципа от фонетического принципа нового качества состоит в создании новых ассоциаций между исторически закрепленным правописанием и изменившимся произношением. Таким образом, орфографическая система, оставаясь формально стабильной, с изменением произношения приобретает новое качество, отражает новое произношение.

Это — яркое проявление влияния произношения на правописание, позволяющее говорить об историческом изменении восприятия фонетического письма, о его новом качестве при внешне закрепленной (стабильной) форме. Принято считать, что влияние произношения на правописание заключается в реформе правописания. Но, как известно, в старописьменных языках реформы правописания никогда не были радикальными и лишь узаконивали уже совершившееся переосмысление. В данном случае наблюдается эффективное действие закона многозначности, конкретнее — графической многозначности правописания, позволяющего человеку однозначно пользоваться исторически закрепленным правописанием на протяжении многих веков без радикальных реформ.

Естественно, что переосмысление графической системы идет непрерывно, следуя за изменением произношения. Это относится к графическому восприятию отдельных букв, буквосочетаний и целых слов.

Итак, наряду с непосредственными графико-фонетическими ассоциациями (например, русск. *стол*, *кукушка*, *плот*, *киль*; франц. *pari*, *papa*, *datif*, *mari*; нем.: *Gabel*, *geben*, *kurz*, *gut*, англ. *pit*, *sit*, *leg*, *spend*, *job*, *not*, *dog*, *pond*) закрепление правописания и изменение произношения привели к появлению опосредованных ГФА (например, русск. *род*, *сад*, *вода*, *водяной*, *колосья*, *колосок*; франц. *sanglier*, *meurtrier*, *saint*, *sans*, *sent*, *maire*, *mère*, *loi*, *roi*, *foi*; нем. *Obst*, *lobte*, *Tag*, *mag*, *älter*).

Необходимо также отметить наличие ГФА иероглифического порядка, которые мы предлагаем назвать иероглифо-фонетическими ассоциациями. Для создания подобных ассоциаций необходимо предварительное знакомство как с написанием, так и произношением соответствующих слов, например, англ. *victuals* [vitlz], *yacht* [jo:t], *indict* [indaɪt], *debt* [det], русск. *бог* [bɔγ] и т. д.

Следовательно, можно сказать, что в языках с исторически закрепленным правописанием графико-фонетические ассоциации обусловлены тремя указанными выше факторами, образующими, естественно, некое единство.

Удельный вес каждого из трех факторов будет разным в каждом языке в зависимости от его графической системы и от характера и степени фонетических изменений. Поскольку переосмысление ГФА в языках с

цитирующих его русских, французов, англичан и т. д. совершенно по-разному не только в силу разного фонетического строя этих языков, но и разных ГФА.

исторически закрепленным правописанием происходит на основе фонетического письма, естественно, что в любом слове, даже с иероглифическим написанием, имеются отдельные элементы непосредственно фонетического характера, например в английском слове *debt* содержатся графемы *d-e-t*. Исходя же из письменного облика всего слова, мы можем говорить о специфических ГФА слов, правописание которых отражает произношение а) непосредственно, б) опосредованно, в) частично [33]. Это дает возможность распределить все слова в старописьменных языках на три класса, а правила чтения — на первичные и вторичные. Подобные разграничения значительно облегчают освоение иностранных языков путем преодоления графической многозначности, что показано нами на примере английского языка [34]. Исходя из исторически обусловленной графической многозначности (le plurisystéme graphique), Н. Каташ недавно пришла к весьма похожим выводам на примере французского языка [35].

Переосмысление ГФА вызывается не только изменениями в фонетической системе языка, т. е. наблюдается не только влияние произношения на правописание. Переосмысление происходит также под воздействием письменного облика слова, которое и приводит к появлению обусловленного орфографией произношения являющегося следствием естественного воздействия правописания на фонетическую систему языка.

В какой степени возможно воздействие письменности через правописание на фонетическую систему языка? Где следует искать пределы (границы) этого влияния? Возможно ли под влиянием письма искусственное «буквенное» произношение, т. е. произношение по буквам?

При рассмотрении этих вопросов следует также исходить из положения о невозможности подмены звуковой, материальной стороны языка условным отображением звучащей речи. Хотя письменность и оказывает влияние на развитие языка и тем самым обладает определенной самостоятельностью, она всегда была и будет лишь фактором, производным от звучащей речи. Письмо является условным, графическим обозначением звучащей речи. Поэтому решающим фактором в ГФА должно быть произношение. Следовательно, обусловленное орфографией произношение возможно лишь при наличии соответствующих фонетических предпосылок в самом языке, которые дают возможность письменному облику слова проявить свою относительную самостоятельность. Эти условия объективно существуют благодаря тому, что не все фонетические тенденции обладают равной степенью устойчивости (силы): некоторые из них более сильные, другие же более слабые. Сильные фонетические тенденции, или фонетические *законы*, не могут подвергаться влиянию письма, так как сами обусловливают сохранение или вызывают переосмысление восприятия букв или буквосочетаний как символов произношения. Поэтому обусловленное орфографией произношение возможно лишь постольку, поскольку оно не противоречит сильным тенденциям, т. е. поскольку определенные тенденции слишком слабы, чтобы ему противостоять. Из этого следует, что обусловленное орфографией произношение является одним из критериев, позволяющих судить о качестве фонетических тенденций в языке, выявлять их относительную силу или слабость.

Например, несмотря на широкое распространение в английской диалектной речи произношения окончания названий дней недели — *Sun-*

---

[33] См.: А. Л. Пумпянский, Английский литературный язык, стр. 58—66.

[34] А. Л. Пумпянский, Чтение английской научной литературы. Фонетика, М., 1962; его же, Коррективный фонетический курс английского языка. М., 1968. О графической многозначности и вторичных правилах чтения см. также: В. И. Юнь-ев, указ. соч., стр. 24.

[35] N. Catach, La structure de l'ortographe française, «La recherche», 1973, 39.

day, *Monday* и т. д. и слова *yesterday* как неударного [ɪ], данная фонетическая тенденция относительно слаба, так как она не вызвала переосмысления восприятия написания окончания *-day* как условного обозначения произношения [dɪ] и поэтому подвергалась влиянию письменного облика слова: =['sʌndeɪ, 'mʌndeɪ, 'tju:zdeɪ] и т. п. [36]. В русском слове *конечно* предударное *о* переосмыслилось как символ [а], но «*ч*» нередко произносится, согласно написанию (как и в ряде других слов: *что*, *скучно*, *булочная*, *коричневый*, *сердечный* и т. п.). Это свидетельствует о слабой фонетической тенденции к произношению [ш] в подобных словах.

Несмотря на широкое распространение в русской диалектной речи твердого произношения конечных согласных в прилагательных с основой на *г*, *к*, *х*, в им. падеже ед. числа муж. рода (*строгий*, *ловкий*, *высокий*, *сладкий*, *хрупкий*, *широкий*, *упругий*) и окончаний фамилий на *-ский* (*Одоевский*, *Чернышевский*, *Белинский*), данная фонетическая тенденция относительно слаба, так как не вызывала переосмысления восприятия написания этих окончаний *-кий* (*-ский*), *-гий*, *-хий* как условного обозначения произношения [кыj(скыj), гыj, хыj] и поэтому подвергается влиянию письменного облика слова: [м'ахк'иj], Белинс[к'иj], стро[г'иj], ти[х'иj] [37].

Необходимо отметить, что обусловленное орфографией произношение отдельных слов, возможное благодаря относительной слабости соответствующих фонетических тенденций, может подкрепляться влиянием диалектного произношения, однокоренного слова или иногда того и другого вместе.

Сильное содействие влиянию письменного облика слова на произношение составных слов оказывает произношение составляющих их компонентов в самостоятельном употреблении. Но эти факторы не снимают роли письменного облика слова, который участвует в любом процессе, связанном с приближением произношения к правописанию. Например, взаимовлияние однокоренных слов способствует появлению и распространению обусловленного орфографией произношения не только благодаря действию слуховых восприятий, но и письменного облика. Исторически закрепленное правописание сохраняет этимологию слов, позволяет выявлять слова одного корня. Уже в середине нашего века начались попытки сознательного сближения написания отдельных слов с их этимонами. Новая смыслоразличительная функция, свойственная этому правописанию, привела к появлению, наряду с уже рассмотренными ГФА отдельных слов, комплексных ассоциаций — по родственности значения или обозначения отдельных лексических или грамматических явлений. Это — ГФА этимологического или морфологического характера. Так, при чтении русского слова *вода* [вадá] помимо опосредованных ГФА этого слова, приводящих к осознанию его значения, ощущается, что это слово входит в группу слов *вóды* [вóды], *водяной* [въд'анój], *водоворот* [въдъварóт] и т. д. При чтении английского слова *forehead* как ['fɔ:hed], а не ['fɔrid] ощущается его связь с *head* [hed], *headstrong* [hedstrɔŋ], *ahead* [ə'hed] и т. д. Наличие осознания этимологического (морфологического) однообразия в написании целых групп однокоренных слов или грамматических формантов содействует появлению обусловленного орфографией произношения в неко-

---

[36] А. Л. Пумпянский, Произношение названий дней недели в английском языке (влияние правописания на английский неударный вокализм), сб. «Романо-германская филология», 4, М., 1962.

[37] См. также: Ф. П. Филин, К проблеме социальной обусловленности языка, сб. «Язык и общество», М., 1968, стр. 18. Подробнее о влиянии правописания на современное русское литературное произношение см.: А. Л. Пумпянский, Влияние письма на произношение (к вопросу о литературном произношении), сб. «Вопросы методики преподавания английского языка», М., 1960, стр. 113—118.

торых фонетических позициях, по аналогии с ГФА других слов той же группы. С этой точки зрения следует рассматривать указание Л. В. Щербы о том, что в русском литературном произношении в будущем упростятся чересчур сложные правила и «предударное а, например, будет, конечно, произноситься более или менее, как а, независимо от предшествующего согласного: *шалость — шалун*, а не *шылун*» [38]. Действительно, письменный облик слова содействует сглаживанию отдельных позиционных вариантов произношения, тех вариантов, которые не имеют поддержки сильнодействующих фонетических тенденций и поэтому ослабевают и выравниваются по новым вариантам произношения соответствующей группы слов.

Мы исследовали в диахроническом плане процессы внедрения, замещения, восстановления и сохранения звучания отдельных фонем в английском языке и описали свыше 1000 слов повседневного употребления, в которых зарегистрировано обусловленное орфографией произношение [39]. Д. П. Венцкуте недавно предложила именовать произношение таких слов «орфографическими вариоформами», например, ['sʌndeɪ] *Sunday*, [kən'tɪnju:] *continue*, ['ɔftən] *often* [40].

Исследование процессов сохранения и восстановления согласных и неударных гласных в английском языке показало, что фонетическая тенденция к выпадению согласных в определенных позициях и к редукции неударных гласных до нейтрального звука является относительно слабой. Она проявляется только при быстром темпе речевого общения и сдерживается в литературном языке письменным обликом слова. По-видимому, это положение справедливо и для других старописьменных языков и носит характер лингвистической универсалии.

Поскольку для выявления обусловленного орфографией произношения большое значение имеет медленная, четкая речь, в большей степени опирающаяся на письменный облик слова, чем быстрая разговорная речь, в которой могут проявляться слабые фонетические тенденции, необходимо рассмотреть проблему стилей произношения. Исключительную ценность в этом отношении представляют высказывания Л. В. Щербы. Л. В. Щерба считал, что вне зависимости от того, как произносится в данный момент слово, говорящий и слушающий всегда имеют представление о его полном фонетическом облике. Наличие такого представления и дает возможность в любой момент произнести это слово четко, отчеканивая каждый слог. Случаи практического применения такого четкого произношения очень часты. Л. В. Щерба указывает, что каждое слово, как бы быстро, с каким бы фонетическим усечением оно ни произносилось, воспринимается не как усеченный комплекс, слышимый в данный момент, но как полное, четкое звучание, выявляемое при изолированном произношении этого слова или в медленной, тщательной речи [41]. Разные стили отличаются друг от друга не только лексически и синтаксически, но и фонетически. Обучение иностранному языку Л. В. Щерба рекомендует начинать с полного стиля, в котором обнаруживаются такие фонетические свойства слова, которые в условиях обыкновенной речи так или иначе

---

[38] Л. В. Щерба, Об образцовом русском произношении, «Говорит СССР», 1936, 3, стр. 37.

[39] А. Л. Пумпянский, О влиянии правописания на произношение в английском языке. АКД, М., 1952; его же, Чтение английской научной литературы, стр. 57—71.

[40] См.: Д. П. Венцкуте, Свободное варьирование звукового состава слов в современном южноанглийском (литературном) произношении. АКД, М., 1974, стр. 10, 11.

[41] См.: Л. В. Щерба, О разных стилях произношения, «Записки неофилологического общества», Пг., 1916, стр. 341—342.

скрадываются [42]. Аналогично рассуждает и Р. Чепмэн, исходя из фактов английского языка [43]. Полный стиль английского произношения дается в лингафонном курсе О'Коннора «A course of English intonation» [44]. Нельзя сомневаться в том, что все стили произношения представляют собой необходимые и взаимосвязанные компоненты процесса речевого общения, естественный каждый в определенных условиях. Медленная, четкая речь, действительно, менее обычна, но это отнюдь не позволяет считать ее искусственной. Полный стиль произношения употребляется в языковых ситуациях, когда усеченный стиль не может эффективно осуществлять функцию общения, как например, в функциональном стиле научной и технической литературы [45]. Изучение одних лишь усеченных форм произношения ведет к фонетической неполноценности, к неполному охвату языка, к беспомощности во многих видах речевого общения. Увлечение современных фонетистов разговорным стилем привело к тому, что хорошо изученными оказались лишь эти усеченные формы, широко распространенные в повседневной речи. О полном же стиле произношения можно получить лишь отрывочные сведения. В бесписьменных языках бесспорно существовали (и существуют) варианты произношения, допускающие разную степень усечения слов, сохранившихся без влияния письменного облика слова [46]. Однако с изобретением письма, появлением письменности, закреплением правописания и, особенно, после введения обязательного обучения в сознании большинства людей появились и закрепились ГФА, которые легли в основу полного стиля произношения. Таким образом, к указанию Л. В. Щербы о том, что при любом фонетическом варианте слова мы мысленно представляем себе это слово в полном стиле, можно присовокупить, что у грамотных людей существует не только слуховое (фонетическое), но и графико-фонетическое восприятие слова, лежащее в основе полного стиля произношения. Поэтому, хотя с исторической точки зрения письмо как бы стоит за чертой живого языка, при выполнении нормализующей функции языкового общения письмо включается в язык и через письменность способствует становлению и распространению норм литературного языка. «Письмо — не просто фиксация посредством условных знаков на каком-либо материале речевых текстов, не только „внешняя одежда" языка. Оно играло и играет активную роль в организации речи, делая речь преднамеренной, продуманной» — пишет Ф. П. Филин, указывая на письменное происхождение литературного языка [47]. Нормализация литературного языка способствует более четкому мышлению. Влияние письменности на словарный состав и грамматический строй литературного языка рассматривается в различных работах о языковых нормах. Исследование влияния письменности на фонетическую систему языка позволяет дать представление о нормах литературного языка как о комплексном явлении.

Наличие у людей, говорящих на литературном языке, ГФА способствует выявлению сильных и слабых фонетических, лексических и грамма-

---

[42] См.: Л. В. Щ е р б а, Фонетика французского языка, М., 1948, стр. 20—21.

[43] См.: R. W. C h a m p a n, Oxford English (SPE Tract, 37), 1952.

[44] См.: О. С. А х м а н о в а, И. М. М а г и д о в а, Прагматическая лингвистика, прагмалингвистика и лингвистическая прагматика, ВЯ, 1978, 3, стр. 45—46.

[45] См. А. Л. П у м п я н с к и й, Функциональный стиль научной и технической литературы, ВЯ, 1977, 2, стр. 90—91.

[46] См., например, данные об отсутствии обусловленного орфографией произношения в диалектах, приводимые в работах: J. W r i g h t, English dialect grammar, Oxford, 1905; H. W e n t w o r t h, The American dialect dictionary, 2-nd ed., New York, 1944.

[47] Ф. П. Ф и л и н, Что такое литературный язык, ВЯ, 1979, 3, стр. 12, ср. е г о ж е, О свойствах и границах литературного языка, ВЯ, 1975, 6, стр. 12.

тических тенденций. При быстрой речи происходит усечение фонетических, а тем самым и лексических и грамматических форм языка. При медленной речи подобного усечения не наблюдается. Лежащий в основе литературного языка полный стиль произношения способствует закреплению его лексических и грамматических норм. Таким образом, представляется возможным говорить о влиянии литературного языка на мышление через все три его письменных аспекта: лексический состав, грамматический строй и фонетическую систему (орфоэпические нормы).

Заканчивая рассмотрение вопроса о соотношении звучащей и письменной речи, мы считаем необходимым особо подчеркнуть следующие факты первостепенной важности. Во-первых, обусловленное орфографией произношение характерно для англичан, немцев, французов, русских независимо от того, в каких частях страны они живут, охватывает многие общеупотребительные слова и постепенно становится общеязыковой литературной нормой или ее вариантом [48]. Во-вторых, обусловленное орфографией произношение свойственно культурным грамотным людям, много и быстро читающим про себя. Поскольку у этих людей графический облик слова воспринимается автоматически, рефлекторно, утверждалось, что у них должна существовать первичная или вторичная непосредственная связь между письменным образом и понятием. Но в таком случае письменный облик слова не мог бы влиять на произношение, от которого он якобы абстрагировался. Широкое распространение обусловленного орфографией произношения служит бесспорным доказательством отсутствия у культурных грамотных людей непосредственной, первичной или вторичной, постоянной или временной связи между письмом и мышлением. У этих людей все время присутствуют ГФА. В-третьих, особенно интенсивное закрепление ГФА полного стиля произношения происходит в процессе письма, который во много раз медленней процесса чтения и не допускает даже гипотетически временного, автоматического, рефлекторного опущения звучания. Если же представить возможность отсутствия звучания в процессе письма, то следовало бы признать существование до графической фиксации «чистых», не отягощенных никакой материальной субстанцией, понятий, суждений, значений.

Приведенные факты требуют более осторожного подхода при оценке результатов автоматизации речевой коммуникации. Они же дают дополнительное новое свидетельство о материальной стороне внутренней речи [49].

Таким образом, являясь вторичными субститутами естественного языка, все искусственные знаковые системы, включая письмо, кодируются в различные неязыковые материальные субстанции и декодируются из них только благодаря существованию их естественного субстрата, языковой знак которого — звучание — является их языковой материальной стороной.

---

[48] См., например, свидетельство сибиряка: «Но среди сибирской интеллигенции (как и у интеллигенции европейской части СССР) за последнее время произношение *чн* получило очень широкое распространение. Всюду можно слышать не только «бутылочное», «булочная», «лоточница», «чулочница», но даже «скучно», «конечно» (К. Л. Марков, Основы русского литературного произношения, Иркутск, 1951, стр. 39).

[49] Подробное изложение вопроса о внутренней речи см.: В. З. Панфилов, Философские проблемы языкознания, стр. 47—52.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1980

АЛПАТОВ В. М., КРЮЧКОВА Т. Б.

О МУЖСКОМ И ЖЕНСКОМ ВАРИАНТАХ ЯПОНСКОГО ЯЗЫКА

Существование различий в языке мужчин и женщин отмечается многими исследователями, но почти не существует более или менее подробного описания таких различий в каком-либо языке. Недостаточно изучен этот вопрос и в общелингвистическом плане. Среди немногих ученых, останавливавшихся на этой проблеме, следует назвать О. Есперсена [1] и Л. Блумфилда [2].

Оппозиция мужских и женских вариантов представляет собой, по всей вероятности, древнейший тип дифференциации языка. Можно предположить, что она существовала уже на ранних этапах развития человечества, будучи связанной с разделением труда между полами. На низшей ступени варварства, как отмечает Ф. Энгельс, «разделение труда — чисто естественного происхождения; оно существует только между полами. Мужчина воюет, ходит на охоту и рыбную ловлю, добывает продукты питания в сыром виде и изготовляет необходимые для этого орудия. Женщина работает по дому и занята приготовлением пищи и одежды — варит, ткет, шьет. Каждый из них — хозяин в своей области: мужчина — в лесу, женщина — в доме» [3]. В этой связи мужчины и женщины оперируют разными словами, связанными с их профессиональной специализацией.

В более поздние периоды у некоторых народов различия в языке мужчин и женщин начинают определяться разнообразными религиозными и культовыми предписаниями. Эти моменты до сих пор играют доминирующую роль в дифференциации языков по полу у многих народов мира, например, в зулу [4], в ряде старинных арабских городских говоров Магриба (как мусульман, так и евреев) [5]; еще в конце XIX — начале XX в. такие различия отчетливо прослеживались в казахском и киргизском языках [6], а также в алтайском языке [7]. Как правило, различия эти связаны с наличием в языке определенного количества слов и выражений, которые запрещено произносить женщинам. Ввиду этого им приходится заменять табуированную лексику либо описательными выражениями, либо придумывать новые слова.

---

[1] O. Jespersen, Language, its nature, development and origin, London, 1946, стр. 237—254.

[2] Л. Блумфилд, Язык, М., 1968, стр. 60.

[3] К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 21, стр. 159.

[4] Э. А. Риттер, Чака Зулу, М., 1968, стр. 103, 403.

[5] Ю. Н. Завадовский, Обзор арабских диалектов Магриба, сб. «Проблемы зарубежной социолингвистики», М., 1976, стр. 226.

[6] А. Н. Самойлович, Запретные слова в языке казак-киргизской замужней женщины, «Живая старина», XXIV, Петроград, 1915; Н. И. Гродеков, Киргизы и каракиргизы Сыр-дарьинской области, сб. «Юридический быт», I, Ташкент, 1889.

[7] А. Н. Самойлович, Женские слова у алтайских турков, РАНИОН, Научно-исследовательский институт литератур и языков Запада и Востока (б/г); Н. А. Баскаков, «Женский язык» у алтайцев и социальные условия его происхождения, «Тезисы докладов советских социолингвистов на IX Всемирном социологическом конгрессе», М., 1978, стр. 5.

Дифференциацию языка по полу могут обусловливать и другие социальные факторы, например, неравноправное положение женщины в обществе [8], различные социальные и ценностные ориентации мужчин и женщин [9]. Определенную роль в этом процессе играют также психологические различия полов. Как правило, чем выше уровень социального развития общества, тем менее ярко проявляется дифференциация по полу в обслуживающем его языке.

Различия в языке мужчин и женщин проявляются в различных языках в разной степени и на разных уровнях. Чаще всего они наиболее ярко выражены в лексике. Но есть языки, где эти различия охватывают даже фонологическую систему [10]. Во многих языках, включая европейские, такие различия менее очевидны, для их выявления необходима специальная методика исследования [11]. В других языках они проявляются весьма ярко, к числу их принадлежит и японский, поэтому изучение его в этом плане представляет особый интерес. В настоящей статье исследуется современный японский язык послевоенного времени [12].

Значительные расхождения между мужским и женским вариантами японского языка дают возможность говорить о двух различных системах. Эти системы, во-первых, отличаются друг от друга своими элементами (например, местоимение 1-го лица *боку* встречается только в мужской разновидности, а местоимение 1-го лица *атаси* — только в женской), во-вторых, одни и те же элементы занимают разное положение в системе (например, местоимение 2-го лица *аната* или суффикс лица *-сан*, см. ниже), в-третьих, одни и те же элементы могут быть центральными в одной системе и периферийными в другой, что находит отражение в их частотности в речи (например, форма связки *дэ годзаимасу* периферийна в мужском варианте и непериферийна в женском).

Дифференциация языка по полу пересекается с другими направлениями дифференциации языка, в частности, с дифференциацией по признаку «разговорный — книжный», поэтому, строго говоря, следует разграничить «мужской разговорный», «мужской книжный», «женский разговорный» и «женский книжный» варианты, которые в свою очередь могут быть еще более дифференцированы. Однако «мужской книжный» и «женский книжный» варианты очень близки, и те немногие элементы, которыми они могут различаться (например, местоимение 1-го лица *боку* может встретиться в публицистическом тексте, написанном мужчиной, но не в тексте, автор которого — женщина), проникают сюда из разговорных вариантов. Поэтому мы будем рассматривать различия лишь между «мужским разговорным» и «женским разговорным» вариантами, которые гораздо ощутимее. Эти различия мы проследим на разных уровнях языка.

---

[8] Этот признак сам по себе весьма широк, он включает в себя в принципе и указанные выше идеологические моменты. Но поскольку различия в языке мужчин и женщин, определенные религиозными предписаниями, встречаются весьма часто, этот случай был описан особо.

[9] См. по этому поводу: R. L a k o f f, Language and woman's place, «Language in society», 2.1, 1973; S. B. F l e x n e r, Предислов. к кн.: «Dictionary of American slang», New York, 1960.

[10] В. Г. Б о г о р а з, Луораветланский (чукотский) язык, «Языки и письменность народов Севера», ч. III, М.— Л., 1934, стр. 7.

[11] См. об этом: Т. Б. К р ю ч к о в а, Некоторые экспериментальные исследования особенностей использования русского языка мужчинами и женщинами, сб. «Проблемы психолингвистики», М., 1975; е е ж е, К вопросу о дифференциации языка по полу говорящего, сб. «Восточное языкознание», М., 1976.

[12] Мы не касаемся требующего особого рассмотрения вопроса о границах японского литературного языка и лишь исключаем из исследования явные диалектные формы. Отметим, что стандартная норма, отражаемая в учебниках и нормативных грамматиках, ориентирована прежде всего на мужскую разновидность языка.

I. Фонологические различия.

Эти различия наименее существенны. Фонемный состав обеих систем одинаков, хотя в прошлом некоторые различия существовали, например, в женском варианте позже появились мягкие согласные (иногда отмечают пережитки этого явления и в современном языке [13]). Определенные различия, по-видимому, существуют в области интонации, однако вопрос этот требует дополнительного изучения.

II. Морфонологические различия.

Во многих случаях в японском языке морфемы имеют несколько вариантов, находящихся в отношении свободного варьирования. Некоторые из них предпочтительно употребляются мужчинами, а некоторые — женщинами. Так, супплетивные почтительные глагольные формы со значениями «быть; идти; приходить» перед суффиксами, начинающимися с *т*, имеют два варианта корня: *ирасся-* и *ираси-*. Второй вариант обычно употребляется женщинами [14]. Это подтверждают и наши наблюдения: *Яхари, коно уми-о ми-ни ирасита но дэсу ка*? (М., стр. 383) [15] «(Вы) все-таки пришли посмотреть на это море?» — женщина малознакомой женщине; *Ато-дэ китто ираситэ кудасаимасу нэ* (М., стр. 369) «Потом (он) непременно придет» — девушка жениху.

Видимо, женскому варианту свойственна и предположительная форма связки *дэсё* (наряду со стандартной формой *дэсё*:, свойственной обоим вариантам). В исследованном нами материале эта форма встретилась только в речи женщин по отношению к равным или низшим: *Судзуки-сан, го-иссё дзя най н дэсё*? (М., стр. 204) «Судзуки-сан ведь (приехал) вместе (с тобой)?» — мать дочери; *Атаримаэ дэсё* (К, стр. 133) «Разумеется» — старшая сестра младшей. Примеры свидетельствуют о том, что форма *дэсё* по значению соответствует не столько вежливой форме *дэсё*:, сколько невежливой предположительной форме связки *даро*:, свойственной мужскому варианту и, как правило, не встречающейся в речи женщин.

Здесь мы наблюдаем важную особенность женского варианта, с которой столкнемся и далее: сокращение форм мужского варианта. Японские авторы отмечают, что особенность женского языка — «сокращение сверх всего» [16].

К числу форм, употребляемых только женщинами, относят еще *годза*: *масу* — вариант вежливого глагола бытия *годзаимасу* [17].

III. Морфологические различия.

Наиболее отчетливо разница между мужским и женским вариантами проявляется в категориях адрессива и гоноратива. Эти категории передают общественные отношения между говорящим и слушающим (адрессив) и между говорящим и лицами, о которых идет речь (гоноратив). Формы адрессива и гоноратива часто называют формами вежливости [18]. Дан-

---

[13] Гэндай-но ханасиката то бунсё:, I, Токио, 1962.

[14] Окамура Кадзуэ, Ирассятта, ирасита, «Ко:го-бумпо:-ко:дза», 3, Токио, 1965.

[15] В статье приняты следующие сокращения: А — Абэ Кобо, Моэцукита тидзу, Токио, 1967; А2 — Абэ Кобо, Танин-но као, Токио, 1964; Б — Боро:дзин А., Ути-но нэ:сан (Володин А., Моя старшая сестра), «Тэаторо», 1967, 7 (287); И — Исикава Тацудзо:, Кадзэ-ни соёгу аси, I—II, Токио, 1964—65; К — Китасиро Ацуси, Акума ва кимбэн, «Тэаторо», 1967, 4 (284); М — Мацумото Сэйтё:, Кю:кэй-но арано, Токио, 1969; Ф — Фудзита Асая, Ниппон-но гэнрон. 1961, «Тэаторо», 1967, 6 (286); Х — Хасэгава Синдзи, Укаиро, «Тэаторо», 1968, 9 (303); Я — Ямада Тосио, Хоку-сэкидо:-кайрю:, «Тэаторо», 1967, 10 (291).

[16] Имаидзуми Тадаёси, Нихон-но кэйго, «Ко:дза-нихонго», 2, Токио. 1955, стр. 156.

[17] R. A. Miller, The Japanese language, Chicago — London, 1967, стр. 289.

[18] Подробнее об этих категориях см.: В. М. Алпатов, Категории вежливости в современном японском языке, М., 1973, стр. 11—14 и др.

ная разница проявляется прежде всего не в наборе форм, а в их месте в системе. Форм, явно принадлежащих только одному варианту, сравнительно немного. Только мужчины употребляют повелительные формы с суффиксом *-тамаэ*, фамильярные по значению: *Са, кё: ва кими мо иппай яритамаэ* (И, т. 2, стр. 188) «Ну, сегодня ты тоже выпей!» — другу; *Варуку омованайдэ курэтамаэ* (М, стр. 295) «Не подумай плохо!» — более молодому родственнику. По нормам литературного языка только мужчины употребляют суффикс лица *-кун*, также фамильярный: *Тасиро:-кун, Тасиро: -кун, исойдэ тётто* (А, стр. 50) «Тасиро-кун, Тасиро-кун, быстренько сюда!» — подчиненному; *Аяко-кун ва до: да* (К, стр. 122) «Как Аяко-кун?» — брат о младшей сестре [19].

Помимо этих бесспорных случаев можно наблюдать, что обычно только мужчины употребляют наиболее грубые формы и только женщины наиболее вежливые. Так, простые повелительные формы и повелительные формы типа «деепричастие + *курэ*» (все они являются наиболее грубыми из всех повелительных форм) нам не встречались в речи женщин (исключая употребление простых форм в лозунгах). Женщины при обращении к низшим смягчают грубость присоединением к *курэ* вежливого префикса *о-*: *Сонна кото-о иванаэйдэ ути-ни итэ о-курэ ё* (И, I, стр. 249) «Не смей так говорить и сиди дома!» — мать дочери; такие формы, впрочем, существуют и в мужском варианте: *А:, со: ситэ о-курэ* (М, стр. 284) «Сделай так!» — мужчина младшему родственнику. Наоборот, только женщины как правило, употребляют самые вежливые повелительные формы (с суффиксом *-имас-/-мас-* и типа «деепричастие или форма на *-и/Ø* + *асобасэ* (*асобаситэ*)»): *Ирассяимасэ* (М, стр. 49) «Пожалуйте!» — женщина жениху дочери; *А, до:дзо, о-хаири асобаситэ* (К, стр. 112) «Пожалуйста, входите!» — служанка гостю. Видимо, только женщины употребляют исчезающие из языка крайне вежливые формы гоноратива типа «*о-* + форма на *-и/Ø* + *асобасу*» [20].

В таком употреблении форм вежливости проявляется общая закономерность, отмечаемая в той или иной форме многими языковедами [21]: употребление женщинами более вежливых форм, нежели мужчинами. Трудно утверждать с полной уверенностью, что крайне вежливые формы никогда не употребляются мужчинами, а крайне невежливые — женщинами. Наоборот, иногда можно встретить примеры такого употребления: *Ирассяимаси* (М, стр. 311) «Пожалуйте!» — служащий гостиницы постояльцу. Но самые вежливые формы занимают более центральное положение в женском варианте, что проявляется в их более высокой частотности; в мужском варианте они если и существуют, то находятся на его крайней периферии. В случае наиболее грубых форм мы имеем обратное. Показательно, что наиболее вежливая адрессивная форма связки *дэ годзаимасу* употребляется мужчинами и женщинами, но традиционно рассматривается как «женственная». Так, в пьесе «Акума ва кимбэн» *дэ годзаимасу* ни разу не встречается в мужской речи, в романе «Кю: кэй-но арано» из муж-

[19] Императивные формы с *тё:дай*, часто рассматриваемые как специфические «женские и детские» (так их истолковывал и один из авторов этой статьи, см. «Категории вежливости...», стр. 77), таковыми все же не являются. Как показывают наблюдения над живой речью, их употребляют и мужчины: *Сакэ-о тё-дай* «Дай водки!» — мужчина средних лет официантке.

[20] Цудзимура Тосики, Гэндай-но кэйго, Токио, 1967, стр. 159.

[21] Дзюгаку Акико, Дзёсэйго то кэйго, «Кэйгохо:-но субэтэ» (спец. выпуск журнала «Кокубунгаку»), 7, 1966, стр. 143—148; Кэйго то кэйго-исики, Токио, 1957, стр. 376; Маэда Исаму, Дзё:хин-ни иитай оннногокоро, «Гэнго-сэйкацу», 1961, 4 (115), стр. 57—62; Сакума Канаэ, Гэндай-нихонго-но хё:гэн то гохо:, Токио, 1951, стр. 201; Танака Акио, Кэйго-ронги ва надзэ окору, «Гэнго-сэйкацу», 1969, 6 (213), стр. 31—35; Тасиро Кодзи, Котоба-но цукаиката, Токио, 1956, стр. 43—45.

чин эту форму употребляют лишь служащие гостиниц. В женской речи она встречается часто, иногда даже по отношению к равным или неизвестным лицам: *Имаи дэ годзаимасу* (Ф, стр. 138) «(Говорит) Имаи» — женщина по телефону, не зная собеседника. Здесь явно различное положение *дэ годзаимасу* в связи с противопоставлением «центр — периферия».

Особенно сильно различаются в двух вариантах системы именных суффиксов. Эти суффиксы присоединяются к именам, фамилиям, названиям профессий, должностей и т. д. и передают отношение говорящего к лицу, обозначенному данным словом. Существуют суффиксы *-сан*, *-сама*, *-кун*, *-тян*, а также нулевой суффикс. В мужском варианте *-сан* употребляется по отношению к высшим или равным чужим, *-сама* — к высшим при подчеркнуто вежливом отношении (чаще в письменной речи), *-кун* — к своим равным или низшим, *-тян* — к своим низшим (обычно к детям), нулевой суффикс близок по употреблению к *-кун*. В женском варианте существуют те же суффиксы, кроме *-кун*, но все остальные, кроме *-тян*, имеют несколько другое значение. Тогда, когда мужчины употребляют *-кун* или нулевой суффикс, женщины употребляют *-сан*: *Ко:ити-сан* (К, стр. 154) «Коити-сан!» — сестра младшему брату; *Химико-сан* (М, стр. 206) «Химико-сан!» — тетка племяннице. Этот же суффикс может употребляться и в отношении равных чужих: *Ото:то-но куми-но то:бан-сан-ни, аттэ итадако: то омоттэ...* (А, стр. 178) «(Я бы) хотела, чтобы (он) встретился с дежурным группы брата» — о незнакомом человеке. Нулевой суффикс в женском варианте более перифериен, употребляясь только по отношению к низшим: *Нобору* (К, стр. 150) «Нобору!» — мать сыну. Суффикс *-сама*, наоборот, занимает в женском варианте более центральное место; как правило, именно он употребляется по отношению к высшим: *Рокудзё:-сама мо коко-ни ираситэ ё* (К, стр. 141) «И Рокудзё-сама пожаловал сюда» — девушка о муже старшей сестры; ср. слова ее брата о нем же: *Рокудзё-сан дайдзё:бу дэсу ка?* (К, стр. 142) «У Рокудзё-сан все в порядке?».

Таким образом, ряд суффиксов имеет в двух вариантах разное значение: в одних случаях различается объем значения (*-сама*, нулевой суффикс), в других случаях значение лишь частично пересекается (*-сан*).

Различия в значении видны и на примере префикса *о-*, широко распространенного в современном языке. Этот префикс многозначен [22]. В частности, он указывает на вежливость к лицу, обозначенному словом, к которому присоединено *о-*, или к лицу, некоторым образом связанному с предметом, обозначаемым словом, к которому присоединено *о-* (например, к обладателю этого предмета); такое значение *о-* свойственно обоим вариантам. В женском варианте имеется еще одно значение *о-*, связанное с передачей вежливости к собеседнику; в этом случае *о-* присоединяется почти к любым именам, наречиям, качественным глаголам и прилагательным для придания разговору большей вежливости [23]. Такое широкое употребление *о-* — яркая особенность женской речи, ему посвящена обширная литература [24].

---

[22] Подробнее о семантике префикса *о-* см.: В. М. Алпатов, Категории вежливости.., стр. 86—89.

[23] При этом есть ограничения. В частности, префикс *о-* легко присоединяется к словам, обозначающим предметы и явления, связанные с женским бытом: к названиям продуктов, мебели и т. д., и не сочетается со словами, редко употребляемыми женщинами, например, со спортивными терминами, см.: Сибата Такэси, О-но цуку го, цуканай го, «Гэнго-сэйкацу», 1957, 70, стр. 40—49; Нихонго-но кэйго ва мудзукасий ка, «Гэнго-сэйкацу», 1969, 6 (213), стр. 2—14.

[24] См., например, Имаидзуми Тадаёси, указ. соч., стр. 156; Цудзимура Тосики, указ. соч., стр. 138; Маэда Исаму, указ. соч., стр. 57—62.

Существуют, однако, вежливые формы, занимающие большее место в мужской системе: формы гоноратива с суффиксом *рарэ-/-арэ-*[25]. Например, ни одна из восьми женщин-персонажей пьесы «Акума ва кимбэн» не употребляет их, среди мужчин их употребляют четыре персонажа: *Цудано-сэнсэй-га- о:син-ни корарэру...* (К, стр. 107) «Цудано-сэнсэй придет к больной» — член семьи промышленника о враче; *Коко-ни ирарэру ё: на дзянаридзу: му-но минасан* (К, стр. 127) «Господа журналисты, присутствующие здесь!» — выступление официального представителя. Причина этого, вероятно, в том, что данные формы имеют официальный характер и употребляются в ситуациях, в которых реже участвуют женщины.

IV. Морфосинтаксические различия.

К числу такого рода различий относятся различия в отношении модально-экспрессивных частиц. Эти частицы занимают очень большое место в разговорных вариантах японского языка. Наряду с частицами, существующими в мужском и женском вариантах (*нэ* и др.), существуют частицы, встречающиеся только в одном из них. Такие частицы — одна из самых ярких особенностей мужского и женского вариантов. Как правило, при письменной фиксации японской речи пол говорящего легко устанавливается по наличию тех или иных частиц.

К специфически мужским частицам относятся *дзо*: *Сябэру то сину дзо*! (К, стр. 141) «Будете болтать — умрете!» и *дзэ*: *Маппира да дзэ* (Я, стр. 87) «Ни в коем случае!». Очень распространена в мужской речи частица *на*: *Хинику да на... Ёку варау онна да на* (К, стр. 109) «(Это) насмешка... (Ты) очень смешливая женщина» — сын промышленника служанке; *Сорэ мо ару на* (Ф, стр. 159) «Да, и это есть» — служащий знакомому; *Тэ-о яйтэру на* (К, стр. 128) «(Я) обжег руку» — военный малознакомому человеку. Эта частица — важная особенность мужской речи, но есть примеры и в речи женщин: *Сорэ-га вакаттэря йу: кото най на* (К, стр. 133) «Если бы это было понятно, не говорили бы». В мужской речи встречается и частица *на:*, например, *Нэ:сан мо маттаку куро: сё: да на:* (К, стр 122) «И у (тебя), сестра, очень беспокойный характер». К частицам мужского варианта, видимо, относится и *хора*: *Дага аицу ва тэ-га хаяй на хора* (Б, стр. 139) «Однако он проворен».

Еще большее место занимают модально-экспрессивные частицы в женском варианте. Здесь отсутствие частицы в конце предложения — скорее исключение, чем правило.

Две наиболее распространенные частицы женского варианта — *ва* и *но*: *Ока-сан даттэ вараэру но ё...* (К, стр. 106) «Мать ведь может смеяться» — мать дочери; *Иронна кото-га ару но ё... Тада-но дзё:тю: дзя най ва* (К, стр. 108) «Есть возражение... (Она) не просто служанка» — девочка тетке; *Куру но... Тигау ва* (Ф, стр. 129—131) «(Он) придет... Не так» — сотрудница компании сослуживцам. Эти частицы в исследованном нами материале очень распространены.

В мужском варианте *ва* отсутствует, а *но* встречается лишь в вопросах: *Мукаси, наника атта но*? (Ф, стр. 133) «Раньше что-нибудь случалось?» — сын отцу. Здесь явно присутствует другая, омонимичная частица.

Также бывают случаи расхождения в значении частиц в мужском и женском вариантах. Так, частица *ё* невежлива как мужская и довольно вежлива как женская [26].

---

[25] Уно Ёсиката, Кэйсё:-но мондай, «Гэккан-дзицуё:-гэндай-кокуго», 1978, 1, стр. 13.

[26] Танака Акио, Буммацу, ку:мацу-но хё:гэн то гохо:, сб. «Нихонго, нихон-бунка», 6, Осака, 1977, стр. 57. Данная статья содержит очень подробный анализ мужских и женских частиц.

Употребление частиц связано с использованием форм вежливости. Невежливые по отношению к собеседнику формы в женской речи обычно сопровождаются частицами, прежде всего *но* и *ва*, которые, видимо, смягчают невежливость форм сказуемого: *О-инори-о ситэ ита но. Риитиро:-они:сама-га-нани-о оссятта но... Ватаси, ситтэ иру но ё* (К, стр. 117) «(Я) молилась... Что сказал брат Риитиро?... Я знаю» — хозяйка служанке. В мужской речи такие формы сопровождаются частицами реже.

V. Синтаксические различия.

Здесь основное различие в оформлении составного именного сказуемого. В мужском варианте в его состав почти обязательно входит связка. В женском варианте именное сказуемое с опущенной связкой вполне допустимо и в женской речи встречается почти столь же часто, как и сказуемое со связкой. Можно встретить целые диалоги, где нет связок, например, разговор сестер:

Ёсиясу. *Касэй-дзэмпан-ни цуйтэ ё.*
Эйко. *Сорэ-ни онэ:сан ва тётто нинсики-фусоку ё.*
Ёсиясу. *До йу: ими?*
Эйко. *Сирабаккурэру но ва ямэмасё. Омотэмуки ва томокаку... рэккито сита Риитиро:-сан-но окугата ё* (К, стр. 133).
Ёсиясу. (Поговорим) обо всех домашних делах.
Эйко. Для этого у (тебя), сестра, немножко не хватает познаний.
Ёсиясу. В каком смысле:?
Эйко. Давай не будем делать вид, что не знаем. Во всяком случае... (она) выглядит так, как будто (она) законная жена Риитиро».

Ср. также пример из руководства по теории перевода, приводимый лингвистом Киндаити Харухико, где указывается, как одни и те же английские фразы могут быть переданы по-японски в мужском и женском вариантах, причем в мужском варианте связки не опускаются, а в женском опускаются [27].

Опущение связок обычно сочетается с употреблением модально-экспрессивных частиц (см. приведенный выше диалог).

VI. Лексические различия.

Сфера лексики, где наиболее ярко проявляется различие вариантов, — личные местоимения 1-го и 2-го лица.

Из местоимений 1-го лица лишь наиболее вежливое *ватакуси* распространено в том же значении в обоих вариантах. Остальные местоимения — либо специфически мужские или женские, либо имеют тенденцию превратиться в таковые.

В современном языке широко распространено чисто мужское местоимение *боку*, встречающееся в разнообразных ситуациях: *Кё:, боку ва, эйга-о митэ кита ё* (А2, стр. 136) «Сегодня я видел кинофильм» — жене; *Ёсиёси, боку-га кику* (М, стр. 347) «Ладно, слышу» — товарищу; *Боку но хо:-кара рэнраку-о тоттэ, окусан-ни го-цути итасимасё*: (М, стр. 221) «Я со своей стороны установлю связь и уведомлю (вашу) жену» — человеку более высокого положения. Мужчины, выросшие в послевоенное время, употребляют *боку* во всех ситуациях, не требующих ни подчеркнутой вежливости, ни подчеркнутой невежливости.

Другое распространенное местоимение мужского варианта — *орэ*, употребляемое в разговоре с низшими: *Орэ-но русу-но айда-ни, дарэка коно хэя-ни хаитта кай*? (М, стр. 342) «Пока меня не было, кто-нибудь входил в эту комнату?» — хозяин служанке; *Омаэ-ни ва миэру хадзу да, орэ-ни ва миэнакатта монога* (Я, стр. 106) «Тебе должно было быть видно, а мне (это) не было видно». — отец сыну. Местоимение *васи*, также

[27] Киндаити Харухико, Нихонго, Токио, 1957, стр. 47—48.

употребляемое в разговоре с низшими, используют лишь пожилые мужчины: *Васи-га кимэру вакэ-ни ва иканэ: са* (Я, стр. 83) «Я должен решить» — надсмотрщик рабочим. В мужском варианте встречается и местоимение *дзибун*, свойственное военным: *Дзибун ва рикудзё:-бо:-эйтай-нито:рикуи Хатанака то мо: симасу* (К, стр. 125) «Я — старший лейтенант сухопутных сил самообороны Хатанака».

В женском варианте также есть особые местоимения 1-го лица — *атаси* и *атакуси*. Местоимение *атаси* фамильярно: *Атаси мо иитай ва ё* (Ф, стр. 143) «И я хочу сказать» — сестра брату; *Атаси нэ, гомэн насай* (Ф, стр. 141) «Я..., извини» — сослуживцу. Местоимение *атакуси*, наоборот, вежливо: *Атакуси мо сицурэй итасимасу* (К, стр. 118) «И я прошу меня извинить» — медсестра жене врача; ср. также его употребление переводчицами при переводе официальных речей.

Особое положение занимает местоимение *ватаси*. В женском варианте оно наиболее распространено; оно, как и *боку* в мужском варианте, используется в ситуациях, не требующих ни подчеркнутой вежливости, ни подчеркнутой невежливости; японские исследователи выделяют *боку* и *ватаси* как наиболее типичные «мужское» и «женское» местоимения [28]. Это проявляется даже таким неожиданным образом: в японских зоопарках в надписях на клетках пол животного обозначается через употребление *боку* или *ватаси* (текст как бы подается от имени животного): *Ватаси ва нихон-но ому-но ё: ни о-сябэри ва симасэн* «Я не говорю, как японские попугаи» (надпись на клетке с самкой попугая). В то же время анализ диалогов современных художественных текстов свидетельствует о том, что если в мужской речи *боку* значительно преобладает над другими местоимениями 2-го лица, то в женской речи наряду с *ватаси* частотны *ватакуси* и *атаси* [29]. Местоимение *ватаси* употребляют и мужчины, но обычно лишь пожилые. В речи молодых мужчин оно вытеснено местоимением *боку*.

В отношении местоимений 2-го лица различия менее четки. При обращении к высшему и мужчины и женщины говорят о нем только в 3-м лице. Местоимение *аната* в мужском варианте языка указывает на отношение к собеседнику как к равному чужому (так можно обратиться, скажем, к незнакомому человеку того же возраста), в женском варианте его значение шире: оно может употребляться и к низшим: *Аната-но йу: кото мо вакару* (К, стр. 124) «Мне понятно и то, что ты говоришь» — сестра младшему брату. В последнее время отмечается, что вежливый характер этого местоимения стал теряться и оно превращается в женское фамильярное [30]. Частотность его в мужской речи теперь значительно ниже, чем в женской [31].

Специфически мужским является местоимение *кими*. Оно фамильярно, употребляется в отношении равных своих и низших: *Кими-но укэторикката сидай дэ ва нэ* (А, стр. 166) «(Хочу знать), что ты решила» — жене; *Татта има, кими-ни дэнва-га атта* (М, стр. 310) «Только что тебе звонили» — сослуживцу. В речи молодых мужчин это наиболее частое местоимение [32]. В отношении низших мужчины и женщины употребляют более грубое местоимение *омаэ*: *Омаэ ка* (М, стр. 345) «(Это) ты?» — хозяин слуге; *Омаэ-но сэкинин дзя най* (К, стр. 117) «Не твоя ответствен-

[28] Гэндай-кэйго-но сёдайтэн то кэйго-но сё:рай (беседа), «Кэйго-ко:дза», 6, Токио, 1973, стр. 234.
[29] Сиба Мотоити, Гэндайго-но дзинсё:-даймэйси-ни цуйтэ, «Кэйрё:-кокугогаку», 70, 1974.
[30] Гэндай-кэйго-но сёдайтэн то кэйго-но сё:рай, стр. 238.
[31] Сиба Мотоити, указ. соч., стр. 33.
[32] Там же, стр. 35.

ность» — старший брат младшему; *Омаэ ва Тайсукэ-сан-ни икарэтэ симау* (И, I, стр. 110—111) «У тебя (муж) Тайсукэ-сан ушел (в армию)» — мать дочери. По сути это местоимение занимает одинаковое место в системе в обоих вариантах, но число ситуаций, в которых женщины могут его употребить, не так велико. Только в мужском варианте существует очень грубое местоимение *кисама*: *Кисама-но кэн ва дарэ-кара моратта н да* (И, I, стр. 145) «(Ты) от кого получил свой штык?» — фельдфебель солдату.

Местоимение *анта* существует в обеих подсистемах, по значению оно близко к *кими*: *Анта то ситя, се*: *бай да кара, со*: *иитай даро*: *кэдо* (А, стр. 222) «Ты так говоришь потому, что у тебя такая профессия» — мужчина знакомому; *Атаси-га суки да кара... анта мутя-о* (Я, стр. 88) «Я ведь люблю (тебя), ... а ты (говоришь) чушь» — невеста жениху. В женской речи *анта* распространеннее, чем в мужской, ввиду отсутствия в женском варианте *кими*. Отметим, что сокращенные по происхождению местоимения (*атакуси*, *атаси*, *ватаси*, *анта*) более характерны для женского варианта, здесь проявляется закономерность: большее число сокращений в женском варианте.

Для других слоев лексики различия не так велики, хотя существуют специфически женские слова типа *огуси* «волосы», *охия* «холодная вода», *омия* «подарок» [33]. Ряд слов различается положением с точки зрения центра и периферии, например, *онака* «живот» употребляют мужчины и женщины, но последние значительно чаще.

Часто отмечают, что «женщины в японском обществе традиционно говорят о других вещах, нежели мужчины, или, как минимум, они говорят разное, даже когда они говорят о том же предмете» [34]. В речи мужчин обычно главную роль играет содержание высказывания, а в речи женщин часто (но, конечно, не всегда) на первый план выступает эмоционально экспрессивная сторона. Интересны замечания, высказанные писательницей Кора Румико [35]. Она пишет, что для японских женщин характерна привычка основное внимание обращать на интонацию высказывания и модально-экспрессивные частицы, поэтому речь многих женщин бедна лексикой; когда же женщинам надо излагать что-то позитивное, это вызывает у них трудности, которые испытывала сама Кора Румико в студенческие годы. Она же приводит такой факт: во время войны девочки, эвакуированные из Токио в район Ниигата, могли общаться с местными девочками, усвоив из диалектных черт лишь интонацию и частицы. Если можно так выразиться, мужская речь более денотативна, а женская — более коннотативна.

Такие особенности речи, конечно, связаны с положением мужчин и женщин в обществе. Хотя по конституции 1947 г. женщины формально уравнены в правах с мужчинами, на деле сохранилось определенное социальное неравенство женщин. Кроме того, мужчины, как правило, вступают в большее количество социальных связей. Эта экстралингвистическая ситуация наложила отпечаток не только на различия в речи мужчин и женщин, но и на различия вариантов языка.

Однако не всегда можно установить прямые связи между этими различиями и общественными явлениями. Помимо этого, язык зачастую продолжает сохранять отражение тех общественных явлений, которые уже исчезли из жизни данного языкового коллектива. Например, трудно от-

---

[33] Об этих словах см.: Имаидзуми Тадаёси, указ. соч., стр. 156; Гэндайно ханасиката то бунсё:, I, стр. 256. См. также специальный словарь женской лексики (включая устаревшую): Дзёсэйго-дзитэн, составил Масимо Сабуро:, Токио, 1967.

[34] R. A. Miller, указ. соч., стр. 289.

[35] Ко:ра Румико, Оннакотоба-но гоби то гокан, «Гэнго-сэйкацу», 1971, 11 (242), стр. 74—75.

граничить особенности женского варианта, связанные с положением женщины в современном японском обществе, от тех, которые обусловлены традицией, предписывающей женщине говорить более вежливо и изысканно, чем мужчина. Эта традиция остается живучей и сейчас, о чем пишут многие [36]; об этом свидетельствуют и социологические опросы [37].

Существующее или существовавшее неравноправное положение женщины в первую очередь нашло отражение в употреблении женщинами более вежливых форм. В целом сохраняется положение, о котором более сорока лет назад писал Н. И. Конрад: «Муж в обращении к жене употребляет те слова, обороты и конструкции речи, которые выражают в общем отношение хозяина к служанке; и наоборот, речь жены при обращении к мужу будет носить отпечаток отношения «низших» к «высшим» [38].

Вот как, например, разговаривают муж и жена примерно одинакового возраста и происхождения:

Жена: *Ётэй-до:ри-ни о-каэри-ни нарэмасу*?
Муж: *Каэру* (М, стр. 276).
«Жена: Приедете, как предполагали?
Муж: Приеду».

Муж и жена употребляют один глагол, но жена передает по отношению к мужу двойную вежливость: как к собеседнику (суффиксом *-мас-*) и как к лицу, о действии которого говорится (аналитической формой со вспомогательным глаголом *нару*). Муж говорит с женой, как с низшей, без всяких показателей вежливости. Вообще, при прочих равных условиях, как правило, женщина говорит с мужчиной вежливее, чем мужчина с женщиной.

Тот факт, что мужчины вступают в большее количество социальных связей, проявляется в большем разнообразии форм вежливости, употребляемых мужчинами. У мужчин эти формы сильно меняются в зависимости от ситуаций, женщины говорят однообразнее [39].

В настоящее время в японском языке стала наблюдаться тенденция к стиранию различий между мужским и женским вариантами, причем в обоих направлениях: в женскую речь проникают мужские элементы, в мужскую — женские. Особенно это проявляется у молодежи [40].

Из элементов мужского варианта языка в женской речи примерно с начала 60-х гг. стал появляться суффикс *-кун* [41]. Он встречается при обращении молодых работающих или учащихся женщин к товарищам по работе или учебе: *Даттара, Такаки-кун-то хаяку кэккон-суря ий но ё* (Х, стр. 156) «(Тебе) бы лучше поскорее выйти замуж за Такаки-кун» — девушка-телефонистка о сослуживце. Сближается женская речь с мужской и в плане вежливости, в том числе и при обращении к мужу [42].

---

[36] Гэндай-но ханасиката то бунсё:, I, стр. 256; Дзюгаку Акико, указ. соч.; Имаидзуми Тадаёси, указ. соч., стр. 156; Сакума Канаэ, указ. соч., стр. 201.

[37] Танака Акио, указ. соч., стр. 25—26.

[38] Н. И. Конрад, Синтаксис японского национального литературного языка, М., 1937, стр. 22.

[39] Кэйго то кэйго-исики, стр. 376; Сиба Мотоити, указ. соч., стр. 37.

[40] Гэндай-но ханасиката то бунсё:, I, стр. 257; Икэгами Тэйдзо:, Гэндай кэйго-но гайкэн, «Кэйго-ко:дза», 6, Токио, 1973, стр. 16; Гэндай-кэйго-но сёдайтэн то кэйго-но сё:рай (беседа), там же, стр. 238—239; О:иси Хацутаро:, Тадасий кэйго, Токио, 1968, стр. 178—179; Киндаити Харухико, Син-нихонго-рон, Токио, 1966, стр. 211—212.

[41] О:боси Фумико, Кими, боку, кун, сан, «Гэккан-дзицуё:-гэндай-кокуго», 1978, 2, стр. 12—13; Уно Ёсиката, Кэйсё:-но мондай, там же, 1977, 3, стр. 12—15.

[42] Лингвист Номото Кикуо сравнил употребление форм вежливости в речи жен к мужьям в написанных в 1916, 1927 и 1948 гг. произведениях писателя Сига Наоя ив текстах нашего времени. Заметно постепенное снижение уровня вежливости, в то же

Из особенностей женского варианта в мужскую речь проникает лишь префикс *о-* как выражение вежливости к собеседнику. Японские лингвисты предостерегают против употребления *о-* мужчинами в таком значении, но сам факт этих предостережений свидетельствует о распространенности такого употребления. Эту распространенность связывают с влиянием речи воспитательниц детских садов и женщин-учителей [43].

Существенные сдвиги происходят и в языковом сознании. Социологические опросы показывают, что молодежь обычно уже не считает, что женщины должны употреблять более вежливые формы: в пользу этого высказалось 66% испытуемых старше 50 лет и только 38,5% — моложе 30 лет [44]. Отмечается и появление женщин, специально избегающих употребления специфических женских форм, поскольку таковые, по их мнению, противоречат женскому равноправию [45].

В связи с более активным участием женщин в общественной жизни изменяется и содержание их высказываний. В упомянутой статье Кора Румико сказано: «Женщины выскальзывают из мира частиц, думают и о содержании сообщения» [46]. Все изменения, указанные выше, проявляются прежде всего в речи работающих и учащихся женщин.

Многие различия мужской и женской речи продолжают строго соблюдаться. Особенно четкие различия сохраняются в отношении модально-экспрессивных частиц и местоимений 1-го лица, в последнем случае они даже усиливаются.

Таким образом, японский язык представляет собой пример языка, функционирующего в условиях развитого капиталистического общества и в то же время сохраняющего существенные различия между подсистемами, используемыми носителями языка в зависимости от их пола. Поэтому изучение японского языка в этом плане, как нам представляется, имеет несомненный интерес.

время употребление модально-экспрессивных частиц не изменилось. См.: Номото Кикуо, Уцукусий кэйго, Токио, 1972, стр. 30—34.

[43] Хинаго Таро:, Иваюру ё:тиэнкотоба, «Гэнго-сэйкацу», 1961, 4 (115), стр. 152—156.

[44] Танака Акио, указ. соч., стр. 26.

[45] Уно Ёсиката, Сякай-сэйкацу то кэйго, «Гэккан-дзицуё:-гэндай-кокуго», 1977, 11, стр. 17; 1977, 12, стр. 16.

[46] Ко:ра Румико, указ. соч., стр. 75.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1980

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

ТАРЛАНОВ З. К.

К ВОПРОСУ ОБ ИЗОМОРФИЗМЕ ГЛАГОЛЬНО-ИМЕННЫХ ФОРМАНТОВ В ДАГЕСТАНСКИХ ЯЗЫКАХ

Исследователи, занимавшиеся описанием морфологического строя дагестанских языков, давно обратили внимание на тот достаточно очевидный факт, что в этих языках, в каждом, правда, с разной степенью регулярности, падежные форманты имен воспроизводятся в виде глагольных префиксов, или иными словами — многие префиксы глаголов изоморфны соответствующим словоизменительным формам существительных. Такие глагольные префиксы, получившие в кавказоведческой лингвистической литературе название превербов, отмечаются во всех или почти во всех дагестанских языках (правда, согласно части лингвистической литературы, превербы не зарегистрированы в аварском и лакском языках, что представляется несколько неожиданным, если исходить из морфологического типа этих языков). Они в той или иной мере составляют принадлежность и других языков кавказского ареала, например, абхазского [1], грузинского [2] и др. [3].

Таким образом, глагольные приставки с локативным значением, коррелятивно соотнесенные с соответствующими местными падежами, обнаруживаются в разных группах кавказских языков. Вместе с тем роль и место их в словообразовании и (или) формообразовании глагола как факта грамматической системы каждой группы языков и каждого отдельного языка либо не выявлены, либо выявлены недостаточно. В этом отношении показательно то, что, характеризуя отличия восточнокавказских языков от западнокавказских и южнокавказских, ссылаются, в частности, на бытование глагольных приставок с локативным значением как на одну из морфологических особенностей языков восточнокавказской группы [4], хотя, как уже указывалось, те же форманты не чужды и языкам двух других групп.

Актуальность проблемы, связанной с инвентаризацией локативных префиксов глагола, выходит, однако, далеко за пределы морфологии собственно глагола — как описательной, так и исторической. Дело в том, что во многих кавказских языках локативные префиксы глагола последовательно соответствуют падежным аффиксам именных классов слов. Это значит, что изучение способов, типов и семантики глагольной префиксации мо-

---

[1] К. В. Ломтатидзе. К структуре сложносоставных глагольных основ в абхазском языке, ИКЯ, IV, Тбилиси, 1953.

[2] А. Г. Шанидзе, Основы грузинской грамматики, 1 — Морфология, Тбилиси, 1953 (на груз. яз.).

[3] См.: А. А. Магометов, Табасаранский язык (Исследование и тексты), Тбилиси, 1965, стр. 216—218.

[4] Г. А. Климов, Кавказские языки, М., 1965, стр. 55.

жет быть опорой при выявлении и описании падежной системы языка в синхроническом и диахроническом планах (что и будет показано далее), и наоборот: данные именного склонения и его истории с несомненной пользой могут быть привлечены при квалификации фактов морфологии и даже лексического состава глагола в его историческом движении. Таков, по-видимому, смысл замечания одного из авторитетных исследователей дагестанских языков Е. А. Бокарева, высказанного им в 50-х годах в связи с интересовавшим его частным морфологическим вопросом о принципах выявления падежей: «Для выяснения частного вопроса о падежах надо глубоко проникнуть в структурное своеобразие всей грамматической системы (разрядка наша.— *Т. З.*) языка» [5]. И с этим трудно не согласиться.

Настоящая статья преследует скромную цель — рассмотреть явление изоморфизма глагольно-именных формантов на материале лезгинской группы, точнее — восточнолезгинской подгруппы дагестанских языков.

Изоморфизм глагольно-именных формантов в восточнолезгинских языках обращал на себя внимание исследователей неоднократно. Так, о повторении падежных суффиксов перед глаголами для выражения локативных значений в табасаранском языке писали А. Дирр, К. Боуда, Л. И. Жирков, А. А. Магометов [6] и др. То же явление в агульском языке отмечали А. Дирр, Р. Шаумян, А. А. Магометов [7] и др.; в собственно лезгинском дело обстоит аналогично. Общий недостаток при рассмотрении его в предшествующей традиции сводится, на наш взгляд, к следующему: говоря о глагольных приставках с локативным значением, исследователи в лучшем случае удовлетворялись указанием на то, что они (приставки) фонетически и функционально тождественны или почти тождественны падежным формам имен; факт изоморфности глагольных приставок соответствующим именным формантам не получал надлежащей оценки ни с точки зрения динамики именного склонения, ни с точки зрения тенденций в развитии глагольной системы в соответствующих языках, а также в группах языков.

Соотношение между местными падежными формами имен и глагольными приставками с локативным значением может быть представлено по данным агульского языка следующим образом (см. табл. 1).

Аналогичное соотношение тех же формантов обнаруживается в табасаранском [8] и в несколько размытом виде — в лезгинском [9] языках.

Из таблицы очевидно, что все эссивы имеют общую часть *dara-*, совпадающую в своем звуковом оформлении с формой активного (эргативного) падежа. Отсюда следует, что в основу образования эссивов в лезгинских языках, как и в других дагестанских, например, в аварском [10],

[5] Е. А. Бокарев, О категории падежа (Применительно к дагестанским языкам), ВЯ, 1954, 1, стр. 46.

[6] А. М. Дирр, Грамматический очерк табасаранского языка, «Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа», 35, Тифлис, 1905; K. Bouda, Beiträge zu kaukasischen und sibirischen Sprachwissenschaft, 3 — Das Tabassaranische, Leipzig, 1939; Л. И. Жирков, Табасаранский язык, М.— Л., 1948; А. А. Магометов, Превербы в табасаранском языке (сравнительно с превербами в даргинском и агульском языках), ИКЯ, VIII, Тбилиси, 1956; его же, Табасаранский язык, стр. 218—224.

[7] А. М. Дирр, Агульский язык, «Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа», 37, Тифлис, 1907; Р. Шаумян, Грамматический очерк агульского языка. С текстами и словарем, М.— Л., 1941; А. А. Магометов, Агульский язык (Исследование и тексты), Тбилиси, 1970.

[8] См. А. А. Магометов, Табасаранский язык, стр. 218—219.

[9] Б. Б. Талибов, О некоторых окаменелых и полуокаменелых элементах в структуре лезгинского языка, в кн.: «Вопросы грамматики. Сборник статей к 75-летию акад. И. И. Мещанинова», М.— Л., 1960.

[10] См.: Е. А. Бокарев, указ. соч., стр. 41.

Таблица 1

Наименование местного падежа и его форма от слова *dar* «лес»	Соответствующая падежной форме глагольная приставка (в контексте)
Adhaessivus — *daraf* (*w*)	*Daraw(-f) fačaħas* «Слегка углубиться в лес»
Adessivus — *darah*	*Darah ħačaħas* «Подойти к лесу»
Postessivus — *darax̣*	*Darax̣ x̣ačaħas* «Зайти за лес»
Subessivus — *darak'*	*Darak' ke'γaħas* «Подниматься в лес по наклонной плоскости»
Superessivus — *daral*	*Daral alγaħas* «Подняться на поверхность леса»
Obessivus — *daraq*	*Daraq qeγaħas* «Подняться низом леса»
Inessivus — *dara*	*Nandi a?* — *Dara* «Где? — В лесу»
Diffusivus — *daraħ*	*Daraħ ħačawas* «Входить в лес»

ложится активный (эргативный) падеж. Падежные форманты эссивов регулярно и последовательно воспроизводятся в рамках глагольного словосочетания в виде глагольных приставок, ср.: таб. *Uzu ustulix̣ x̣iwnuza daftar*, аг. *Zun ustulix̣ x̣ix'uni kitab* «Я положил книгу за стол». В собственно лезгинском языке в подобных случаях глагол, управляющий местным падежом, потерял свой прежний, маркированный характер и приобрел более общую семантику, индифферентную по отношению к детализированным значениям местных падежей. Тем самым в лезгинском изоморфизм глагольно-именных формантов явно носит на себе печать реликтовости.

В тех же языках, в которых рассматриваемое явление выступает как живой принцип грамматической системы, обнаруживается очень важная опора для решения, в частности, одного из сложнейших вопросов именной морфологии — вопроса о количестве падежей в языке.

Трудности, связанные с необходимостью выявления и описания падежной системы в том или ином языке, общепризнанны [11]. Количество их возрастает при изучении таких языков, как дагестанские, и обусловливается это тем, что определение падежа нередко упирается здесь в вопрос об отграничении падежного окончания от послелога, с которым первое связано историко-генетически,— с одной стороны, и от аффикса наречия — с другой. Отсюда ясно, что поиски принципов адекватного описания падежных систем в языках различного морфологического строя должны быть продолжены.

При обращении к данным лезгинских языков напрашивается вывод, что в качестве одного из надежных критериев выявления падежей в этих языках может быть использован принцип изоморфизма, пронизывающий в них морфологический строй имени и глагола. Последовательность и регулярность внешне-звуковых и семантических соответствий между окончаниями местных падежей и приставками с локативными значениями в глаголах, с которыми сочетаются падежные формы, дают право сформулировать следующий принцип выявления местных падежей: именную форму следует считать формой соответствующего местного падежа, а не сочетанием существительного с послелогом или наречием, если аффикс формальной принадлежности имени дублируется, воспроизводится в виде локативной приставки глагола; если же тот или иной формант, следующий за именем, не воспроизводится в виде глагольной приставки, то перед нами не местный падеж, а сочетание имени с послелогом или наречие, ср.: аг. *ustulil alix'* «положи на стул», *ustuliq qix'* «положи под стул», *ustulix̣ x̣ix'* «положи за стул» и т. д. Здесь форманты *-l*, *-q*, *-x̣* представляют собой

[11] См. обзор литературы на эту тему: Е. А. Бокарев, указ. соч., стр. 31—40.

окончания соответствующих местных падежей, поскольку, выражая те же значения, повторяются в глаголах, бинарно связанных с падежами. Тот же принцип не дает нам основания соглашаться с исследователями, выделявшими в лезгинских языках так называемые комитативный, коллативный и компаративный падежи [12]: они изоморфно не соотнесены с соответствующими приставочными глаголами, что было бы невозможно, если бы речь шла о падежах. В самом деле, что собою представляют формы, квалифицируемые как комитативный, коллативный и компаративный падежи? Для выражения комитативности во всех рассматриваемых языках употребляется сочетание, включающее в себя деепричастие, ср.: аг. *Ge zaχ χari maktabi arini*, лезг. *Am zaχ galaz mektebdiz atanaj*, таб. *Dumu izuχǯi mektebǯiz γafnu* «Он со мной пришел в школу». В приведенных примерах значение совместности реализуется конструкцией, состоящей из Postessivus'а и деепричастия, отчетливо выступающей в агульском и лезгинском языках, но подвергшейся некоторому «сжатию», деформации в табасаранском. Однако, как бы ни рассматривалась эта конструкция в современных лезгинских языках, она не является единственным способом выражения совместности: в той же функции употребляются конструкции, лишенные форм местных падежей, ср.: аг. *Wun giχ χari šaw*, *Wun ge χari šaw*; лезг. *Wun adaχ galaz ša*, *Wun am galaz ša* «Ты иди с ним» и т. д. Каждое из данных высказываний реализует значение совместности, и в этом все они тождественны. Вместе с тем они и отличаются друг от друга, поразному представляя общую идею совместности: в построении типа *Wun giχ χari šaw* адресат речи (*wun*) пассивен в совершении совместного действия, в построении же *Wun ge χari šaw* (лезг. *Wun am galaz ša*) наделенным инициативой оказывается именно адресат речи, в то время как третьему лицу (*ge*, *am*) отводится роль пассивного участника в совместном действии. Таким образом, актуализируемое в речи отношение совместности не всегда равно самому себе по своему реально-грамматическому содержанию, а это последнее зависит от грамматических способов выражения совместности. При этом постоянным компонентом в конструкциях со значением совместности является деепричастие. Что же касается особой падежной формы, с которой связывалось бы выражение комитативности, то ее не существует, о чем свидетельствует не только отсутствие специальной глагольно-именной конструкции с изоморфными формантами, но и то, что выражение совместности не знает закрепленности за тем или иным падежом. Более того, совместность может быть представлена и такими конструкциями, в которых нет вообще форм косвенных падежей, ср.: аг. *Gur χari wari uj* «Они шли вместе». Аналогично обстоит дело и с так называемыми коллативной и компаративной формами, также не образующими падежей.

Итак, в лезгинских языках определение и описание местных падежей могут быть проведены с опорой на изоморфизм глагольно-именных формантов, поскольку в них выражение местных значений не сосредоточивается исключительно в сфере категории падежа существительного, а распределяется между именными (падежными) формами и коррелятивными им формами глагола. Тем самым одно и то же местное значение репрезентируется как бы дважды: в падежной форме и соответствующем ему приставочном глаголе. Этот бинаризм проявляется настолько ясно и последовательно, что игнорировать его не только нецелесообразно, но и невозможно в тех языках, в которых он представляет собой признак живой морфологической системы. Так обстоит дело в агульском и табасаранском

[12] Ср., например: Р. Шаумян, указ. соч., стр. 43—44. См. также применительно к табасаранскому языку: Е. А. Бокарев, указ. соч., стр. 46.

языках. В собственно лезгинском он заметно нарушен и переживает стадию отмирания.

Если опираться на те из лезгинских языков, в которых изоморфизм глагольно-именных формантов — факт действующей языковой системы, и считать его в прошлом чертой грамматического строя всех лезгинских языков (в чем едва ли можно сомневаться), то выходит, что в лезгинских языках изначально выделяется восемь эссивов, образующихся на базе эргативного падежа, а эссивы в свою очередь ложатся в основу аблативов и лативов (см. табл. 2 по данным агульского языка):

Таблица 2

Основные падежи	Эссивы	Аблативы
Номинат.— *šahur* «город»		
Эргат.— *šahurdi* →	*šahurdif* (*-w*) *šahurdih* *šahurdix̣* *šahurdik'* *šahurdil* *šahurdi* *šahurdiħ* *šahurdiq*	+ *-as* (*-es*)
Генит.— *šahurdin*		
Дат.— *šahurdis*		

То, что эссивы являются падежами, не вызывает сомнений: каждый из них характеризуется своей формой и соответствующим значением. Что же касается следующего звена местных падежей — аблативов, то решить вопрос об их принадлежности к падежной системе не так просто. Дело в том, что все аблативы имеют одно и то же окончание, например, в аг.— *-as* (*-es*), в лезг.— *-aj* (*-'aj*), в таб.— *-an* и т. д., которое присоединяется к форме соответствующего эссива, ср.: аг. *šahurdih* — *šahurdihas* «около города (спереди) — от города (удалиться)», *šahurdix̣* — *šahurdix̣as* «за городом — из-за города» и т. д. И функционально аблативы довольно однотипны, обозначая отношение действия к предмету с точки зрения начала его, хотя каждый из них локализует это отношение по-своему, указывая конкретно на исходную точку удаления относительно пространственных характеристик предмета. Получается, что однотипное отношение представляется одним и тем же формантом. Можно ли в этом случае усмотреть падеж и даже ряд падежей? Насколько правомерно в принципе выделение так называемых аблативов? Решая аналогичный вопрос применительно к аварскому языку, Е. А. Бокарев писал: «... каждый из этих (местных.— *Т. З.*) падежей является членом единой внутренне связанной, объективно данной в фактах языка системы, и этим подтверждается истинность всех этих падежей. Признав одни из этих форм падежами, мы неизбежно должны признать падежами и другие» [13]. Однако в принципе закономерная ссылка на систему языка практически мало что здесь проясняет. Что же касается лезгинских языков, то в них системно обусловленное определение аблативов как самостоятельных падежей включает в себя принцип изоморфизма, проявляющийся, как уже говорилось, в параллелизме между падежными окончаниями и глагольными приставками. Иначе говоря, в лезгинских языках определение падежного статуса аблативов опирается на те же формально-языковые основания, по которым выделяются и эссивы, ср., например, в аг. Adessivus — *tih hix'* «положи перед ним», Abablati-

[13] Е. А. Бокарев, указ. соч., стр. 42.

vus—*tihas hatiw* «убери у него», Superessivus — *til alix'* «наложи на него», *tilas alatiw* «сними с него» и под. Как явствует из приведенных иллюстраций, аблативы соотносительны с эссивами и вместе с тем противопоставлены им. Эссивные формы полностью включаются в аблативы в качестве производящих основ, к которым присоединяются аффиксы аблативов, противопоставляющие их соответствующим эссивам как материально, так и по своему содержанию. Аффиксы аблативов также изоморфны соответствующим приставкам глаголов, с которыми они сочетаются. При этом глагольные приставки могут отличаться от аналогичных приставок, сочетающихся с эссивами (в таких случаях префиксальные части различны по огласовке), либо совпадать с ними. Однако в случаях неразличения глагольных приставок по эссивам и аблативам в соответствии с типом падежа модифицируется следующая за приставкой часть глагольной основы, ср.: аг. *xalaq qe — xalaqes qetuç* «находится под домом — уйди из-под дома»; лезг. *adal alčud — adalaj alud* «накинь на него — сними (стащи) с него». Этот факт позволяет заключить, что в рассматриваемых языках последовательно агглютинативно строятся лишь падежные формы имен. Что же касается глагольных форм, то они создаются главным образом посредством внутреннего модифицирования основ (чередования гласных, согласных; привлечения суплетивизмов и т. д.), а не за счет нанизывания друг на друга тех или иных формантов.

Таким образом, аблативы бедны собственно именными морфологическими средствами оформления их как падежей. Но регулярная парадигматическая и деривационная соотнесенность их с соответствующими эссивами и — самое главное — наличие дифференцированных глагольных приставок, сочетающихся с теми или иными конкретными значениями, составляющими аблативы, дают право говорить о существовании особых, аблативных падежей. Здесь следует также заметить еще одно очень важное обстоятельство: из непреложного факта материальной и функциональной тождественности падежных формантов имен с соответствующими глагольными приставками следует, что категория местных падежей в рассматриваемых языках семантически тесно связана с глаголом. Реальность того или иного местного падежа выражается не только в самостоятельном падежном форманте, репрезентирующем соответствующее значение, но и определенным глагольным префиксом, дублирующим именной формант как в плане выражения, так и в плане содержания. Отсюда ясно, что синтаксическая связь между глаголами и формами местных падежей в этих языках не укладывается в рамки обычного управления, характерного, например, для индоевропейских языков [14], поскольку здесь трудно доказать, что глагол управляет падежом. Скорее всего именная форма координируется с глагольной для выражения одного и того же значения. Так, в аг. Subablativ *üx'üqes* «из-под снега» может сочетаться лишь с глаголом, имеющим в своем составе префикс *qe-*, и наоборот: глагол, например, *qetiwas* «вынуть, вытащить, освободить из-под чего-либо» предполагает Subablativ (*üx'üqes*). Иными словами: именная и глагольная формы в восточнолезгинских языках взаимно поддерживают друг друга, что может быть истолковано как выражение синкретического, глагольно-именного характера средств выражения локативной семантики в этих языках.

[14] Соответствие между префиксальным глаголом и предлогом, служащим для модификации и уточнения падежных значений, не чуждо и для индоевропейских языков, ср. в русском: «...глагол *въехать* требует непременно предлога *в*, глагол *отказаться* — предлога *от*, глагол *подойти* — предлога *под* или *к* и т. д.» (А. М. Пешковский, Русский синтаксис в научном освещении, 7-е изд., М., 1956, стр. 285). Однако подобного рода факты в русском языке составляют скорее исключение, чем правило. Как бы то ни было, то, что глагол в русском управляет падежом, не подлежит сомнению.

Теперь обратимся к так называемым лативам, которые традиционно также причисляются к падежам в разных дагестанских языках. Лативы обозначают, как известно, направление действия и образуются в восточнолезгинских языках при помощи форманта *-di* или его фонетических вариантов от форм эссивов, ср.: аг. *hejwan xalariqdi ušunaj*, лезг. *balḳan ḳwaleriχdi ʃena*, таб. *hejwan γušnu xularin bagahinǯi* «лошадь пошла к дому». Все лативы в тех языках, в которых они сохраняют регулярную деривационную соотнесенность с эссивами (именно так обстоит дело, например, в агульском), образуются посредством единственного форманта, присоединяемого к соответствующей эссивной основе. Следовательно, все лативы, на базе какого бы эссива они ни возникали, представляют одно и то же значение — «направление действия к кому-, чему-либо», и во всех случаях используется одно и то же грамматическое средство — *-di*. Выходит, что перед нами ситуация, когда одному значению соответствует одна форма, причем и значение, и форма сочетаются со всеми эссивами, независимо от их конкретной семантики. Можно ли в таком случае говорить о падежах? Не является ли то, что обычно квалифицируется как лативная падежная форма, послеложной конструкцией или отыменным наречием? Отвечая на этот вопрос, Е. А. Бокарев писал: «Все местные падежи так тесно связаны между собой регулярностью своего образования, дают такую четкую систему, что трудно их рассматривать отдельно, независимо друг от друга. Их сугубая парадигматичность как бы делает невозможным рассмотрение одних из них в качестве падежей, а других — в качестве послеложных конструкций» [15]. Правомерность такого решения проблемы едва ли может быть подвергнута сомнению. Вместе с тем, его нельзя признать единственно правильным. Более того, оно звучит несколько декларативно и потому неубедительно в силу своей внеисторичности: материал современных лезгинских языков не дает оснований для столь категорических суждений, хотя применительно к истории тех же языков с ними, может быть, можно и согласиться. Регулярность соотнесенности каких-то грамматических фактов между собою или сводимость их к одной парадигме, их «парадигматичность» не обязательно должны свидетельствовать о тождестве их грамматической структуры. Из того, что формант *-di* в лезгинских языках способен сочетаться с каждым из серии эссивных падежей, едва ли можно заключить, что форма с *-di* — тоже падеж. Скорее всего это говорит о валентности, сочетательных возможностях форматива *-di*, о его индифферентности по отношению к падежу. Весьма существенно и то, что принцип изоморфизма, которым предопределяется координация именных и глагольных форм, бинарно выражающих *одно* и то же значение, квалифицируемое как падежное, не простирается на так называемые лативы. Это опять-таки наталкивает на мысль, что выделение лативов как особых падежей не подтверждается фактами современных восточнолезгинских языков, тем самым оказывается грамматической фикцией. Наиболее последовательно и в парадигматическом аспекте полно соотнесенность лативов с собственно местными падежами среди рассматриваемых языков прослеживается в агульском, данные которого, судя по его диалектам, также отражают уже процесс десемантизации морфологического элемента *-di* с направительным значением и распределения его функций между падежными суффиксами эссивов. Особенно продвинулся в этом отношении буркиханский говор, в котором, во-первых, формы с *-di* вытеснены эссивами, получившими тем самым более обобщенные значения, вернее — полифункциональность, благодаря чему первые утрачиваются; во-вторых, если формы, генетически восходящие к лативам,

[15] Е. А. Бокарев, указ. соч., стр. 45.

и сохраняются, то они получают совершенно иное функционально-семантическое осмысление [так возникает инструментальный падеж, ср.: *gaṭil* «веревка» — *gaṭili* (эрг.) — *gaṭilil* (Superessivus) — *gaṭilildi* (Instrumentalis) [16] или наречия времени, причины и т. д., в которые они исторически трансформируются].

Итак, все падежи в восточнолезгинских языках могут быть выделены в две группы: 1) сравнительно многочисленная группа местных падежей и 2) неместные падежи, которые очень неудачно называются иногда общеграмматическими. Грамматический статус и количество неместных падежей обычно споров по существу не вызывает. Что же касается местных падежей, их грамматической природы, количества в разных языках, то здесь пока много неясного, произвольного, далекого от научного осмысления [17]. Одни (например, Л. Ельмслев — применительно к табасаранскому), выявляя количество местных падежей, исходят из общих идей, долженствующих якобы быть реализованными средствами языка, другие (например, Е. А. Бокарев) — из парадигматической (включая и деривационную) корреляции определенных форм, трактуя их на этом основании как падежные; третьи все, что служит для реализации обстоятельственного значения посредством тех или иных формативов, склонны наделить статусом падежа, совершенно игнорируя требования и принципы синхронического и диахронического языкознания, в результате чего ока, зываются неясными границы между падежной системой, с одной стороны и послеложными конструкциями, наречиями — с другой (см., например, работы П. К. Услара, А. М. Дирра, У. А. Мейлановой, Б. Г.-К. Ханмагомедова и др.). Хотя семантическая и деривационно-парадигматическая соотнесенность послеложных конструкций и наречий с местными падежами очевидна, поскольку и те и другие выражают одни и те же обстоятельственные значения, тем не менее это не дает оснований для приписывания первым статуса падежа, для смешения непадежных форм с падежными. Принципиальный недостаток существующих трактовок местных падежей в восточнолезгинских языках состоит, в частности, в том, что они не учитывают возможности трансформации падежной формы в наречие, грамматической омонимии между разными классами слов, основополагающих различий между падежными и послеложными конструкциями на фоне исторически обозначенных тенденций развития языка. Поэтому так называемый системный подход к изучению падежей, который в качестве программы провозглашается многими исследователями, остается просто нереализованным.

Системный подход к описанию и интерпретации местных падежей в восточнолезгинских языках должен включать в себя, как представляется, возможно полный учет принципа изоморфизма между именем и глаголом. Суть его состоит в том, что пространственное значение, реализуемое падежной формой имени, создает дополнительное средство своего выражения в виде глагольного префикса, внешне и по содержанию совпадающего с падежным аффиксом. Тем самым одно и то же пространственное значение выражается как бы дважды — падежом существительного и приставкой координирующегося с ним глагола. Следовательно, о местном падеже можно говорить лишь в той мере, в какой он поддерживается соответствующими приставочными глаголами с местным значением. Чем дальше от нашего времени, тем строже и последовательнее проявление этой законо-

---

[16] Этот падеж существует и в других говорах; см.: Р. Шаумян, указ. соч., стр. 43.

[17] См., например: У. А. Мейланова, Морфологическая и синтаксическая характеристика падежей лезгинского языка, Махачкала, 1960.

мерности. Из современных восточнолезгинских языков она полностью подтверждается агульским.

Если взглянуть на местные падежи восточнолезгинских языков с точки зрения формальных средств их выражения, то получается довольно любопытная картина: наиболее богатым формальными средствами оказывается эргативный падеж, на базе которого образуются все эссивы (для его оформления используется до десяти аффиксальных вариантов [18]); далее следуют эссивы, каждый из которых характеризуется своим аффиксом плюс изоморфной ему приставкой глагола, находящегося с соответствующим падежом в отношении координации; все аблативы имеют один и тот же материальный выразитель, зато каждый из них сочетается с такими глаголами, которые включают в себя префиксы, строго ориентированные на конкретный аблатив; замыкают этот ряд так называемые лативы, имеющие во всех сериях одно и то же оформление, не поддерживаемое изоморфно глагольными приставками. Аналогично обстоит дело и с так называемыми комитативами, которые никакого отношения к падежам не имеют.

Составляющие падежной системы в рассматриваемых языках можно представить условно в виде центра и периферии. Центр образуют основные, «общеграмматические» падежи — именительный, эргативный, родительный и дательный. Их можно было бы назвать чисто именными падежами, поскольку функционирование каждого из них в речи не зависит от словообразовательной структуры сочетающегося с ним глагола: существование их не обусловлено изоморфизмом. Начало периферии приходится на эссивы. Вместе с аблативами они представляют такую падежную подсистему, которая не противопоставляет имя глаголу, но объединяет их, ибо они совместно выражают то, что называется значением местного падежа. Нарушение глагольно-именной симметрии (изоморфизма) приводит к утрате тех или иных местных падежей, что хорошо прослеживается, например, на материале лезгинского языка. Абсолютно периферийны лативы. По своей независимости от словообразовательной структуры глагола (для них чужд принцип изоморфизма) они напоминают «чистые падежи». Но в отличие от последних они, во-первых, имеют лишь единственный аффикс *-di*, который якобы оформляет все восемь серий лативов; во-вторых, все лативы характеризуются одним и тем же значением — обозначением направления действия, которое уже в силу этого трудно квалифицировать как падежное.

Эссивы, аблативы и лативы совершенно по-разному выражают и сами пространственные отношения, соответственно представляя их объемно, в плоскостном плане и векторно. Именно векторное выражение пространственных отношений, свойственное лативам, выходит за пределы падежных отношений, ибо подобные отношения обычны для наречий (специализированными средствами реализации их являются наречия типа *туда*, *сюда*, отмечаемые в каждом языке). Поэтому не случайно то, что формант *-di* может быть присоединен и к наречиям для образования новых наречий, ср.: аг. *mič* «сюда» — *mičdi* «по направлению сюда», *tič* «туда» — *tičdi* «по направлению туда»; лезг. *inix* — *inixdi*, *anix* — *anixdi* в соответственно тождественных значениях. Аффикс *-di* вообще — одно из распространенных средств образования качественных наречий от прилагательных в агульском языке (в современном лезгинском ему соответствует суффикс *-diz*): *pašman insan* «грустный человек» — *pašmandi arinaj* «вернулся

[18] См.: Б. Г.-К. Ханмагомедов, указ. соч., стр. 6—8; У. А. Мейланова, указ. соч., стр. 8, и др.

грустным»; ср. лезг. *pašmandiz xtana* «вернулся грустным». Отсюда ясно, что так называемые лативы не имеют непосредственного отношения к падежам в современных восточнолезгинских языках: они представляют собою отыменные наречия. Кстати, такой вывод напрашивается и из того конкретного материала лезгинского языка, который был проанализирован У. А. Мейлановой в упомянутой ее работе.

Трансформации лативов в отыменные наречия способствуют, по-видимому, факторы разного порядка: во-первых, семантико-функциональная близость их к соответствующим наречиям, обозначающим направление; во-вторых, материальное тождество аффикса, оформляющего слова обеих групп, но продуктивного лишь в классе наречий: с его помощью активно образуются наречия не только направления, но и образа действия; в-третьих, широкое распространение аналитических конструкций на базе эссивов для выражения того же значения, что ведет к ликвидации грамматической омонимии между падежными формами существительных и наречными образованиями, ср.: аг. *waldi hačadiw*, лезг. *waldi çugu* «тяни к себе»; аг. *wal darkuna hačadiw*, лезг. *zuwal düzna* (*x'iz*) *çugu* «тяни к себе». Закономерность утраты лативов обусловливается, однако, не только тем, что в процессе исторического развития усиливается функционально-синтаксическая специализация различных групп слов, что приводит к неизбежной грамматической поляризации их, но и тем, что функционально-семантически усложняется сама падежная система в ее непериферийной части (в этом отношении весьма показательна история вторичных значений эссивов).

Основная тенденция в истории именного склонения восточнолезгинских языков заключается в том, что количество местных падежей постепенно и неуклонно сокращается за счет функционального усложнения как отдельных местных, так и «чистых» падежей. Внутрилингвистическим фактором, обусловливающим этот процесс, выступает нарушение глагольно-именного изоморфизма, ведущее в конечном счете к поляризации имени и глагола, следовательно, к увеличению количества «чистых» падежей. При этом образование новых падежей — явление редкое (сюда может быть отнесен лишь инструментальный падеж, который грамматически коренным образом отличается от местных, сближаясь почти по всем параметрам с «чистыми» падежами). Следует считать неверным, поскольку оно опирается на некорректное толкование языковых фактов, утверждение Л. Ельмслева, согласно которому в табасаранском языке 52 падежа. Максимальное число падежей в современных восточнолезгинских языках не превышает 21, куда входят пять «чистых», включая и инструментальный, восемь эссивов и восемь аблативов. Поскольку многими из современных языков отдельные аблативы и эссивы утрачены, то количество и функциональная нагрузка падежных систем в каждом их них различны. Одна из актуальных и важных задач в изучении дагестанских языков, в том числе и лезгинских, состоит в том, чтобы воссоздать поэтапно историю морфологического строя каждого из них, а также групп их по степени родства, вплоть до реконструкции морфологии дагестанского праязыка [19]. Однако подобного рода исследованиям должно предшествовать последовательно строгое и всестороннее описание каждого из современных языков.

[19] Такого типа исследования уже начаты. См., например: Е. А. Бокарев, К реконструкции падежной системы пралезгинского языка, в кн.: «Вопросы грамматики. Сборник статей к 75-летию акад. И. И. Мещанинова», стр. 43—50.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1980

ГРИНБАУМ Н. С.

ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК. РАННЕЭЛЛИНИСТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД (IV—I ВВ. ДО Н. Э.)*

Конец IV века до н. э. ознаменовался в Греции событиями, вызвавшими крутой поворот в ее судьбе. Возвышение Македонии и завоевания Александра открывают новый этап греческой истории (334—30 гг.), получивший условное название «эллинистический» [1]. Возникает новая рабовладельческая монархия, охватывающая, кроме собственно Греции, обширный ареал за ее пределами вплоть до Индии и Эфиопии. После смерти Александра Македонского она распадается на несколько частей: державу Птолемеев в Египте, царство Селевкидов в Передней Азии, македонское государство в материковой Греции. Происходит массовое передвижение греческого населения в завоеванные страны. Расширяются торговые связи между отдельными регионами эллинистического мира. Центр тяжести экономического, политического и культурного развития перемещается на восток. Европейская Греция переживает в III—II вв. до н. э. период упадка. Старые полисы и их объединения утрачивают постепенно былое значение. Теряют свою прежнюю политическую роль и Афины, продолжая, однако, еще длительное время оставаться важным очагом духовной жизни всей Греции [2].

Одним из последствий завоеваний Александра было широкое распространение на востоке греческой культуры. Ее влияние оказалось не одинаковым в разных странах. Более глубоким и прочным оно было в прибрежной полосе Малой Азии, в Египте и на островах, охваченных в предыдущие столетия греческой колонизацией. Более поверхностным оно оказалось в глубинных районах, где греки составили лишь верхнюю прослойку общества и где продолжали удерживаться местные традиции. Расцвет эллинистической культуры, достигнутый в результате синтеза греческой цивилизации с культурой народов Ближнего и Среднего Востока, был связан с такими крупными городами, как Александрия в Египте, Антиохия и Пергам в Малой Азии, а также с островом Родос в Эгейском море [3].

Продвижение греческой культуры в странах Востока сопровождалось распространением в них греческого языка. Его носителями были маке-

---

* Автор считает целесообразным придерживаться в периодизации древнегреческого литературного языка понимания эпохи эллинизма в широком смысле, различая ранний (IV—I вв. до н. э.) и поздний эллинизм (I—V вв. н. э.); ср.: «Античная литература» под ред. А. А. Тахо-Годи, М., 1973, стр. 198.

[1] Подробную характеристику эпохи см. в кн.: А. Б. Ранович, Эллинизм и его историческая роль, М.— Л., 1950; И. С. Свенцицкая, Социально-экономические особенности эллинистических государств, М., 1963; A. Świderkówna, Hellenika, Warszawa, 1978.

[2] И. М. Тронский обращает внимание на то, что, в отличие от классического, в эллинистический период нет в греческом мире преобладания единого культурного центра; см. его кн.: «История античной литературы», Л., 1957, стр. 200.

[3] Ср.: U. Wilcken, Griechische Geschichte im Rahmen der Altertumsgeschichte, Berlin, 1962, стр. 293.

донские и греческие полководцы и воины, чиновники и жрецы, купцы и торговцы, философы и педагоги, ремесленники и земледельцы, устремившиеся по следам завоевателей. Греческим языком овладевает местная земельная и торговая аристократия, а впоследствии и имущие слои туземного населения, стремящегося приобщиться к македоно-греческой верхушке и связанного с ней экономическими и другими узами. Этот язык, охвативший обширную территорию и ставший единым для значительной части населения эллинистического мира, принято называть общегреческим языком-койне [4]. Образование койне было длительным процессом и венчало собой многовековой этап формирования общих языков более или менее широкого диапазона, которыми была столь богата греческая история. И. М. Тронский с полным основанием называет эллинистическое койне наиболее поздней надстройкой в системе диалектных отношений греческого языка [5]. Среди причин, приведших к его возникновению, исследователи называют, кроме указанных факторов, и ряд других. А. Мейе видит первый толчок к появлению койне в создании в VII в. до н. э. мощной персидской державы и в ее захватнической политике, вызвавшей образование союза греческих государств во главе с Афинами [6]. А. Тумб полагает, что расширение в связи с этим функций аттического диалекта привело к складыванию «великоаттического», ставшего промежуточным звеном между аттическим диалектом и койне [7]. О росте значения и расширения сферы употребления аттического свидетельствует, в частности, то обстоятельство, что уже в IV в. до н. э. он стал языком македонского двора и его правителей. Отмечается и важность культурного фактора для закрепления ведущей позиции аттического диалекта, поскольку Афины стали в V в. бесспорным центром греческой литературы и искусства. Решающим моментом в этом плане было победное продвижение, начиная с IV в., аттического в качестве основного языка литературной прозы, проявившееся особенно заметно в области философии и риторики [8].

В основе эллинистического койне лежат два греческих диалекта: аттический составляет его базу, ионийскому оно обязано рядом своих элементов [9]. Такое соотношение было естественным результатом преобладающей роли Ионии и Аттики в историческом процессе становления древнегреческой культуры. Другие общие языки этого периода, как, например, ахейско-этолийский (III в. до н. э.), просуществовали недолго, получив лишь локальное значение [10]. Распространение койне на восток приводит к ослаблению позиций собственно ионийского диалекта: в V в. до н. э. на нем было составлено около 55% надписей, в III в.— всего 6%. В то же время усиливается влияние койне: от 0% в V в. до 98% во II в. до н. э.[11]. Таким образом, к концу III в. завершается процесс взаимопроникновения аттического и ионийского диалектов с явным перевесом первого из них, обозначивший окончательную победу койне в восточных странах эллинистического мира. Параллельно с этим наблюдается посте-

---

[4] Ср.: И. М. Тронский, Вопросы языкового развития в античном обществе. Л., 1973, стр. 41.

[5] Там же, стр. 51.

[6] A. Meillet, Aperçu d'une histoire de la langue grecque, Paris, 1930, стр. 248.

[7] A. Thumb, Die griechische Sprache im Zeitalter des Hellenismus, Strassburg, 1901, стр. 261.

[8] Ср.: A. Debrunner, A. Scherer, Geschichte der griechischen Sprache, II, Berlin, 1969, стр. 31—32.

[9] Ср.: A. Thumb, указ. соч., стр. 233.

[10] Ср.: A. Debrunner, A. Scherer, указ. соч., стр. 45.

[11] Там же, стр. 36.

пенное затухание остальных греческих диалектов, вытесняемых из обращения стремительным шествием общего языка [12].

Будучи естественным продолжением аттического и ионийского на наддиалектном уровне и в новых исторических условиях, эллинистическое койне отличалось рядом особенностей фонетического, морфологического, синтаксического и лексического характера. В фонетическом плане следует упомянуть о наличии σσ (φυλάσσω) вместо ττ (φυλάττω) и ρσ вместо ρρ по примеру ионийского диалекта, но ᾱ после ε, ι, ρ и η во всех других случаях по примеру аттического. Среди морфологических явлений можно назвать окончание род. падежа ед. числа на -ου существительных муж. рода (чисто аттическое) и окончание -εως (-εος) имен на -ις (в остальных диалектах -ιος), окончание вин. падежа на -αν существительных III склонения вместо -α, характерного для классического времени. Происходит смешение окончаний 3-го лица мн. числа перфекта на -ασι(ν) и аориста на -αν, исчезновение двойственного числа. В области синтаксиса замечается появление новых функций у некоторых предлогов (например, κατά с вин. падежом в роли атрибутивного генитива), переход ряда отложительных глаголов на позиции пассива, ограничение сферы перфекта и др.[13]. Особого внимания заслуживает вопрос о вкладе ионийского диалекта в развитие эллинистической прозаической лексики. В составе последней был обнаружен значительный пласт слов, встречающихся в классическое время лишь в поэтическом языке. Вначале пытались объяснить это обстоятельство заимствованием у знаменитых поэтов прошлого. Однако после того, как большое количество этих слов было найдено в нелитературных папирусах, стало ясно, что речь идет о древнем лексическом слое греческого языка, к которому обращались поэты и который вошел в эллинистическую прозу как ее органическая часть через посредство ионийского народного языка [14].

Отмечая сложность самого понятия «койне», А. Мейе подчеркивает, что его нельзя свести к одному значению, хотя различные области, к которым оно имеет отношение, тесно связаны между собой [15]. С одной стороны, греческий письменный прозаический язык послеклассического периода продолжает в более или менее совершенном виде язык, выработанный великими писателями Аттики. С другой, само собой разумеется, современные Александру Македонскому авторы не пишут так, как их последователи во II—I вв. до н. э., не говоря уже о более позднем периоде. Вместе с тем изменения, произошедшие в языке эллинистической литературной прозы, являются относительно незначительными, если сравнить их с изменениями, имевшими место в устной речи грекоязычного населения IV—I вв. до н. э. Это обстоятельство было обусловлено рядом причин, главные из которых: большая область распространения койне и неоднородность происхождения пользующихся им людей, среди которых были греки и не-греки, выходцы из разных стран и представители разных народов. Нельзя не считаться и с фактором времени, налагавшим свой отпечаток на ход языкового процесса. Существенное значение имеет также и социальный фактор. Естественно, что в наиболее «чистом» виде койне культивируется высшими кругами эллинистического общества. Более подверженной влиянию разговорного языка была речь средних слоев, главным образом, имущего городского населения, обслуживающего рабовладельческую

[12] Э. Майзер отмечает весьма ограниченную роль дорийских и эолийских элементов в языке папирусов; см.: E. Mayser, Grammatik der griechischen Papyri aus der Ptolemäerzeit, I, Berlin, 1923, стр. 5.

[13] Ср.: A. Debrunner, A. Scherer, указ. соч., стр. 66—67.

[14] Ср.: L. R. Palmer, A grammar of the post-Ptolemaic Papyri, I, 1946, стр. 5.

[15] A. Meillet, указ. соч., стр. 242.

верхушку. И, наконец, язык низших слоев греческого населения городов и частично сельских жителей, усваивающих разговорную речь на слух, включал не только значительное число простонародных элементов, но был нередко насыщен иноязычными ингредиентами. Являясь важным средством общения эллинистического общества, койне успешно выполняло роль делового, в том числе административного и дипломатического языка. Оно было предметом тщательного изучения в школах, как предназначенных для греков, так и для местной знати [16]. Следует, однако, иметь в виду, что туземное население захваченных македоно-греческими завоевателями стран не перестало пользоваться в общении между собой местными языками [17]. Греческим языком владела, особенно в глубинных эллинистических государствах (кроме собственно Греции), относительно небольшая часть общества, большинство населения, по-видимому, греческого не знало. В этих условиях весьма трудно определить уровень грамотности в период эллинизма. Можно лишь предположить, что он был значительно ниже, чем в классическое время, как в самой Греции (потеря независимости, экономический и политический кризис), так и тем более в странах Востока, где широкие народные массы не имели доступа не только к греческому, но и к образованию вообще.

Одной из важных особенностей развития языка эллинистической литературы является все более усиливающееся расхождение между языком поэзии, с одной стороны, и художественной прозы, с другой. Это различие имело место и в аттической литературе, однако оно не было столь значительным, поскольку ряд поэтических жанров (трагедия, комедия) вырос на почве Аттики и был в определенной мере связан с аттическим диалектом. Что касается эллинистической поэзии, то она оказалась единственной областью литературы, почти не испытавшей влияния койне. Основная причина этого явления кроется в настойчивом стремлении эллинистических поэтов сохранить традиции жанровых языков предшествующих столетий. Поэзия, когда-то рассчитанная на широкие слои граждан полиса, теперь становится достоянием сравнительно узкого круга читателей и привилегией образованных верхов общества [18]. Эпические и дидактические поэмы продолжают писаться на языке Гомера и Гесиода, малые лирические формы составляются на языке Архилоха и Гиппонакта. Виднейшие представители александрийской поэзии III в. до н. э., Каллимах из Кирены, автор элегического произведения «Причины», и Аполлоний Родосский, автор мифологической поэмы «Аргонавтика», придерживаются в своем творчестве языковых норм эпической поэзии. Феокрит из Сиракуз сочиняет свои идиллии на дорийском диалекте сицилийских поэтов V в. до н. э. Эпихарма и Софрона, а лирические стихотворения пишет по-эолийски в подражание лесбосским певцам VI в. до н. э.— Алкею и Сафо. Ионийским диалектом Гиппонакта пользуется и Герод, сочинитель мимиямбов [19]. Последний созданный в Афинах литературный жанр «новой» комедии в лице ее самого видного представителя Менандра (IV—III в. до н. э.) продолжает в новых условиях языковые традиции аттической драмы V—IV вв.

Художественная проза эпохи эллинизма прочно придерживается на первых порах аттического диалекта, однако со временем испытывает все более заметное влияние койне. Представителем языка аттической литера-

---

[16] Ср.: S. T. Teodorsson, The phonology of Ptolemaic koine, Göteborg, 1977, стр. 15—25.

[17] Ср.: Т. В. Блаватская и др., История древней Греции, М., 1962, стр. 465—466.

[18] Ср..: И. М. Тронский, История античной литературы, стр. 213.

[19] Там же, стр. 228.

турной прозы, соприкасающейся с ранним периодом литературного койне, признается среди философов Аристотель (IV в. до н. э.) [20]. Ближе к разговорному находится философский язык Эпикура (III в. до н. э.). Признанным выразителем литературного койне является известный историк II в. до н. э. Полибий. Среди представителей научной прозы, пользующихся койне, следует назвать Филона Византийского, автора труда по механике, и знаменитого ученого III в. до н. э. Архимеда из Сиракуз (несмотря на наличие в его языке дорийских элементов). Красноречие утрачивает свое прежнее значение. Похвальные речи в честь монархов отличаются своей искусственностью, что сказывается также на их языке.

Основными источниками, знакомящими нас с греческим языком эллинистического периода, являются литературные произведения, надписи и папирусы. Первая категория источников, как отмечалось выше, содержит произведения, не равноценные для суждения о койне. Лишь литературная проза дает о нем представление, хотя в ней в меньшей степени, чем в других прозаических документах, отражаются его особенности. Это объясняется отчасти и профессиональной выучкой писцов, стремящихся не допустить явлений, нарушающих установленную норму [21]. Вторая группа источников — надписи — представлены широко и на протяжении всего эллинистического периода. Они отражают язык дворцовых канцелярий, межгосударственных соглашений, местных законов и постановлений. В этот язык, несмотря на его нормативность, уже чаще проникают элементы общегреческого койне. В еще большей степени основные черты последнего зафиксированы в третьем и весьма богатом виде источников — папирусах, число которых достигает в настоящее время 150 тыс.[22]. Среди них привлекают внимание, наряду с литературными и официальными, материалы частного и получастного характера: письма малообразованных лиц, разного рода счета, обязательства, расписки и т. д. Авторы этих документов, не обладая зачастую достаточными литературными навыками, не только допускают те или иные отступления от общепринятых правил, но и шире открывают доступ для проникновения в письменный язык особенностей народного произношения и элементов разговорной речи. Благодаря столь многочисленным, разнообразным и в основном хорошо датированным источникам, изменения, произошедшие в истории греческого языка, равно как и формирование и распространение койне в эллинистическую эпоху, поддаются детальному и обстоятельному изучению.

Образование греческого литературного языка эпохи эллинизма проходило в сложных условиях. С одной стороны, не перестает сказываться сильное воздействие жанровых литературных языков: героического и наставительного эпоса, лирики и драмы. В результате этого язык эллинистических поэтов оказался не только далеким от происходящих в жизни процессов, но и не испытал на себе их ощутимого влияния. С другой стороны, эллинистическая литературная и, прежде всего, художественная проза, хотя и сохранила преемственную связь с аттической прозой V в., развивалась более естественным путем и не чуждалась, как это было с поэзией, влияния складывавшегося койне. Ее различные виды в неодинаковой мере отразили это влияние. Менее ощутимым оно было на первых порах в исторической, более явным в философской и научной прозе, где сильнее отражались запросы жизни и проблемы, волнующие общество того времени. Что касается эллинистической деловой прозы, представление о которой

---

[20] См.: A. Debrunner, A. Scherer, указ. соч., стр. 18.
[21] Ср.: S. T. Teodorsson, указ. соч., стр. 19.
[22] См.: «Studii clasice», XVII, Bucureşti, 1977, стр. 336.

дают нам греческие надписи и папирусы, то, как уже отмечалось, она не была однородной и включала целый спектр языковых уровней, начиная с унаследованного официального канцелярского языка и кончая близким к простонародному языком частной переписки лиц с ограниченной грамотностью. Вместе с тем, деловая проза дает нам наиболее полное и широкое представление об эллинистическом койне.

Все три упомянутые выше области литературного языка эллинизма относятся к его письменному аспекту и составляют одну часть сферы его функционирования. Вторая и не менее существенная — устный аспект, охватывающий, в свою очередь, два подразделения. Это, во-первых, разговорный язык образованных слоев, верхушки эллинистических государств. Его диапазон был, по-видимому, довольно широким и включал как художественную, так и деловую прозу. Принадлежавшие к этой верхушке лица были в состоянии вести литературные беседы на философские и научные темы или выступить с речью, не говоря уже о владении ими навыками делового или бытового разговора. Это, во-вторых, устная речь состоятельной части населения, не участвовавшей в управлении государством, но обеспечивавшей его потребности и обученной грамоте. Для этих слоев характерно главным образом свободное пользование как литературным деловым, так и бытовым языком, дававшим им возможность общаться без затруднений с высшей и низшей прослойками общества.

Вне литературного языка остается разговорный язык низших слоев малограмотного и неграмотного городского и сельского населения. Этот язык ограничен в основном бытовыми нуждами, определяемыми экономическим и социальным положением наиболее бесправной и эксплуатируемой части общества.

В свою очередь, эллинистическое койне включает две основные разновидности: литературную и разговорную [23]. Первая охватывает ряд видов художественной прозы, не знаменуя еще, как справедливо отмечает И. М. Тронский, языкового единства для всех литературных жанров [24]. Вторая разновидность включает устную греческую речь всех слоев эллинистического общества, достигшую, несмотря на имевшиеся различия, относительного единства в грекоязычных странах Востока [25].

Таким образом, эллинистический литературный язык и эллинистическое койне — понятия не равнозначные. В состав первого входит язык всей греческой литературы эллинистического периода, т. е. поэтический и прозаический, равно как и частично устная речь эллинистического общества. Койне, в свою очередь, охватывает всю его устную речь и частично литературное творчество [26]. Эллинистический литературный язык характеризуют обработанность и регламентация, общая тенденция к наддиалектному языковому типу и отказ от узкодиалектных явлений. Он успешно обслуживал экономические, социальные, политические и культурные нужды эллинистического общества [27].

Литературный язык периода раннего эллинизма представляет собой третий этап развития древнегреческого литературного языка. Если в основе первого лежал ионийский, а в основе второго — аттический диалект, то диалектная база третьего этапа определяется как ионийско-

[23] Ср.: С. И. Соболевский, Κοινή — общий греческий язык, в кн.: «Православная богословская энциклопедия», IX, СПб., 1908, стлб. 603—754.

[24] И. М. Тронский, О диалектной структуре греческого языка в раннем античном обществе, сб. «Вопросы социальной лингвистики», Л., 1969, стр. 280.

[25] См.: И. М. Тронский, А. А. Белецкий, Греческий язык, в кн.: «Краткая литературная энциклопедия», 2, М., 1964, стлб. 361.

[26] Ср.: J. Fräsen, Prolegomena to a study of the Greek language in the first centuries A. D. The problem of koiné and atticizm, Helsinki, 1974, стр. 164—165.

[27] См.: Ф. П. Филин, Об истоках русского литературного языка, ВЯ, 1974, 3.

аттическая. Эллинистическая ступень стала возможной как естественное продолжение двух предыдущих. В области письменного и, в частности, поэтического языка можно проследить ее связи с творчеством микенского и гомеровского времени, по линии художественной прозы — преимущественно с ионийской и аттической. В области разговорной речи особо ощутимы связи с деловым языком Ионии и Аттики VII—V вв. до н. э. В то же время эллинистический литературный язык — это качественно новая ступень в развитии греческого литературного языка. Он возникает как новое наддиалектное образование, основу которого составляют аттический диалект и койне [28], охватывает своим влиянием целый ряд стран, обладает более усложненными и разнообразными функциями. Усиливается процесс языковых изменений на всех уровнях его структуры. Вытесняются из употребления местные диалекты. Заметно обновляется лексика за счет словообразования, философской и научной терминологии.

Аттическая разновидность греческого литературного языка, пришедшая в V в. до н. э. на смену ионийской, уступает в IV—III вв. место следующей — эллинистической его разновидности.

[28] См.: И. М. Тронский, Древнегреческое ударение, М.— Л., 1962, стр. 19.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1980

ХАТТОРИ С.

О ФОРМИРОВАНИИ ТАТАРСКОГО И ЧУВАШСКОГО ЯЗЫКОВ

Хорошо известно, что татарский язык сильно отличается от родственного чувашского, хотя они близки по ареалу своего распространения. А. Самойлович [1] подразделяет тюркские языки на R-языки, к которым относится чувашский, и *Z*-языки, т. е. все остальные тюркские языки и диалекты. А. фон Габен [2] считает, что якутский и чувашский далеко отстоят от других тюркских языков. Н. Поппе [3] даже создал особый термин «чувашо-тюркские языки» вместо обычного «тюркские языки», поскольку чувашский сильно отличается от других тюркских языков. К. Х. Менгес [4] подразделяет тюркские языки на шесть групп (от А до F), которые включают 12 подгрупп (от I до XII). Его шестая группа, т. е. группа F, охватывает волжско-булгарский (подгруппа XI) и чувашский языки (подгруппа XII). О ней он пишет: «Эта группа не является частью собственно прототюркского единства, а представляет собой промежуточное звено между прототюркским и протомонгольским языками» [5].

В то же время все названные авторы относят татарский и башкирский языки к северо-западной, или «кыпчакской», группе, включающей языки: караимский, карачаево-балкарский, кумыкский; ногайский, казахский, каракалпакский; киргизский и т. д. Эта группа представляет собой одну из групп, на которые подразделяются все тюркские языки (за исключением чувашского). Например, Н. Поппе выделяет пять таких групп: 1) якутскую (по Менгесу, группа Е), 2) тувинско-хакасскую (по Менгесу, группы D и С), 3) кыпчакскую (по Менгесу, группы В и С), 4) чагатайскую (по Менгесу — А. I) и 5) туркменскую (по Менгесу — А. II, т. е. огузская группа).

По нашему мнению, однако, татарский и башкирский языки занимают особое положение среди тюркских языков [6], поскольку они в первом слоге самостоятельных слов имеют *i*, *ü*, *u*; *e*, *ö*, *ə*, *o*, которым в других языках соответствуют *ä* (*e*), *ö*, *o*; *i*, *ü*, *ï*, *u*. Главные соответствия гласных в тюркских языках, включая чувашский, представлены в табл. 1[7]. (Знак [¯]

---

[1] A. N. Samoïlovitch, Les langues turques, в кн.: «Encyclopédie de l'Islam», Leiden—Leipzig, 1931, IV, стр. 956—963.

[2] A. von Gabain, Characteristik der Türksprachen, в кн.: «Handbuch der Orientalistik», V, Leiden — Köln, 1963, стр. 4.

[3] N. Poppe, Introduction to Altaic linguistics, Wiesbaden, 1965, стр. 33 и сл.

[4] K. H. Menges, The Turkic languages and peoples, Wiesbaden, 1968, стр. 59 и сл.

[5] Там же, стр. 61.

[6] Это мнение сложилось у меня в 1933—1936 гг., когда я изучал в Маньчжурии татарский язык; см.: Хаттори Сирō, Гэндайго но кэнкю то торуко сёхōгэн (Тэйкоку гакусиин тōа сёминдзоку тёсасицу), Токио, 1941, стр. 35 и сл. (на япон. яз.).

[7] Табл. 1 представляет собой несколько измененный вариант таблицы А. М. Щербака (см.: А. М. Щербак, Сравнительная фонетика тюркских языков, Л., 1970, стр. 157), отражающей общие соответствия. В таблице Щербака я переставил местами гласные и аранжировал языки согласно обычной классификации (т. е. с учетом их деления на чагатайские, огузские, кыпчакские и т. д.). У А. М. Щербака языки были даны в алфавитном порядке. Кроме того, я заменил кириллицу латиницей. Что касается

Таблица 1

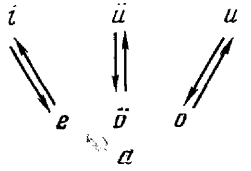
Группа	Языки	Гласные															
	прототюркский	*a	*ā	*ä	*ǟ	*o	*ō	*ö	*ȫ	*ï	*ï̄	*i	*ī	*u	*ū	*ü	*ǖ
	якутский	a, ï	ā, a	e, i	ie, e	o	uo, o	ö	üö, ö	ï	ï̄, ï	i	ī, i	u, ï	ū, u	ü	ǖ, ü
тувинско-хакасская	тувинский	a‘, a, ï	a, ï	e‘, e	e	o‘, a	o	ö‘, ö	ö	ï‘, ï	ï	i‘, i	i	u‘, u	u	ü‘, ü	ü
	хакасский	a	a	i, e	i, e	o	o	ö	ö	ï	ï	ĭ	ĭ	u	u	ü	ü
	шорский	a	a	e	e	o	o	ö	ö	ï	ï	i	i	u	u	ü	ü
чагатайская	уйгурский	a	a	ä, e	ä, e	o	o	ö	ö	i	i	i	i	u	u	ü	ü
	узбекский	a, ɔ	ɔ	e	e	ů	ů	ů	ů	i	i	i	i	u	u	u	u
огузская	туркменский	a	ā, a	e	ǟ, ï	o	ō, o	ö	ȫ, ö	ï	ï̄, ï	i	ī, i	u	ū, u	ü	ǖ, ü
	азербайджанский	a	a	ä, e	ä, e	o	o	ö	ö	ï	ï	i	i	u	u	ü	ü
	турецкий	a	a	e	e	o	o	ö	ö	ı	ı	i	i	u	u	ü	ü
	гагаузский	a	a	e	e	o	o	ö	ö	ï	ï	i	i	u	u	ü	ü
кыпчакская	алтайский	a	a	e	e	o	o	ö	ö	ï	ï	i	i	u	u	ü	ü
	киргизский	a	a	e	e	o	o	ö	ö	ï	ï	i	i	u	u	ü	ü
	казахский	a	a	e	e	o	o	ö	ö	ĭ	ĭ	ĭ	ĭ	ŭ	ŭ	ŭ	ŭ
	каракалпакский	a	a	e	e	o	o	ö	ö	ĭ	ĭ	ĭ	ĭ	ŭ	ŭ	ŭ	ŭ
	ногайский	a	a	e	e	o	o	ö	ö	ĭ	ĭ	ĭ	ĭ	ŭ	ŭ	ŭ	ŭ
	кумыкский	a	a	e	e	o	o	ö	ö	ï	ï	i	i	u	u	ü	ü
	балкарский	a	a	e	e	o	o	ö	ö	ï	ï	i	i	u	u	ü	ü
	караимский	a	a	e	e	o	o	ö	ö	ï	ï	i	i	u	u	ü	ü
	башкирский	a	a	i	i	u	u	ü	ü	ə̆	ə̆	ĕ	ĕ	ŏ	ŏ	ŏ̈	ŏ̈
	татарский	a	a	i	i	u	u	ü	ü	ə̆	ə̆	ĕ	ĕ	ŏ	ŏ	ŏ̈	ŏ̈
	чувашский	ï, u, a	u	i, ü, a	i, a	ă, u	ă, u	ü, ă(ĕ)	ü, ăva	ă(ĕ)	ă(ĕ)	ĕ(ă)	ĕ	ă(ĕ)	ă(ĕ)	ĕ	ĕ

в таблице указывает на долгий гласный, знак [˘] — на краткий и редуцированный гласный; *ä*, *ö*, *ï*, *ü* — передние гласные, *o*, *ï*, *u* — задние.)

Если исключить из таблицы знак редукции гласного, то окажется, что в татарском и башкирском языках должны были произойти весьма необычные переходы гласных, а именно:

прототюркский		татарский и башкирский
*ä,	*$\bar{ä}$	→ *i*
*ö,	*$\bar{ö}$	→ *ü*
*o,	*$\bar{o}$	→ *u*
*i,	*$\bar{ï}$	→ *e*
*ü,	*$\bar{ü}$	→ *ö*
*ï,	*$\bar{ï}$	→ *ə*
*u,	*$\bar{u}$	→ *o*

С этим трудно согласиться, потому что невозможно представить себе такие диахронические изменения, как:



Чтобы судить о том, какие звуковые изменения могли произойти в действительности, надо обратиться к особенностям реального произношения современных тюркских языков.

Из табл. 1 видно, что хакасский имеет «редуцированный» *ĭ*, а казахский, каракалпакский и ногайский — «редуцированные» *ĭ*, *ŭ*, *ĭ* и *ŭ*. Согласно моим наблюдениям, татарские гласные *ĕ*, *ŏ*, *ə̆* и *ŏ* — краткие, ненапряженные и относятся к смешанному ряду (mixed, по Генри Суиту [8]), что, я думаю, и составляет содержание понятия «редуцированный» у Щербака.

По-видимому, человеческой речи вообще свойственно, что в одних и тех же фонологических позициях гласные высокого подъема *i*, *ü*, *u* короче гласных среднего подъема *e*, *ö*, *o*, которые, в свою очередь, короче гласных низкого подъема *æ*, *a*, *ɔ*. Вследствие этого весьма вероятно, что на промежуточных стадиях от прототюркского языка к современным, когда первоначальное различие между краткими и долгими гласными было утрачено, гласные высокого подъема **i*, **ü*, **ï*, **u* были краткими и эта их краткость вызвала их редукцию в нескольких языках, включая татарский и башкирский.

С другой стороны, гласные высокого подъема современного татарского языка *i*, *ü*, *u* и *ïĭ* (в современной орфографии *ый*) относятся к напряженным и имеют тенденцию к долготе, а в некоторых позициях (особенно конечных) даже предстают как явно долги. В мишарском диалекте [9] все глас-

---

татарского и башкирского языков, то я использовал свою собственную транскрипцию, сохранив лишь знак редукции А. М. Щербака [˘]. А. М. Щербак пользуется для татарского и башкирского языков знаками *ĭ*, *ŏ*, *ĭ*, *ŏ*, где у меня *ĕ*, *ŏ*, *ə̆*, *ŏ* соответственно.

[8] См.: H. Sweet, Primer of phonetics, Oxford, 1906.

[9] Этот диалект является родным для моей жены Махирэ Аги, родившейся в 1912 г. в деревне Нагур (по-русски Подгорный Шуструй) Усть-Рахмановской волости Краснослободского уезда Пензенской губ. Ее отец и дед — мишары из той

ные высокого подъема — напряженные и в то же время долгие или полудолгие, либо же не такие краткие, как гласные среднего подъема *е*, *ö*, *ə*, *о*. Последние гласные краткие и имеют тенденцию быть ненапряженными. Поэтому и возможно, что все мишарские гласные высокого подъема фонологически интерпретируются следующим образом: /ej/ *i*, /ew/ *ü*, /əj/ *ïï*, /əw/ *u* [10]. Возможность такой фонологической интерпретации в синхронии могла бы свидетельствовать о том, что в диахронии в татарском (и башкирском) языках имели место следующие звуковые изменения:

прототюркский татарский и башкирский

$$\left.\begin{matrix}{}^{*}\ddot{a}\\ {}^{*}\bar{\ddot{a}}\end{matrix}\right\}\rightarrow \varepsilon \rightarrow \varepsilon\breve{\imath} \rightarrow e\breve{\imath} \longrightarrow i$$

$$\left.\begin{matrix}{}^{*}i\\ {}^{*}\bar{i}\end{matrix}\right\}\rightarrow i \rightarrow \breve{\imath} \rightarrow \breve{e} \longrightarrow \breve{e}$$

$$\left.\begin{matrix}{}^{*}\ddot{o}\\ {}^{*}\bar{\ddot{o}}\end{matrix}\right\}\rightarrow \ae \rightarrow \ae\breve{\ddot{u}} \rightarrow \ddot{o}\breve{\ddot{u}} \longrightarrow \ddot{u}$$

$$\left.\begin{matrix}{}^{*}\ddot{u}\\ {}^{*}\bar{\ddot{u}}\end{matrix}\right\}\rightarrow \ddot{u} \rightarrow \breve{\ddot{u}} \rightarrow \breve{\ddot{o}} \longrightarrow \breve{\ddot{o}}$$

$$\left.\begin{matrix}{}^{*}\ddot{\imath}\\ {}^{*}\bar{\ddot{\imath}}\end{matrix}\right\}\rightarrow \ddot{\imath} \rightarrow \breve{\ddot{\imath}} \rightarrow \breve{\ddot{\text{ə}}} \longrightarrow \breve{\ddot{\text{ə}}}$$

$$\left.\begin{matrix}{}^{*}o\\ {}^{*}\bar{o}\end{matrix}\right\}\rightarrow \text{ɔ} \rightarrow \text{ɔ}\breve{u} \rightarrow o\breve{u} \longrightarrow u$$

$$\left.\begin{matrix}{}^{*}u\\ {}^{*}\bar{u}\end{matrix}\right\}\rightarrow u \rightarrow \breve{u} \rightarrow \breve{o} \longrightarrow \breve{o}$$

Прототюркские $^{*}a$, $^{*}\bar{a}$ в татарском и башкирском языках сохранились как монофтонги *а* (или *ä* [*æ*]).

Однако обоснование этой гипотезы затруднительно. Во-первых, тюркские языки (кроме чувашского) имеют краткие монофтонги *е* (*ä*), *ö*, *о*, если исключить из рассмотрения первичные долгие монофтонги $\bar{\ddot{a}}$, $\bar{\imath}$, $\bar{\ddot{o}}$ $\bar{o}$ в туркменском и восходящие дифтонги *іе*, *üö*, *uo* (← прототюркские $^{*}\bar{\ddot{a}}$, $^{*}\bar{\ddot{o}}$, $^{*}\bar{o}$) в якутском. Во-вторых, нисходящие дифтонги типа *еĭ*, *öü̆*, *оŭ* нигде не найдены, за исключением немногих примеров «открытых» слогов:

	татарский	башкирский	узбекский	туркменский	турецкий
«надевать, носить»	*ki-*	*kej-*	*kij-*	*gei-*	*gij-*
«мочиться»	*si-*	*hej-*	*sij-*	*sī-*	*sidik* «моча»
«вода»	*su*	*həw*	*suw*	*θuw*	*su*
«гнать, выгонять»	*ku-*	*kəw-*	*kuw-*	*kow-*	*kov-*
«пар»	*bu*	*bew*	*buγ*	*būγ*	*buğu*

Примечательно, что в чувашском языке есть гласные *i*, *ü*, *u*, которые в определенных случаях соответствуют татарско-башкирским *i*, *ü*, *u*,

же деревни, а ее мать Лэтифэ Мансэр — мишарка из деревни Йöнэ (по-русски Татарский Юник) Тамбовской губернии, которая находилась от Нагура примерно в десяти километрах. В августе 1916 г. их большая семья уехала из Нагура и переселилась в Хайлар в северной Маньчжурии. По словам Махирэ Аги, говоры обеих деревень идентичны.

[10] См. статью автора «Phonological interpretation of Tatar high vowels» в сб., посвященном юбилею проф. Карла Х. Менгеса (UAJb, 47, Wiesbaden, 1975, стр. 89).

а также редуцированные *ĕ*, *ă*, соответствующие *ĕ*, *ŏ*; *ə̂*, *ŏ* в татарском и башкирском.

Поскольку у нас есть примеры на восходящие дифтонги в якутском языке, то, хотя эти дифтонги и произошли от первичных долгих гласных, мы можем выдвинуть другую гипотезу, а именно гипотезу восходящей дифтонгизации, предположив, что нисходящая дифтонгизация имела место только в вышеперечисленных случаях. Процесс восходящей (а позже и нисходящей) дифтонгизации представляется следующим:

$$\begin{array}{l} \varepsilon \rightarrow \check{\imath}\varepsilon \rightarrow i\check{e} \rightarrow i \\ i \rightarrow i \rightarrow \check{\imath} \rightarrow \check{e} \\ \text{œ} \rightarrow \check{\ddot{\imath}}\text{œ} \rightarrow \check{\ddot{\imath}}\check{\ddot{o}} \rightarrow \ddot{\imath} \\ \ddot{\imath} \rightarrow \ddot{\imath} \rightarrow \check{\ddot{\imath}} \rightarrow \check{\ddot{o}} \\ \text{ɔ} \rightarrow \check{\imath}\text{ɔ} \rightarrow \imath\check{o} \rightarrow \imath \\ \imath \rightarrow \imath \rightarrow \check{\imath} \rightarrow \check{o} \end{array}$$

Классификации современных кыпчакских языков, к которым относятся татарский и башкирский, данные Н. Поппе (а также О. Прицаком) [11], К. Х. Менгесом [12] и Н. А. Баскаковым [13], представлены в табл. 2.

Таблица 2

Языки	Поппе	Менгес		Баскаков	
караимский карачаево-балкарский кумыкский } 1	кыпчакские	понто-каспийские	В. северо-западные, или кыпчакские	кыпчакско-огузская подгруппа	кыпчакская группа
татарский башкирский } 2		волжско-камско-западно-сибирские		кыпчакско-булгарская подгруппа	
ногайский казахский каракалпакский } 3		арало-каспийские		*кыпчакско*-ногайская подгруппа	
киргизский } 4		переходные от центрально-азиатских			киргизско-кыпчакская группа
алтайский			С. ойротский		

В табл. 3 сопоставляются (по некоторым чертам) чувашский язык, кыпчакские языки (включая мертвый куманский) и турецкий язык. Из этой таблицы ясно видно, что татарский и башкирский языки резко отличаются от чувашского, но имеют много сходного с кыпчакскими языками. Среди последних они ближе стоят к кыпчакско-огузской (кыпчакско-половецкой или кыпчакско-куманской [14]) подгруппе, т. е. к кумыкскому, карачаево-балкарскому и т. д. (включая мертвый куманский язык), чем к кыпчакско-ногайской подгруппе, т. е. к казахскому, каракалпакскому и ногайскому языкам, хотя географически казахский ближе к башкирскому и татарскому. Причем куманский, язык Codex Cumanicus'а, на-

[11] N. Poppe, указ. соч., стр. 35 и сл.
[12] K. H. Menges, указ. соч., стр. 60.
[13] Н. А. Баскаков, Тюркские языки (общие сведения и типологическая характеристика), в кн.: «Языки народов СССР. II — Тюркские языки», М., 1966, стр. 15 и сл.
[14] А. Г. Магомедов, Кумыкский язык, в кн.: «Языки народов СССР», II, стр. 194; М. А. Хабичев, Карачаево-балкарский язык, там же, стр. 213 и др.

Таблица 3

Значение слова	Чувашский	Татарский	Башкирский	Куманский[1]	Кумыкский
«девять»	*tăxxăr*	*tugəz*	*tugəð*	*toguz*	*toguz*
«сто»	*śer*	*jöz*	*jöð*	*jüz*	*jüz*
«нам»	*pire*	*bězgä*	*běðgä*	*bizge*	*bizge*
«три»	*viśśě*	*öč*	*ös*	*üč*	*üč*
«этот»	*ku*[2]	*bu*	*bəl*	*bu*	*bu*
«если есть»	*pulsan*	*bulsa*	*bulha*	*bolsa*	*busa*
«зима»	*xěl*	*kəš*	*kəš*	*kīš*	*kīš*
«пять»	*pillěk*	*biš*	*biš*	*beš*	*beš*
«год; возраст; молодой»	*śul*	*jäš*	*jäš*	*jaš*	*jaš*

Значение слова	Ногайский	Казахский	Киргизский	Турецкий
«девять»	*togĭz*	*togĭz*	*toguz*	*dokuz*
«сто»	*jŭz*	*žŭz*	*žŭz*	*yüz*
«нам»	*bizge*	*bizge*	*bizge*	*bize*
«три»	*ŭš*	*ŭš*	*ŭč*	*üç*
«этот»	*bu*	*bul*	*bul*	*bu*
«если есть»	*bolsa*	*bolsa*	*bolso*	*olsa*
«зима»	*kĭs*	*kĭs*	*kīš*	*kış*
«пять»	*bes*	*bes*	*beš*	*beş*
«год; возраст; молодой»	*jas*	*žas*	*žaš*	*yaş*

[1] Куманские слова цитируются по статье: A. von Gabain, Die Sprache des Codex Cumanicus, в кн.: «Philologiae turcicae fundamenta», Wiesbaden, I, 1957 (далее — PTF). Примеры на других языках взяты из словарей, изданных в СССР.

[2] Это слово напоминает древнеяпонское слово *kō* «этот» (*ko-re* «этот» современного японского языка) и корейское слово *kī* «тот».

столько похож на татарский, что А. фон Габен называет его «alttatarisch» [15].

В Среднем Поволжье и Прикамье, на территории современной Татарской автономной республики, с VII по XIV вв. существовало Булгарское государство. Язык большинства его населения был R-языком (по терминологии Самойловича), во многом сходным с современным чувашским.

Имеется два рода письменных памятников для суждения о волжско-булгарском языке: 1) отрывочные сведения о волжско-булгарском языке, содержащиеся в памятнике XI в. «Дивану лугат-ит-турк» Махмуда аль-Кашгари; 2) эпиграфические надписи волжских булгар — эпитафии XIII—XIV вв.[16], примеры из которых приведены в табл. 4. Реконструкция волжско-булгарского языка предпринималась Дж. Бенцингом [17], Н. Поппе [18] и мной [19].

[15] PTF, стр. 48.

[16] J. Benzing, Das Hunnische, Donaubulgarische und Wolgabulgarische, PTF.

[17] Там же.

[18] N. Poppe, указ. соч., стр. 37, 58.

[19] Что касается булгаро-чувашского звука *l* и соответствующего ему *š* других тюркских языков, то лингвисты не пришли к соглашению относительно того, который из них древнее. Я постулирую существование третьего звука в прототюркском, а именно глухого латерального [*ɬ], который, возможно, является комбинацией фонем /*lh/(или /*hl/?). Ср. следующие слова со значением «камень»: чуваш. *čul* ‖ тюркютск. *tāš* ‖ якут. *tās* ‖ протомонг. **tīl-* ‖ корейск. *tol* ‖ среднекорейск. *tolh* (древнекорейск. **tulh*). Наличие *-h* в среднекорейск. *tolh*, кажется, подтверждает мою гипотезу.

Таблица 4

Значение слов	Волжско-булгарский			Чувашский	Татарский	Турецкий	Туркменский	Якутский	Древнеогузский
	Бенцинг	Поппе	Хаттори						
«дочь» هير	*hĭr*	*hĭr*	*hir*	*xĕr*	*kəz*	*kız*	*kīz*	*kīs*	*kīz*
«сто» جور	*ğür*	*ʃür*	*ʃür*	*śĕr*	*jöz*	*yüz*	*jüz*	*süs*	*jüz*
«шесть» الط	*altĭ*		*altĭ*	*ulttă*	*altə*	*altı*	*altĭ*	*alta*	*altĭ*
«год» جال	*ğal*	*ʃāl*	*ʃal*	*śul*	*jäš*	*yaş*	*jāš*	*sās*	*jaš*
«семь» جيات	*ğiäti*		*ʃieti*	*śiçče*	*židĕ*	*yedi*	*jedi*	*sette*	*jeti*
«восемь» سكر	*säkir*		*säkir*	*sakkăr*	*sigĕz*	*sekiz*	*sekkiz*	*agīs*	*sekiz*
«пятьдесят» الو	*älüv*		*äliw*	*allă*	*illĕ*	*elli*	{ }*		{ }**
«пять» بيال	*biäl*	*biyäl*	*biɛl*	*pillĕk*	*biš*	*beş*	*bäš*	*bies*	*beš*
«девять» طوخر	*toχur*		*tuxĭr*	*tăxxăr*	*tugəz*	*dokuz*	*dokkĭz*	*togus*	*tokuz*
«десять» وان	*van*		*ŭɔn*	*vună*	*un*	*on*	*ōn*	*uon*	*on*
«день» كوان	*küän*		*küœn*	*kun*	*kön*	*gün*	*gün*	*kün*	*kün*
«четвертый» توات	*tüätim*		*tüœtim* (*twätim*?)	*tăvattămĕš*	*dürt-*	*dörd-*	*dörd-*	*tüört*	*tört-*

* Каракалпакское: *elli* ~ *eliw* «пятьдесят»
** Уйгурское: *ellik* «пятьдесят»

Моя гипотеза сводится к следующему.

Во времена Булгарского государства волжские булгары и предки чувашей, хотя генетически и были сравнительно близки друг другу, представляли собой разные народы. Волжские булгары мигрировали в район слияния Волги и Камы с юга в VII в., тогда как чувашские племена, по-видимому, уже обитали в этом районе.

Языки волжских булгар и предков чувашей, будучи R-языками, были сходны. И все же они отличались друг от друга. Примерно к XIII в. древнечувашский, вероятно, уже имел *р*- и *ś*, соответствующие булгарским *b*- и *ǰ* (т. е. *ʤ́* или *ź*). Система гласных обоих этих языков была предположительно следующей [20]:

волжско-булгарский	чувашский
i ü ï u	*ĭ ŭ ĭ ŭ*
ĭɛ ŭœ ŭɔ	*ĭe ŭö ŭo*
ä a	*a*

Иначе говоря, в чувашском **ä* стало *a*, а **a* конвергировало с *ŭo*.

К середине XIII в., когда образовалась Золотая орда, волжские булгары начали испытывать влияние «тюрко-татар» (которых можно считать очень близкими куманам или даже самими куманами) и в конце концов восприняли их язык. Однако при этом булгары приняли тюрко-татарский язык на основе своей собственной системы гласных, которая сохранилась как субстратное явление и которая позднее преобразовалась в систему гласных современного татарского (и башкирского) языка. Схематически этот процесс можно изобразить так (знак [>] указывает на синхроническое заимствование из языка в язык, знак [→] — на диахроническое изменение):

тюрко-татарский		булгарский		татарский
a	>	*a* (или *ä*) →	*a* (или *ä*) →	*a* (или *ä*)
e	>	*iɛ* →	*iĕ* →	*i*
o	>	*ŭɔ* →	*uŏ* →	*u*
ö	>	*ŭœ* →	*ŭŏ* →	*ü*
ï	>	*ï* →	*ĭ* →	*ə̆*
i	>	*i* →	*ĭ* →	*ĕ*
u	>	*u* →	*ŭ* →	*ŏ*
ü	>	*ü* →	*ŭ* →	*ŏ*

[20] Основанием для предлагаемой реконструкции является следующее. Транскрипция средствами арабской графики булгарских слов **altï* с буквой «та» и *säkir* с буквой «каф» показывает, надо полагать, что булгарский язык различал **a* (прототюркский **a*) и **ä* (прототюркский **ä*), и что **a*, передаваемый буквой «алеф» в словах **altï* и **ǰal*, был монофтонгом, не имевшим признаков конвергенции с **ŭɔ* (прототюркские **o* и **ō*), в то время как в чувашском языке такая конвергенция имела место. Ср. также волжско-булгарское слово Махмуда аль-Кашгари *azaγ* «нога» (PTF, стр. 692) с чувашским словом *ura* и татарским *aǰak*. С другой стороны, арабская транскрипция булгарских слов **ǰĭɛti*, **bĭɛl*, **ŭɔn*, **kŭœn* и **tŭœtim* показывает, что первые гласные в этих словах были не монофтонгами, а дифтонгами. Что же касается чувашского языка, то «в нем прототюркские **a*, **ā*, **o*, **ō* во многих случаях, включая *ulttă* «шесть», *śul* сто» и *ura* «нога», конвергировали в *u*; прототюркские **ä* и **ā* во многих случаях, включая *sakkăr* «восемь» и *allă* «пятьдесят», изменились в *a*.

Впрочем, следует отметить, что в современном чувашском языке, кроме фонемы *a*, имеется *e*, а в верховом диалекте вместо *u* низового диалекта и литературного языка имеется также *o*. Все это требует проведения дальнейшего гораздо более детального исследования.

Подобным же образом преобразовались и чувашские гласные, возможно, потому, что чувашский язык имел сходную с булгарским тенденцию к изменению гласных, а именно тенденцию к восходящей (а позже и нисходящей) дифтонгизации гласных среднего подъема и редукции гласных высокого подъема. Но эти изменения гласных, особенно редукция гласных высокого подъема, вероятно, начались в чувашском раньше, чем в булгарском. Так, в чувашском смешались редуцированные гласные *ĕ* и *ŏ*, *ə̆* и *ŏ*, что дало в результате два гласных — *ĕ* и *ă*.

Чувашские племена, возможно, являются одной из ветвей прямых потомков гуннов, давших толчок к 70-м годам IV в. к «Великому переселению народов» и в конце V в. сошедших с исторической арены. Одна из причин, почему чуваши не приняли тюрко-татарский язык, вероятно, заключается в том, что они уже составляли народность, отличную от булгар. Трудность установления точных фонетических соответствий между чувашским и другими тюркскими языками, по-видимому, объясняется тем, что чувашский язык испытал на себе влияние волжско-булгарского, татарского, а также других тюркских языков, не говоря уже о возможном влиянии уральских.

Перевела с английского *Омельянович Н. В.*

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1980

БИРЮКОВИЧ Р. М.

К СЕМАНТИЧЕСКОМУ ОБОСНОВАНИЮ КАТЕГОРИИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ

(на материале чулымско-тюркского языка)

Памяти Андрея Петровича Дульзона

Под категорией принадлежности в тюркских языках понимают свойство класса имен в сочетании с определенным разрядом суффиксов (аффиксов принадлежности) регулярно выражать некоторое содержание, именуемое отношением принадлежности. Однако вопрос семантики данной категории является до сих пор дискуссионным. Это вполне объяснимо, если учесть сложность самой природы анализируемой категории. Исследователи тюркских языков подчеркивают условность данного термина [1] и отмечают, что значение формы принадлежности не может быть сведено к выражению отношений принадлежности и обладания. Вместе с тем отмечается, что значение этой формы гораздо шире и объединяет значения отношений различного типа [2]. Так, в частности, указывается на противопоставленность аффиксов принадлежности 1-го и 2-го лица аффиксу принадлежности 3-го лица [3]. В 1 и 2-м лице формы категории принадлежности, действительно, обозначают отношение реальной принадлежности: *ча:джым порой пысхан* «волосы (мои) поседели»; *тамна уқсум одаликмän* «завтра лук (свой) прополю»; *ады:йең ӱрӱптӱр* «собака (твоя) лает»; *тутунуң чунар гäрäк* «одежду (твою) стирать надо». Формы же принадлежности 3-го лица могут обозначать отношение части к целому, временные, пространственные и др. отношения, например: *истäл аза:гы* «ножка стола»; *кӱнӱбелä* «целым днем (его)»; *чо:лыбыла* «дорогой (его)». Представляется, что все выделяемые исследователями отношения, выражающиеся формантами принадлежности, имеют одну общую основу и могут быть определены в единых понятиях.

Обратимся к анализу конкретного материала и рассмотрим функционирование данных форм в следующем отрывке (из сказки на чулымско-тюркском языке): «*ämдä кижиг карындо:зы* (ф-ма принадл.) *орту:на*

---

[1] Н. К. Дмитриев, Категория принадлежности, в кн.: «Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков», 2 — Морфология, М., 1956, стр. 23.

[2] Е. И. Убрятова. Исследования по синтаксису якутского языка, М.— Л., 1950, стр. 181; Н. К. Дмитриев, указ. соч., стр. 22; Э. В. Севортян, Категория принадлежности, в кн.: «Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков», стр. 43; С. С. Майзель, Изафет в турецком языке, М.— Л., 1957, стр. 25—43; Н. З. Гаджиева. Природа изафета в тюркских языках, «Советская тюркология», 1970, 2; ее же, Основные пути развития синтаксической структуры тюркских языков, М., 1973, стр. 107; С. Н. Иванов, Родословное древо тюрок Абу-л-Гази-хана, Ташкент, 1969, стр. 100; его же, Курс турецкой грамматики, Л., 1975, стр. 57—58; А. М. Щербак, Очерки по сравнительной морфологии тюркских языков. Имя, Л., 1977, стр. 79; Н. А. Баскаков, Историко-типологическая морфология тюркских языков, М., 1979, стр. 222.

[3] Э. В. Севортян, указ. соч., стр. 43—44; С. Н. Иванов, Курс турецкой грамматики, стр. 57; А. М. Щербак, указ. соч., стр. 79—80.

(ф-ма принадл.) *айдыбылы*: „ортун *қарындаш, сён қал, катагла*“. *ол ка:п паган, қатагла:была. пазақ кö:лӱ* (ф-ма принадл.) *кöп ысхан. че:ге* (ф-ма принадл.) *сыққан. пазақ пислäң қаттырны шаслаптыр, қанны:рын* (ф-ма принадл.) *иштыр. иш са:п тö:дӱр ке:р паган. ämдä қарындысты:ры* (ф-ма принадл.) *кäлгäн. ортун қарындо:зы* (ф-ма принадл.) *айтва:н. улуг қарындо:зы* (ф-ма принадл.), *ортун қарындо:зы* (ф-ма принадл.) *кепте:рен* (ф-ма принадл.) *пер саган. олло:ры* (ф-ма принадл.) *ӱшӱп парсхан...*». [«Затем младший брат (его) среднему (его) говорит: „средний брат, ты останься сторожи“. Он остался, сторожит. Опять зола (его) поднялась, черт (его) вышел. Опять шилом жен прокалывает, крови (их) пьет. Выпив, обратно ушел. Затем братья (их) пришли. Средний брат (его) не сказал. Старший брат (его), средний (его), одежду (их) отдали, те (их) улетели...»].

Представленные в отрывке притяжательные формы подтверждают мысль о том, что целый ряд случаев употребления имен с аффиксом принадлежности не может быть сведен к значению обладания или реальной принадлежности. Ярким примером] может служить форма *че:ге* «черт (его!)» или *кö:лӱ* «зола (его!)».

Значение этих форм нельзя подвести ни под одно из значений, выделяемых в литературе в качестве отдельных значений категории принадлежности. Здесь, безусловно, не выражается ни отношение части к целому, ни отношение обладания, ни отношение принадлежности. Вряд ли также правомерно говорить здесь о функции своеобразного артикля [4], выполняемой формой 3-го лица, имея в виду артиклевую функцию в индоевропейских языках. Подтверждением нашей мысли о неправомерности сопоставления форманта 3-го лица с артиклем является употребление формы принадлежности у имени при первом упоминании предмета. Здесь, казалось бы, следовало ожидать имя в простой (непритяжательной форме), обозначающей неизвестный, впервые упоминаемый предмет. Между тем в тексте при обозначении неизвестного предмета употреблена форма с притяжательным аффиксом. Употребление в притяжательной форме впервые упоминаемого слова [*че:ге* «черт (его)», *кö:лӱ* «зола (его)»] является несомненным доказательством отсутствия у данной формы значения определенности в данном контексте.

Все это говорит о том, что выделяемые у категории принадлежности значения обладания, определенности, части и целого представляют собой лишь частные значения, присущие анализируемой категории, и не охватывают всего многообразия оттенков значений данной категории, реализующихся в речи. Значение определенности, появляющееся в условиях особого контекста, возникает в результате наличия у анализируемой категории классифицирующей функции, что сближает ее с индоевропейским артиклем, выполняющим аналогичную функцию. Однако основание классификации у обеих категорий различно. Если у артикля это признаки известный/неизвестный, определенный/неопределенный, единичный/общий [5] и под., то у категории принадлежности, по-видимому, выступают иные признаки.

Классифицирующая деятельность человека, лежащая в основе создания им модели мира, осуществляется по заданным критериям на основании ограниченного набора оппозиций. Она протекает на подсознательном уровне и манифестируется в знаковых системах разного рода [6]. Боль-

---

[4] K. Grönbech, Der turkische Sprachbau, I, Kopenhagen, 1936, стр. 92—93.

[5] Об этом см.: С. Д. Кацнельсон, Типология языка и речевое мышление, Л., 1972, стр. 35—36.

[6] Т. В. Цивьян, О некоторых способах отражения в языке оппозиции внутренний/внешний, сб. «Структурно-типологические исследования в области грамматики славянских языков», М., 1973, стр. 244—245.

шинство универсальных оппозиций (живой/неживой, единичность/множественность, свой/чужой, близкий/далекий, верх/низ, правый/левый и т. д.) выражается в языке в трансформированном виде (например, универсальная оппозиция живой/неживой в грамматической оппозиции одушевленный/неодушевленный). В способе классификации объектов, закрепленном языком, можно ожидать отражения различных проекций универсальных понятийных категорий. Поскольку в тюркских языках (и, в частности, чулымско-тюркском), как было показано выше, оказывается очень существенным постоянное маркирование имен аффиксами принадлежности, то можно предположить, что и классификация объектов (предметов) в этих языках должна быть основана на данном принципе, т. е. осуществляется по признаку принадлежности, в котором отражено более общее значение включенности/невключенности [7].

Универсальные оппозиции, естественно, «...не равны, но лишь положены в основу грамматических оппозиций... К тому же для грамматической категории, соответствующей какой-либо универсальной оппозиции, существует некий ц е н т р, или locus, где эта оппозиция манифестируется особо ярко, семантически значимо и почти конкретно (т. е. не трансформированным образом). При этом существует и п е р и ф е р и я..., где та же оппозиция семантически ослаблена или вообще нейтрализована» [8]. Таким центром в тюркских языках можно считать грамматическую категорию принадлежности в том понимании, которое мы вкладываем в это понятие, т. е. категорию, содержание которой составляет значение включенности/невключенности в сферу существования другого предмета (объекта, лица).

Представляется, что наша интерпретация содержания рассматриваемой категории хорошо согласуется с предполагаемым путем развития категории принадлежности из категории, выражающей пространственные отношения. На такой путь развития притяжательных суффиксов в тюркских и уральских языках указывает Б. А. Серебренников: «...понятие „мой“ развилось из понятия „ближе всего ко мне лежащий“, понятие „твой“ — из понятия „лежащий немного подальше от меня“ и понятие „его“ — из понятия „наиболее от меня удаленный“» [9]. Из этого следует, что понятия „мой“, „твой“, „его“ предполагают предмет, относящийся, включенный в сферу существования другого предмета (лица), при этом подчеркивается особый статус 3-го лица (о чем см. также ниже).

Дифференциация объектов по признаку включенности/невключенности выражается на разных уровнях языковой структуры и разными языковыми средствами. Так, морфологические показатели (аффиксы принадлежности) выступают в качестве формального средства выражения дифференциации обозначаемых именами предметов по признаку включенности/невключенности на коммуникативном уровне предложения [10].

На коммуникативном уровне происходит дифференциация объектов (предметов) по признаку включенности в сферу говорящего — слушающего, т. е. участников коммуникации, с одной стороны, и в сферу лица (предмета), не являющегося участником коммуникации,— с другой. Все, что включено в сферу участников коммуникации, стоит в форме 1 или 2-го

---

[7] Об универсальной семантической оппозиции включенности/невключенности см.: Т. В. Ц и в ь я н, указ. соч., стр. 249.

[8] Т. В. Ц и в ь я н, указ. соч., стр. 248.

[9] Б. А. С е р е б р е н н и к о в, К проблеме происхождения притяжательных суффиксов в тюркских и уральских языках, сб. «Фонетика, фонология, грамматика. К семидесятилетию А. А. Реформатского», М., 1971, стр. 279.

[10] О выделении коммуникативного уровня см.: Н. Д. А р у т ю н о в а, раздел «Синтаксис» в кн.: «Общее языкознание», М., 1972, стр. 265.

лица, все, что не включено, стоит в форме 3-го лица, а это ведет к ослаблению значения принадлежности у формы 3-го лица. На особый статус 3-го лица указывает и Э. Бенвенист: «Форма, называемая третьим лицом, действительно содержит указание на высказывание о ком-то или о чем-то, но это не соотносится с определенным „лицом". ...Следствие этого должно быть четко сформулировано: „третье лицо" не есть „лицо"...» [11], поэтому 3-е лицо может обозначать все, что угодно.

Все имена предметов, которые включены в сферу участников коммуникации, снабжены формантом принадлежности 1 и 2-го лица (говорящий — слушающий), ко всем именам предметов, которые не включены в сферу существования коммуникантов, присоединяется формант принадлежности 3-го лица. Понятно поэтому, что формант принадлежности 3-го лица не выражает реальной принадлежности объекта к какому-нибудь лицу, а лишь определяет предмет как предмет, не включенный в сферу одного из участников коммуникации.

Тот факт, что классификация предметов происходит по признаку включенности в сферу участника/неучастника коммуникации, а не по признаку принадлежности, хорошо иллюстрируется формами *че:ге* «черт (его)» и *кö:лӱ* «зола (его)», обозначающими не принадлежность, а объекты, включенные в сферу лица, не являющегося участником коммуникации. При этом имеется в виду именно признак включенности, а не признак принадлежности как таковой, что хорошо иллюстрируют формы «принадлежности» у существительных *че:ге* «черт (его!)» и *кö:лӱ* «зола (его)», обозначающих предметы, которые не включены в сферу говорящего и слушающего.

Таким образом, аффиксы принадлежности являются формальным средством выражения признака «включенность». Под признаком «включенность» мы понимаем, как было показано выше, включенность одного объекта в сферу существования другого. Имена с аффиксом 1-го и 2-го лица являются формальным выражением включенности предмета в сферу существования коммуникантов, имя с аффиксом 3-го лица — в сферу существования некоммуниканта. Следовательно, классификация предметов в чулымско-тюркском языке осуществляется на коммуникативном уровне посредством противопоставления «включенности» в сферу существования участника коммуникации/неучастнику коммуникации.

Значение принадлежности как одно из реализаций более широкого значения «включенности» выражается и на семантико-синтаксическом уровне. Отношение между структурно-смысловыми элементами предложения (семантическими актантами) [12] выражается в языках, обладающих падежами, определенными падежными формами имен, занимающими соответствующие синтаксические позиции (синтаксические актанты).

Падежными формами, передающими отношения принадлежности в чулымско-тюркском языке, являются родительный и основной в синтаксических конструкциях изафета II и изафета III.

Имя в основном падеже в чулымско-тюркском языке, как и в других тюркских языках, не маркировано формантом. Не имея формального показателя, совпадая с основой, основной падеж просто называет предмет, не выражая каких-либо отношений. Будучи не маркированным в отношении направленности действия и характера связи между элементами, он может в силу этого обозначить элемент, выполняющий любую семантическую и синтаксическую функцию. Теоретически он может обозначить се-

[11] Э. Бенвенист, Общая лингвистика, М., 1974, стр. 262.

[12] Вопрос о количестве и семантике компонентов (актантов) семантической структуры выходит за рамки данного исследования. Нас интересуют лишь способы выражения значения «включенности» предмета в сферу существования другого предмета.

мантический субъект, объект, адресат. Вот почему в синтаксической структуре предложения он практически встречается во всех позициях и, в частности, в позиции определения.

Специфика род. падежа заключается в том, что он обозначает предмет, который не входит в актантный комплект и номинативный минимум предложения. Именуемый род. падежом элемент не участвует в формировании пропозиционального концепта [13]. Не соотносясь непосредственно с актантом, но характеризуя его, имя в форме род. падежа имеет как бы косвенную причастность к действию. Характеризуя актант на семантическом уровне, имя в форме род. падежа выполняет функцию определения в синтаксической структуре предложения.

Функционируя в роли определения, имена в форме осн. и род. падежей являются, как было указано выше, элементами синтаксических конструкций изафета II и изафета III. Конструкции эти представляют собой «такую определительную группу, в которой определяемое, являясь всегда субстантивом, определяется с точки зрения или принадлежности к другому предмету или различных форм отношения к нему» [14].

Дифференциация значений имени в форме осн. и род. падежей в изафетах II и III, согласно сложившемуся мнению в тюркологии, проводится на основе противопоставления значений неопределенности/определенности [15] или конкретно-предметных/отвлеченно-предметных значений [16]. В литературе [17], однако, отмечается нерегулярность в противопоставлении значений определенности/неопределенности в данных конструкциях. То же можно констатировать и для употребления указанных форм в чулымско-тюркском языке. Рассмотрим несколько примеров из этого языка, в которых наблюдается как бы «нарушение» указанного принципа. Возьмем изафет II: 1) *па:лық мӱнӱ сугоч паган* «уха жидкой была» (срч.) [18]; 2) *кӧп чыллар олар чуртаннар ӱс па:зында* «многие годы они жили в верховьях Чулыма» (м.); 3) *олар ӧзӱп паро:дылар ӱс па:зына* «они на веслах поплыли вверх Чулыма» (м.); 4) *ӱс қыры ырақ* «берег Чулыма далеко» (срч.); 5) *колхоста чылгы инӓк ораны е:т саган* «в колхозе стайку для лошадей, коров построили» (срч.); 6) *ӓп е:жиги ӓргип паган* «дверь дома старой стала» (срч.); 7) *агац ва:жы шоглапйа* «вершины деревьев шумят» (нч.), *агац қа:гы саргай варган* «листва деревьев пожелтела» (нч.). Во всех предложениях имена в форме осн. падежа передают значение определенности, а не ожидаемое согласно установившемуся мнению значение неопределенности.

В артиклевых языках типа германских в этих случаях употребляется определенный артикль, например, англ. *The fish soup was thin* «Уха была жидкой»; *Many years they had been living at the source of the Chulim* «Многие годы они жили в истоке Чулыма»; *The bank of the Chulim is far away* «Берег Чулыма далек»; *The door of the house has become old* «Дверь дома стала старой» и т. д.

Если бы в тюркских языках действительно дифференциация изафета II и изафета III осуществлялась на основе оппозиции неопределенности/определенности, то при передаче значений определенности следовало бы

---

[13] В. А. Белошапкова, Современный русский язык, М., 1977, стр. 140.

[14] Н. З. Гаджиева, Основные пути развития синтаксической структуры тюркских языков, стр. 107.

[15] Н. К. Дмитриев, Грамматика башкирского языка, М.— Л., 1948, стр. 218; Дж. Г. Киекбаев, Введение в урало-алтайское языкознание, Уфа, 1972, стр. 112.

[16] С. Н. Иванов, Родословное древо тюрок Абу-л-Гази-хана, стр. 71.

[17] С. С. Майзель, указ. соч., стр. 59—73.

[18] В статье приняты следующие сокращения: срч.— среднечулымский диалект, м.— мелетский говор среднечулымского диалекта, нч.— нижнечулымский диалект.

ожидать форму изафета III. Однако, как видно из примеров, это не соответствует языковой реальности: при передаче значения определенности употреблена форма изафета II вместо ожидаемой формы изафета III. Все это дает основание предположить, что противопоставление имен в форме осн. и род. падежей базируется не на противопоставлении значений определенности/неопределенности.

Поскольку для передачи атрибутивных отношений в чулымско-тюркском употребляется имя в осн. и род. падежах, то функцией род. падежа, по всей вероятности, является не только функция атрибута (определения). Дополнительным свидетельством в пользу данного предположения является наличие двух форм в изафете III (формы род. падежа и аффикса принадлежности), выражающих значение притяжательности. Это дает повод полагать, что формы эти дифференцированы каким-то образом, в противном случае одна из них должна быть избыточной.

Представляется, что функцией род. падежа является не только обозначение признака предикативного предмета, но и отношение определителя (элемента, определяющего предикативный предмет) к некоторому классу, т. е. мы полагаем, что, кроме атрибутивной функции, он выполняет классифицирующую функцию. Классификация определителей, на наш взгляд, осуществляется на основе универсальной оппозиции включенности/невключенности.

Рассмотрим два ряда примеров: 1) *инäк сӱдӱ* «коровье молоко», *ҟой тӱгӱ* «овечья шерсть», *пала атä:зы* «отец ребенка», *тӱлгӱ пö:рӱгӱ* «лисья шапка»; 2) *инäктиҥ сӱдӱ* «молоко коровы», *койныҥ тӱгӱ* «шерсть овцы», *паланыҥ атä:зы* «отец ребенка». И в первой, и во второй группе примеров выражено отношение принадлежности, однако изафет II и изафет III, используемые для этого, обозначают различные типы отношений принадлежности: с одной стороны, такие отношения, как часть и целое, материал и источник, родственные отношения, с другой стороны — отношение обладания [19].

Так, в первом случае определитель семантического актанта обозначает предмет, не являющийся субъектом обладания (посессором) определяемого предмета (*шерсть овцы*, т. е. *овечья шерсть*; *молоко коровы*, т. е. *коровье молоко* — здесь имеет место отношение предмета и источника; *отец ребенка* — в данном случае выражено отношение принадлежности по родственному признаку). Во втором случае определитель семантического актанта обозначает предмет, являющийся субъектом обладания (посессором определяемого предмета).

Семантическое различие определителей в этих двух группах примеров выражается вхождением их в различные ряды парадигм притяжательного склонения:

1) *инäк сӱдӱм* «(мое) коровье молоко»	2) *ине:гем сӱдӱ* «(моей) коровы молоко»
инäк сӱдӱҥ «(твое) коровье молоко»	*ине:геҥ сӱдӱ* «(твоей) коровы молоко»
инäк сӱдӱ «(его) коровье молоко»	*ине:ге сӱдӱ* «(его) коровы молоко»

В первом случае (в первом типе парадигмы) выражено отношение между материалом и источником. Формальный показатель принадлежности присоединяется к имени, обозначающему объект владения, а не к имени —

[19] Выделение подобных значений см.: Е. И. Убрятова, указ. соч., стр. 204; С. С. Майзель, указ. соч., стр. 16, 53, 25—43; В. А. Богородицкий, Введение в татарское языкознание в связи с другими тюркскими языками, Казань, 1953, стр. 44.

определителю объекта владения, т. е. здесь отсутствует отношение обладания.

Во втором случае (во втором типе парадигмы) выражено отношение обладания. Формальные средства служат для указания на то, что определитель семантического актанта является посессором определяемого предмета.

То, что во втором ряду примеров отражены именно отношения обладания, доказывается дистрибуцией этих форм. В чулымско-тюркском языке формы *ине:гем сӱдӱ* «моей коровы молоко» и *ине:гемниң сӱдӱ* «моей коровы молоко» находятся в свободном чередовании и представляют собой варианты одной морфологической единицы, т. е. в форме *ине:гемниң сӱдӱ* (изафет III) посессор и определитель семантического актанта совпадают. Именно этим форма род. падежа в изафете III отличается от формы осн. падежа в изафете II, в котором имя в осн. падеже обозначает только определителя семантического актанта. Таким образом, объект (предмет), обозначенный именем в форме род. падежа, классифицируется по признаку включенности в сферу посессивности предмета. Противопоставление род. и осн. падежей является формой выражения частной семантической оппозиции вхождения/невхождения в сферу посессивности субъекта, которая входит в более обобщенную оппозицию, классифицирующую объекты по вхождению/невхождению в сферу существования.

Отмечаемое в тюркологической литературе различие семантики форм осн. и род. падежей по признаку неопределенности/определенности не является равноправной в ряду выделенных выше оппозиций, а входит как часть в указанные противопоставления. Действительно, поскольку имя в форме осн. падежа обозначает предмет, не входящий в сферу посессивности предмета, то и предмет этот может восприниматься как неопределенный. Наоборот, имя в форме род. падежа обозначает предмет, входящий в сферу посессивности предмета (лица), отсюда вытекает сопутствующий ему признак определенности. Но эти сопутствующие признаки (в первом случае определенности, во втором — неопределенности) не носят обязательного характера. Все случаи «отклонений» в употреблении осн. и род. падежей с позиции определенности/неопределенности могут быть объяснены, исходя из оппозиции включенности/невключенности в сферу посессивности предмета (лица).

Таким образом, дифференциация значений осн. и род. падежей определяется характером отношений между определителем семантического актанта и самим семантическим актантом. При совмещении в определителе признака предмета и значения посессора в синтаксической структуре выступает род. падеж. При отсутствии такого совпадения, т. е. отсутствии значения обладания, выступает основной падеж как выразитель других типов отношений притяжательности (по признакам материала, части и целого и т. д.).

Категорией принадлежности объясняется и изофункциональность осн. и вин. падежей. Изофункциональность осн. и вин. падежей в тюркских языках отмечена исследователями уже в XIX в.[20], которые указывали на их общую функцию — функцию прямого объекта. Начиная с этого времени в тюркологической литературе установилось мнение, согласно которому дифференциация значений осн. и вин. падежей прямого объекта осуществляется по признаку неопределенности/определенности, т. е. функция указанных форм приравнивается к артиклевой функции индоевропейских языков. Отмечается, однако, как применительно к современным язы-

[20] М. А. Казембек, Общая грамматика турецко-татарского языка, Казань, 1846, стр. 382—383.

кам [21], так и к древним памятникам [22], нарушение в выражении данного принципа.

Чулымско-тюркский язык не представляет собой исключения в этом отношении. Так, в предложениях, содержащих неопределенный прямой объект, вместо ожидаемого осн. падежа употреблена форма вин. падежа: *käскел чылыг тутунну* «надень теплую одежду»; *пис кӧрге:бес ча:ӊ ы:лны* «мы видели новую деревню»; *мӓн чабал а:лычты пилибилмӓн* «я знаю плохих (диких) зверей»; *мӓн кӧ:рӱблӱм инӓкти* «я вижу корову», *кемниӊ ол ине:ге* «чья это корова?»; *ол кижиниӊ ине:ге* «это чужая корова», *суруспар инӓкти* «прогони корову» (срч.).

В артиклевых языках (типа германских) в подобных случаях предполагается употребление неопределенного артикля, например: англ. *Put a warm coat*; нем. *Ziehe eine warme Jacke an*; англ. *We saw a new settelment*; нем. *Wir haben ein neues Dorf gesehen*; англ. *I see a cow*; нем. *Ich sehe eine Kuh*.

Противопоставление значений неопределенности/определенности у осн. и вин. падежей возведено некоторыми исследователями тюркских языков в ранг категории неопределенности/определенности [23].

Система падежей, например, в индоевропейских языках, служит для выражения отношений между предметами. Вин. падеж передает отношение направленности действия на предмет. Им. падеж называет предмет или лицо, от которого исходит действие. В русском языке указанные падежи четко противопоставляются формально. В случае совпадения форм (например, *Мать любит дочь*) противопоставление осуществляется позиционно, т. е. основное назначение вин. падежа — выделение прямого объекта.

В чулымско-тюркском же языке для выражения объекта используются и осн. падеж, и вин. падеж. Это говорит о том, что функция прямого объекта не является единственной для вин. падежа, хотя и присуща ему. Приведем примеры для иллюстрации употребления вин. падежа в функции прямого объекта: а) *мӧ:рӱ апарган ӄойну* «волк унес овцу»; *апарвал мылтыхты ӱгӓ* «не вноси ружье в дом»; *адай ӄатагла:н ӓпти* «собака караулила дом»; *чылга: о:луртуп ӓпке аке:птир лизӓветӓни* «на лошадь посадив домой везет Елизавету»; *мӓн учтурган ӄучактарны ӄӧрге:м* «я видел летящих птиц»; б) *ол'га чыртып салган кӱне:ген* «Ольга порвала (свое) платье»; *ол ме:ӊ туган кӱнӱмнӱ пайрамна:н* «он мой день рождения праздновал»; *ол айтхан ме:ӊ а:дымны сыйарга* «он попросил написать мое имя»; в) *ӓккӓл те ту:сту мӧттӱг* «принеси тот туяс с медом»; *па:лыӄлытӄан кижи аке:цалган те кижини ӄайуӄта* «рыбак перевез этого человека на лодке»; *пӓр ма: ол ӄагасты* «дай мне ту бумагу».

Во всех данных выше примерах вин. падеж выделяет объект, причем в предложениях под пунктами б) и в) он употреблен с формой притяжательности и указательным местоимением соответственно, а в предложениях под пунктом а) определенной закономерности пока не отмечается. Здесь и упоминание неизвестного объекта, и объекта, о котором можно предположить, что он известен.

Анализ условий употребления вин. падежа позволяет дать иное объяснение содержательных функций, выполняемых вин. падежом. По-видимо-

[21] В. М. Насилов, Грамматика уйгурского языка, М., 1940, стр. 43; Е. И. Убрятова, Исследования по синтаксису якутского языка, М.— Л., 1950, стр. 122.

[22] W. Radloff, Die alttürkischen Inschriften der Mongolei, Neue Folge, SPb, 1897, стр. 102; А. Курышжанов, Значение аккузатива в языке Codex Cumanicus, «Изв. АН КазССР», Серия филологии и искусствоведения, 1 (6), Алма-Ата, 1957, стр. 47.

[23] Дж. Г. Киекбаев, указ. соч., стр. 79—144.

му, функцией вин. падежа является не просто обозначение объекта, характеризующегося признаком «определенность», а отнесение называемого предмета к определенному классу реалий, т. е. у вин. падежа имеется и классифицирующая функция. Следовательно, в форме вин. падежа совмещены две функции [24]: с одной стороны, она служит для выражения семантической функции объектива, с другой стороны — функции классификатора.

Для определения семантической оппозиции, на основе которой происходит классификация объектов в чулымско-тюркском языке, рассмотрим несколько примеров: 1) *мäн сатырмäн äп* «я продаю дом»; 2) *мäн öс е:бемны сатырмäн* «я свой дом продаю».

Примечательно, что в предложениях с притяжательными местоимениями существительное, обозначающее объект, на который направлено действие, может стоять в осн. падеже категории принадлежности вместо ожидаемого вин. падежа. Нами зафиксированы многочисленные примеры подобного рода: *мäн қарынды:жым аппаррыкмäн тура* «я возьму (моего) брата в город»; *мäн кара:гым паглаптырмäн, нöмäлä ке:р паган* «я глаз (мой) завязываю, что-то попало»; *то:нуң аскыл по:зуга* «шубу (твою) повесь на гвоздь»; *алгыл ме:ң қагы:зым* «возьми мое письмо (бумагу)»; *кäс сäн по:рüгüң* «одень ты шапку (твою)». Аналогичное явление отмечается в разговорном казахском и в крымском диалекте караимского языков [25].

Дистрибутивный анализ явления, встречающегося довольно часто в чулымско-тюркском языке, показал, что формы осн. и вин. падежей в категории принадлежности находятся в свободном чередовании (встречаются в одной и той же позиции, выражая при этом одинаковое значение — значение прямого объекта), т. е. репрезентируют варианты одной морфологической единицы: *мäн öс е:бем* (осн. пад.) *са:тырмäн* «я продаю свой дом» — *мäн öс е:бемни* (вин. пад.) *са:тырмäн* «я свой дом продаю»; *алгыл öс пö:рüгüң* (осн. пад.) «возьми свою шапку» — *алгыл öс пö:рüгüңнü* (вин. пад.) «возьми свою шапку».

Кроме того, в свободном чередовании с упомянутыми формами находится и форма вин. падежа (в простой, не в притяжательной форме), например: 1) *сäн кäс пö:рüгüң* (осн. пад. притяжат. ф-ма) — *сäн кäс öс пö:рüгüңнü* (вин. пад. притяжат. ф-ма) — *сäн кäс öс пö:рükту* (вин. пад. непритяжат. ф-ма) «ты одень свою шапку» (перевод всех данных предложений); 2) *пäр ана пистиң часту:губус* (осн. пад. притяжат. ф-ма) — *пäр ана пистиң часту: губусту* (вин. пад. притяжат. ф-ма) — *пäр ана пистиң частуқту* (вин. пад. непритяжат. ф-ма) «дай ему нашу подушку».

Мысль о том, что данные формы могут представлять собой варианты одной единицы, согласуется с предположениями о происхождении форманта вин. падежа от аффикса притяжательности [26], т. е. с ретроспективной точки зрения в формах *пö:рüгüңнü* (вин. пад. притяжат. ф-ма) «твою шапку» и *часту:губусту* (вин. пад. притяжат. ф-ма) «наши подушки» мы имеем плеонастическое выражение категории принадлежности. Таким образом, в основе классифицирующей функции, присущей форме вин. падежа, лежит принцип классификации по признакам принадлежности. Однако следует подчеркнуть, что принадлежность здесь понимается не в узком смысле, а в обобщенном значении понятийной категории включенности (предполагающей наличие признака «включенность» в сферу деятельности

---

[24] О синкретизме падежных форм см.: С. Д. Кацнельсон, указ. соч., стр. 43.
[25] А. Курышжанов, указ. соч., стр. 46—47; О. Я. Прик, Очерк грамматики караимского языка (крымский диалект), Махачкала, 1976, стр. 118.
[26] В. А. Богородицкий, указ. соч., стр. 156.

человека, в сферу его жизни и окружения), представленной в языках универсальной оппозицией близкий/далекий [27].

Справедливо отмечаемое же значение определенности у вин. падежа [28] представляет собой, по всей вероятности, признак оппозиции определенность/неопределенность, но не в присущем артиклю значении знания/незнания, а просматриваемом опять-таки через призму категории принадлежности.

В языках с развитой системой выражения категории определенности/неопределенности, согласно нормативным грамматикам, для выражения впервые упомянутого предмета употребляется неопределенный артикль, при вторичном упоминании или упоминании известного предмета — определенный артикль. В тюркологической литературе находим аналогичную параллель: при дифференциации осн. и вин. падежей исходят из значений неопределенности/определенности прямого объекта.

Анализ материала чулымско-тюркского языка, однако, показывает, что при первичном упоминании предмета существительное, его обозначающее, стоит в осн. падеже, при вторичном же упоминании существительное, употребленное для обозначения объекта, употребляется не только в вин., но и в осн. падеже, например: 1) *ме:ӈ улуг оғлум кämä* (осн. пад.) *кäсäргä кӱч, ол кäшä пашта:н, пӱн äртер салган кäме:зен* (вин. пад.) «мой старший сын лодку мастер делать, вчера начал, сегодня закончил лодку (свою)»; 2) *ы:лча ке:р очқа* (осн. пад.) *кäле:ди, мäн кö:рӱблӱм ке:р очқа* (осн. пад.) «по деревне идет старик, я вижу старика».

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что разграничение значений осн. и вин. падежей осуществляется в плане противопоставления признака определенный/неопределенный, входящего в более широкую понятийную категорию включенный/невключенный в сферу существования, представленную более частными оппозициями: а) свой/чужой; формальным выражением признака «свой» является обязательный детерминант (притяжательное местоимение) плюс формант вин. падежа (простая форма), например, *пистиӈ койну*; б) включенный/невключенный в сферу посессивности лица; формальное выражение признака «включенности»: 1) указательное местоимение + форма вин. падежа или 2) обязательность аффикса вин. падежа.

Оппозиция определенный/неопределенный (выражаемая в языке формами осн. и вин. падежей) функционирует не как равноправная в этом ряду противопоставлений, а входит как часть в указанные оппозиции. Именно с этих позиций объясняются все случаи «отклонений» в употреблении вин. падежа, о которых говорилось выше.

Таким образом, на семантическом уровне форма вин. падежа в чулымско-тюркском языке обозначает участника ситуации (объект). Но поскольку в данном языке для выражения объекта в синтаксической структуре существует еще одна форма (осн. падеж) и, кроме того, другие средства, например, позиционные и семантические (имя в осн. падеже, обозначающее неодушевленный предмет, который не может являться источником действия), то функция выражения прямого дополнения не является единственной для вин. падежа. Дополнительной функцией анализируемого

---

[27] Т. В. Цивьян, указ. соч., стр. 242.

[28] См.: А. Н. Кононов, Грамматика современного узбекского литературного языка, М.— Л., 1960, стр. 94—95; Н. К. Дмитриев, Строй тюркских языков, М., 1962, стр. 154—155; С. Н. Иванов, Курс турецкой грамматики, стр. 25; Н. З. Гаджиева, О тенденциях в развитии морфологического строя тюркских языков, «Советская тюркология», 1976, 5, стр. 9; Э. Р. Тенишев, Строй саларского языка, М., 1976, стр. 110; А. М. Щербак, указ. соч., стр. 63—64, и мн. др. работы по отдельным тюркским языкам.

падежа является классифицирующая функция, базирующаяся на универсальной понятийной категории включенный/невключенный. Эту категорию не следует понимать конкретно. Это абстрактная семантическая категория, выражающая причастность/непричастность объекта (предмета) к сфере деятельности человека.

Анализ языкового материала свидетельствует о том, что классификация предметов по признаку включенный/невключенный в сферу существования другого предмета (лица) осуществляется в тюркских языках и на референтном [29] уровне (аспекте) предложения. Дифференциация предметов здесь реализуется на основе более частной оппозиции неотчуждаемости/отчуждаемости признака. При передаче отношений притяжательности в чулымско-тюркском языке, например, оказываются противопоставленными две группы слов: в одну входят неотчуждаемые (названия частей тела, имена ближайших родственников), например: *па:жым* «голова (моя)», *ҭо:лым* «рука (моя)», *аза:гым* «моя нога», *е:рем* «мой муж», *ка:дым* «моя жена» и т. д., а в другую — отчуждаемые, например: *ӓп* «дом», *инӓк* «корова», *адай* «собака», *тон* «шуба» и т. д.

Первая группа слов всегда маркируется аффиксами принадлежности независимо от ситуации, вторая может быть маркирована, а может и не быть в зависимости от конкретного отношения отчуждаемого предмета к лицу. Конкретные условия характеризуют предмет как входящий либо не входящий в сферу существования лица. Это определяется реальными отношениями, в которых находятся люди и вещи. Следовательно, можно говорить о референтном аспекте предложения, так как эти отношения определяются факторами внеязыковой действительности (в оценке говорящего).

Оппозиция неотчуждаемости/отчуждаемости отражает универсальную понятийную категорию, находящую свое выражение в языках различных типов. Так, в тунгусо-маньчжурских языках, например, она закреплена как грамматическая оппозиция, имеющая регулярные способы выражения, организующая классы форм [30]. В литературе по тунгусо-маньчжурским языкам отмечается наличие в указанных языках форм неотчуждаемой и отчуждаемой (в другой терминологии, органической и неорганической, прямой и относительной, прямой и косвенной) принадлежностей. В. И. Цинциус отмечает: «... там, где притяжение носит по представлениям эвенов как бы органический характер, ... где предмет обладания мыслится как часть обладателя, отдельно от него практически не существующая, там выступает прямая притяжательная форма. Там же, где принадлежность тому или иному лицу возможна только при условии отрыва данного предмета...— употребляется форма относительного притяжения» [31]. Исследователями подчеркивается также, что «по первому способу образуются притяжательные формы слов, обозначающие степени родства, части человеческого тела и, далее, предметы личного употребления: обувь, одежду, оружие, также жилище, скот и т. п. По второму способу образуются притяжательные формы предметов, владение которыми имеет более отдален-

---

[29] Под референтным аспектом предложения здесь понимается предметная соотнесенность имен, заполняющих те или иные синтаксические позиции, что обеспечивает номинацию конкретного события.

[30] В. Г. Богораз, Материалы по ламутскому языку, «Тунгусский сборник», I, Л., 1931, стр. 11—13; В. И. Цинциус, Очерк грамматики эвенского (ламутского) языка, Л., 1947, стр. 136—148; О. П. Суник, О категории отчуждаемой и неотчуждаемой принадлежности в тунгусо-маньчжурских языках, ИАН ОЛЯ, 1947, 5, стр. 146—147; О. А. Константинова, Е. П. Лебедева, Эвенский язык, Л., 1958, стр. 80; В. А. Аврорин, Грамматика нанайского языка, I, М.—Л., 1959, стр. 155—156; Б. В. Болдырев, Категория косвенной принадлежности в тунгусо-маньчжурских языках, М., 1976, стр. 12—26.

[31] В. И. Цинциус, указ. соч., стр. 143.

ный характер, напр., объекты охоты и других промыслов, предметы торговли и т. д.» [32].

В нивхском языке, как и в других языках, имеющих специальные аффиксы, выражающие значение притяжательности, слова, обозначающие неотчуждаемую принадлежность, маркированы формантами принадлежности [33].

В русском же языке рассматриваемая оппозиция (отчуждаемости/неотчуждаемости) проявляется в особой словообразовательной модели тематической группы слов, обозначающих части тела [34].

Классификация предметов по признаку приобретаемый/неприобретаемый при передаче отношений принадлежности лежит в основе деления лексических единиц на группы в одном из африканских языков (ваи) [35].

В меланезийских языках также обнаруживаются два класса имен, противопоставленных на основе характера принадлежности предмета субъекту обладания, маркированных особыми суффиксами [36].

Следовательно, в категории принадлежности отражена оппозиция неотчуждаемости/отчуждаемости, которая представлена, как было показано выше, в языках различного типа, отражающая универсальную понятийную категорию включенности/невключенности одного предмета в сферу существования другого.

Семантический анализ категории принадлежности, проведенный на материале различных языковых единиц (форм притяжательности, падежных форм), позволяет сделать вывод о том, что морфологическая категория принадлежности входит в ряд других средств, существующих в тюркских языках для выражения значения принадлежности, обладания, отношений между предметами различного характера, взаимодействует, дополняет их и позволяет дифференцировать принадлежность по более частным признакам: свой/чужой, включенный/невключенный в сферу коммуникантов, включенный/невключенный в сферу посессивности, отчуждаемый/неотчуждаемый, которые представляют частные оппозиции более общей универсальной понятийной категории включенности/невключенности предмета в сферу существования другого предмета (лица). Это дает основание считать категорию принадлежности (употребление этого термина диктуется существующей в тюркологии традицией) семантической доминантой тюркского имени, пронизывающей коммуникативный, семантико-синтаксический уровни, а также референтный аспект предложения.

---

[32] В. Г. Богораз, указ. соч., стр. 11.

[33] В. З. Панфилов, Грамматика нивхского языка, 1, М., 1962, стр. 161.

[34] См. об этом: Д. Н. Шмелев, Проблемы семантического анализа лексики, М., 1973, стр. 104.

[35] См. об этом: А. Е. Михневич, О взаимодействии семантики и синтаксиса, ФН, 1969, 6, стр. 102.

[36] Levy-Brühl, L'expression de la possession dans les langues mélanesiennes, MSLP, XIX, 1914, стр. 97.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1980

СОЛОГУБ А. И.

ОБ УДАРЕНИИ В ПАРАДИГМАХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ ЖЕНСКОГО РОДА ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА В РУССКИХ ГОВОРАХ *

Вопросам русского литературного ударения в лингвистической литературе уделялось и уделяется достаточно много внимания. Целый ряд работ посвящен изучению современного состояния и истории ударения в именах [1]. Нередко эти вопросы освещаются в трудах общего характера. Специальных работ по русской диалектной акцентологии почти нет; отдельные высказывания по тому или иному поводу, как правило, приводятся в работах, связанных с изучением морфологии русских говоров.

Материал диалектологического атласа русского языка, связанный с ударением в именах существительных, является далеко не полным, и в связи с этим не может обеспечить всестороннего и развернутого изучения этой проблемы. Однако его исследование, как кажется, представляет определенный научный интерес и в ряде случаев с учетом показаний памятников письменности, извлеченных из различных работ, дает возможность установить определенные закономерности развития акцентных парадигм в говорах русского языка и определить их территориальную приуроченность и относительную хронологию.

В современном русском языке ударение характеризует тип парадигмы имени и глагола, и в частности, парадигм существительных женского рода.

В литературном языке у существительных жен. рода на *-а* существует три типа акцентных парадигм в ед. числе: 1) парадигма с постоянным ударением на основе типа *ры́ба*, *во́ля*; 2) парадигма с постоянным ударением на окончании типа *жена́*, *семья́*; 3) подвижная акцентная парадигма, имеющая в своем составе формы с ударением на окончании во всех падежах, кроме винительного, в винительном падеже формы этих существительных имеют ударение на основе.

Существительные с подвижной акцентной парадигмой представляют немногочисленную группу [2], к ним отнесены следующие двусложные име-

---

* Работа написана на основе материалов, собранных для диалектологических *атласов русского языка*, охватывающих территорию западной половины Европейской части СССР (см. карту).

[1] Р. И. Аванесов, Русское литературное ударение и произношение. Опыт словаря-справочника, М., 1955; Л. А. Булаховский, Русский литературный язык первой половины XIX века, М., 1954; его же. Очерки восточнославянского ударения, «Наукові зап. Київськ. держ. ун-ту», XIV, 2, 1955; его же, Сравнительно-исторические комментарии к восточнославянскому ударению, «Труды филол. фак-ту Харківськ. держ. ун-ту», 6, 1958; его же. Из очерков по славянской акцентологии, «Слов'янське мовознавство», 4, Київ, 1962; З. Н. Веселовская, Особенности восточнославянского ударения конца XVI — нач. XVIII в., «Уч. зап. Харьковск. пед. ин-та иностр. языков», 5, 1959; В. М. Иллич-Свитыч, Именная акцентуация в балтийском и славянском (судьба акцентуационных парадигм), М., 1963; V. Kiparsky, Der Wortakzent der russischen Schriftsprache, Heidelberg, 1962; В. В. Колесов, История русского ударения, Л., 1972; Chr. S. Stang, Slavonic accentuation, Oslo, 1957; В. И. Чернышев, Русское ударение, Спб., 1912, и др.

[2] См.: «Грамматика русского языка», М., 1970, стр. 438—442.

на, представленные в материалах атласа: *вода́*, *гора́*, *душа́*, *земля́*, *зима́*, *нога́*, *пора́*, *рука́*, *спина́*, *стена́*, *цена́*, *щека́*, а также многосложные: *борода́*, *борона́*, *голова́*, *сторона́*, *сковорода́*. Кроме того, особую группу составляют существительные, допускающие в вин. падеже ед. числа формы с архаическим типом ударения на основе: *весна́*, *верста́*, *изба́*, *нора́*, *река́*, *роса́*, *соха́*, *доска́* и *полоса́*. Р. И. Аванесов и А. А. Зализняк слова *весна́*, *нора́*, *роса́* и *соха́* относят к именам с постоянным ударением на окончании [3].

Данные лингвистической географии свидетельствуют о том, что диалектные различия в ударении существительных жен. рода продуктивного типа склонения присущи существительным разных типов акцентных парадигм.

Так, целый ряд существительных, принадлежащих к различным акцентным парадигмам в литературном языке, в говорах русского языка может быть объединен в одну группу имен, характеризующихся общим для них признаком — наличием двух типов акцентных парадигм, на основе которых образуются противопоставленные диалектные объединения. К числу подобных имен относятся, с одной стороны, существительные с подвижным типом ударения в литературном языке: *вода́*, *земля́*, *нога́*, *рука́*, *цена́*, *борона́*, *голова́*, *сторона́*, а также существительные, имеющие в литературном языке колебания в ударении: *доска́*, *изба́*, *река́*, *полоса́*. С другой стороны, к этому разряду принадлежат также некоторые существительные, собранные для диалектологического атласа и имеющие в литературном языке постоянное ударение на окончании: *весна́*, *коза́*, *овца́*, *семья́*.

Перечисленные существительные на территории Юго-западной диалектной зоны имеют в ед. числе постоянную парадигму с ударением на окончании (см. карту). На остальной территории, картографированной в атласе говоров русского языка, эта парадигма представлена с разной степенью интенсивности ее распространения у каждого из названных существительных. Наиболее широко она известна у существительного *река́*; значительные ареалы ее наблюдаются на территории Северной диалектной зоны, в говорах других территорий ее отмечают в островном и рассеянном распространении.

Достаточно широко представлена эта парадигма в говорах остальной части изучаемой территории и у существительных *весна́*, *коза́*, *овца́*, *семья́*; ее отмечают в виде более или менее значительных ареалов и в рассеянных говорах. Сравнительно редко она встречается на территории Северной диалектной зоны. В пределах территории юго-востока достаточно широкое распространение имеет аналогичная парадигма существительного *доска́*, на остальной территории она бытует в разрозненных, хотя и многочисленных говорах.

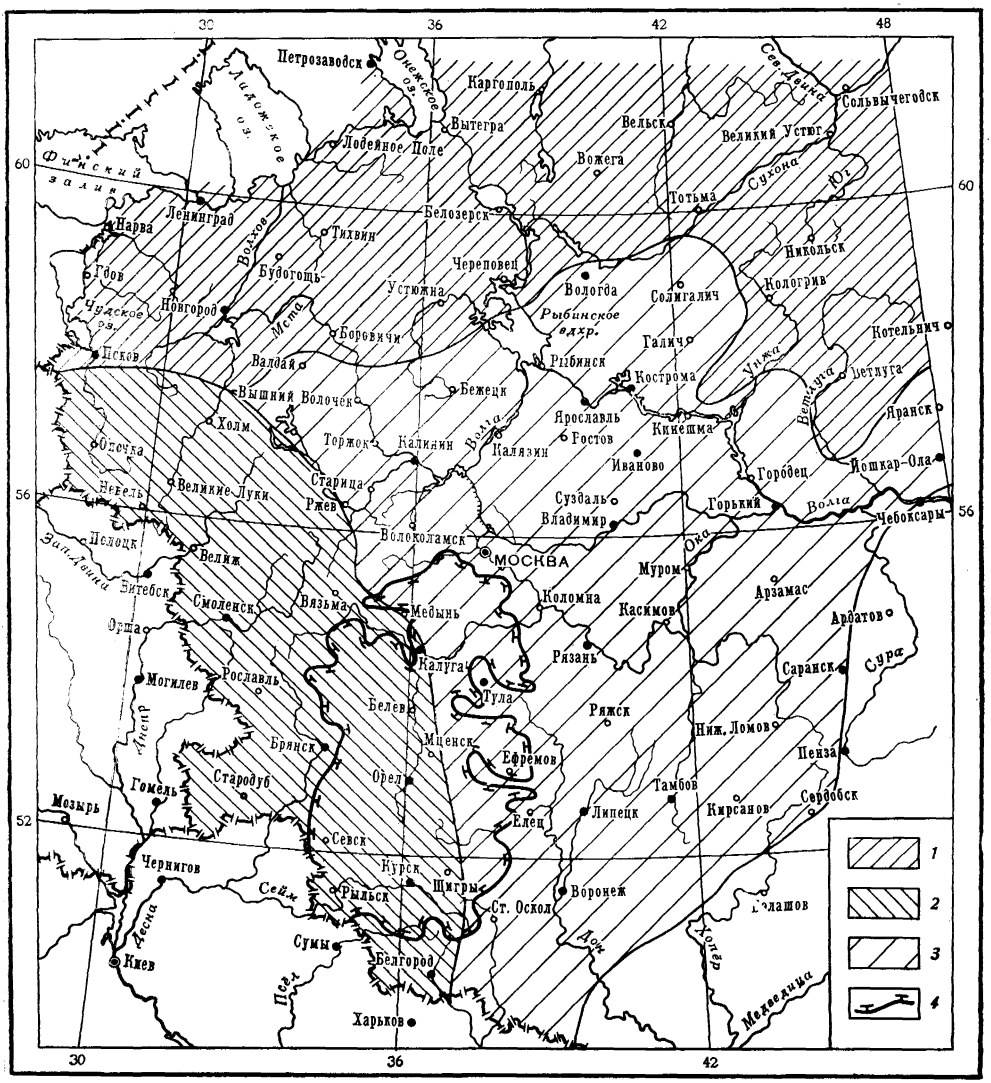
Парадигма с постоянным ударением на окончании у других приведенных нами существительных имеет рассеянное распространение в границах изучаемой территории за исключением юго-западного ареала.

Исследователи языка относят перечисленные существительные к именам, имевшим исконно подвижную акцентную парадигму [4].

---

[3] См.: Р. И. Аванесов, указ. соч.; А. А. Зализняк, Русское именное словоизменение, М., 1967, стр. 164—165.

[4] См.: С. П. Обнорский, Именное склонение в современном русском языке. I — Единственное число, Л., 1927, стр. 74, 270—275; В. М. Иллич-Свитыч, указ. соч., стр. 98—100, 102, 103, 108, 151; V. Kiparsky, указ. соч., стр. 199—203 и др.; В. В. Колесов, указ. соч., стр. 17, 21, 22 и др.; L. Sadnik, Slavische Accentuation, I, Wiesbaden, 1959, стр. 22—45; Л. Л. Васильев, О значении каморы в некоторых древнерусских памятниках XVI—XVII вв., Л., 1929, стр. 22; Л. А. Булаховский, Сравнительно-исторические комментарии к восточнославянскому ударению, стр. 5, 9; его же, Очерки восточнославянского ударения, стр.



Зоны тенденций к образованию разных типов ударения в парадигмах существительных на *-а* (1 — зона тенденции к образованию парадигмы с постоянным ударением на основе у существительных с исконным подвижным типом ударения и к сохранению исконных парадигм с постоянным ударением на основе; 2 — зона тенденции к унификации ударения на окончании в парадигмах существительных с исконным подвижным типом ударения; 3 — зона тенденции к сохранению парадигм с подвижным типом ударения и к образованию аналогичных инноваций у существительных с другими исконными типами ударения в парадигмах; 4 — зона распространения форм типа *туча́*).

Некоторые существительные, например, *сосна́*, *спина́*, *зима́*, *сковорода́*, могут иметь в говорах русского языка три типа акцентных парадигм. В литературном языке, как известно, слово *сосна́* принадлежит к числу имен с постоянным ударением на окончании, а *спина́*, *зима́*, *сковорода́* имеют подвижную акцентную парадигму.

52; М. Г. Долобко, *Ночь — ночесь, осень — осенесь, зима — зимусь, лето — летось*, «Slavia», V, 4, 1927, стр. 691. А. А. Шахматов предполагает в слове *доска́* исконное постоянное ударение на окончании, см. его «Очерк древнейшего периода истории русского языка», СПб., 1915, стр. 93.

Существительное *сосна́* может иметь постоянное ударение на основе: *со́сна — со́сну* и т. д. Эта парадигма распространена в пределах Северной диалектной зоны (см. карту).

Парадигма с постоянным ударением на окончании характерна главным образом для говоров Юго-западной диалектной зоны, в пределах которой она встречается в виде больших ареалов, кроме того, значительные ареалы ее представлены также на территории юго-востока; в рассеянном распространении и в виде мелких ареалов она известна и на остальной части изучаемой территории. Сравнительно редко ее отмечают на территории Северной диалектной зоны. Подвижная акцентная парадигма у существительного *сосна́* представлена в виде более или менее значительных ареалов по всей изучаемой территории, кроме Северной диалектной зоны, где она наблюдается лишь в рассеянном распространении. Наиболее характерной ее можно признать для говоров широкого юго-востока (территория, выделяемая путем исключения Юго-западной и Северной диалектных зон), где она образует достаточно обширные ареалы. Исследователи полагают, что исконным в парадигме существительного *сосна́* является ударение на корне [5]. Аналогичные типы акцентных парадигм имеют в говорах русского языка также слова *зима́* и *спина́*. Существительное *зима́* в большинстве говоров имеет подвижную акцентную парадигму. В рассеянном распространении, преимущественно по территории Северной диалектной зоны, отмечена форма *зи́ма* с ударением на корне, в единичных разрозненных говорах она представлена также на территории юго-запада и юго-востока.

В виде больших ареалов на территории Юго-западной диалектной зоны имеет распространение унифицированная парадигма с постоянным ударением на окончании: *зима́ — зиму́*; в рассеянном распространении ее отмечают на остальной территории с некоторым сгущением в пределах Северной диалектной зоны и территории юго-востока.

На основании того, что в изучаемых нами материалах представлены отдельные формы косвенных падежей данного существительного также с ударением на корне, можно думать, что в ряде говоров северной территории слово *зима́* имеет парадигму с постоянным ударением на корне, ср.: *две зи́мы* — БСТ, 129; *три зи́мы* — БСТ, 164; *к зи́ме* — БСТ, 449, 763, 788, 851, 1023 [6].

Заметим, что достаточно многочисленными являются формы с ударением на корне в памятниках письменности XVI—XVIII вв., также относящихся к северной территории [7].

Исследователи предполагают исконную подвижную парадигму у слова *зима́* [8]. С. П. Обнорский форму им. падежа *зи́ма* считает новообразованием к вин. *зи́му* [9].

---

[5] С. П. Обнорский, указ. соч., стр. 74; V. Kiparsky, указ. соч., стр. 224, 229; А. А. Шахматов, Дифтонги *уо* и *іе* в великорусских говорах, ВЯ, 1964 6, стр. 113.

[6] Здесь и далее аббревиатура БСТ обозначает «Атлас русских говоров центральных областей к северу от Москвы» (рукопись), а цифрами V, VI, IX обозначены соответственно атласы: «Атлас русских говоров центральных областей к западу от Москвы» (рукопись); «Атлас русских говоров центральных областей к востоку от Москвы», (М., 1957); «Атлас русских говоров центральных областей к югу от Москвы» (рукопись); под арабскими цифрами стоят номера обследованных населенных пунктов.

[7] Примеры из памятников приводятся в работах: В. В. Колесов, указ. соч., стр. 74; З. Н. Веселовская, указ. соч., стр. 27—66; В. М. Иллич-Свитыч, указ. соч., стр. 101.

[8] С. П. Обнорский, указ. соч., стр. 74; V. Kiparsky, указ. соч., стр. 202; В. М. Иллич-Свитыч, указ. соч., стр. 98—101; В. В. Колесов, указ. соч., стр. 37—39.

[9] С. П. Обнорский, указ. соч., стр. 74.

В пределах западно-северной территории имеет распространение форма им. падежа *спи́на* с ударением на корне. Она представлена в виде разорванных ареалов; наиболее значительные из них наблюдаются на территории Вологодской группы говоров северного наречия русского языка и вокруг оз. Ильмень; менее значительные — на территории Ладого-Тихвинской группы и северной половины Северных межзональных говоров; в виде более мелких ареалов и в единичных разрозненных говорах она наблюдается на территории юго-запада. Можно думать, что в ряде говоров при форме *спи́на* выступает вся парадигма с ударением на основе, о чем свидетельствуют материалы: V, 72 — *спи́на, по спи́не*; IX, 13 — *спи́на, на спи́не*; IX, 278 — *спи́на, к спи́не*, а также материал, приведенный В. В. Колесовым [10]. В определенной части говоров может употребляться парадигма с постоянным ударением на окончании: ср. *спина́ — спину́* (БСТ, 257, 526, 696, 898; V, 62, 98, 145, 283, 331, 371, 412, 569, 616, 715; VI, 740). Во многих говорах русского языка слово *спина́* имеет подвижную акцентную парадигму. Предполагают, что это слово имело исконное ударение на основе [11].

На территории Северной диалектной зоны имеет широкое распространение форма *о́льха*. В виде небольших ареалов она представлена также на территории к югу от Москвы; в рассеянном распространении эту форму отмечают и на остальной территории. В части говоров употребляется форма *ольха́* (за исключением тех случаев, когда это слово отсутствует в говоре). Не исключено, что это слово может также иметь в говорах три типа акцентных парадигм, ср. употребление форм вин. падежа: *о́льху* — IX, 613, 644; БСТ, 104, 288, 298, 676; *ольху́* — V, 72. Считают, что накоренное ударение в слове *ольха́* является исконным [12], о чем свидетельствует, видимо, также наличие аналогичного типа ударения в этом слове в говорах белорусского и украинского языков [13].

Существительное *сковорода́* имеет в говорах следующие парадигмы: 1) подвижную парадигму с формой вин. падежа *сковороду́*, имеющую широкое распространение на всей изучаемой территории, кроме Юго-западной диалектной зоны; 2) парадигму с постоянным ударением на окончании: *сковорода́ — сковороду́*, наблюдаемую в говорах Юго-западной диалектной зоны и в разрозненных говорах на остальной территории; 3) парадигму с постоянным ударением на основе: *сковоро́да — сковоро́ду*, отмеченную на территории между Опочкой, Белым и Смоленском, на территории вокруг Онежского озера и в единичных разрозненных говорах. Можно думать, что развитие парадигмы этого типа относится к сравнительно позднему периоду. Не исключено, что новый тип ударения в данной парадигме сложился под влиянием однокоренных образований с аналогичным ударением в основе, таких, например, как *сковоро́дка, сковоро́день, сковоро́дник* и под. [14]. По мнению ученых, это слово имело исконное подвижное ударение [15].

---

[10] В. В. Колесов, указ. соч., стр. 11—12.

[11] В. В. Колесов, там же; V. Kiparsky, указ. соч., стр. 203.

[12] Л. Л. Васильев, указ. соч., стр. 22; С. П. Обнорский, указ. соч., стр. 274—275; А. А. Шахматов, Очерк современного русского литературного языка, в кн.: «Из трудов А. А. Шахматова по современному русскому языку», М., 1952, стр. 175; V. Kiparsky, указ. соч., стр. 219; В. М. Иллич-Свитыч, указ. соч., стр. 99; Л. А. Булаховский, Сравнительно-исторические комментарии к восточнославянскому ударению, стр. 5.

[13] В. М. Иллич-Свитыч, указ. соч., стр. 99; «Словарь української мови», III, Кіев, 1909, стр. 203.

[14] Иную точку зрения см.: Ф. Е. Корш, Ударения в языке русской народной поэзии, ИОРЯС, II, кн. 2, СПб., 1897, стр. 495.

[15] В. В. Колесов, указ. соч., стр. 64, 65, 100; Chr. S. Stang, указ. соч., стр. 43; В. М. Иллич-Свитыч, указ. соч., стр. 97—98.

Отдельные существительные с ударением на корне в литературном языке в части говоров русского языка образуют формы с ударением на окончании. Наиболее четкой является изоглосса формы *туча́*, которая в основном имеет распространение на центральной части территории южного наречия русского языка и преимущественно в исключительном употреблении; кроме того, ее отмечают в разрозненных говорах также в пределах южного наречия. В слове *ту́ча*, как предполагают, исконным было ударение на основе [16]. Подобное же предположение можно сделать и на основании лингвогеографических данных, поскольку форма *ту́ча* характерна для большинства русских говоров.

В пределах той же территории наблюдается достаточно интенсивное распространение слова *пашня́*, которое исследователи тоже относят к числу новообразований [17]. В материалах атласа приведены формы других существительных, также свидетельствующие о процессе изменения ударения в парадигмах существительных, имеющих в литературном языке и большинстве говоров постоянное ударение на корне; все эти формы отмечают также на территории центральной части южного наречия: *вьюга́* — V, 427, 471, 479—481, 624; VI, 225, 253, 254, 310, 318, 891; *злоба́* — IX, 301; *злобу́* — IX, 429; *пчельня́* — *пчельню́* — V, 574; *почва́* — IX, 117; *свекла́* — IX, 40, 116, 126, 306, 338, 398, 406, 416, 424, 428, 444, 454, 498, 774, 804; *свеклу́* — V, 73; IX, 36, 49, 126, 424, 432, 482, 495, 774, 804; *свекло́й* — IX, 712; *на свекле́* — IX, 728 и т. д.

На крайнем юге отмечают распространение формы *верба́*, кроме того, в рассеянных единичных говорах она представлена на северной территории. Существительное *верба́* с постоянным ударением на окончании в парадигме ед. числа характерно также для говоров белорусского и украинского языков [18]. В. В. Колесов предполагает для данного слова исконную парадигму с постоянным ударением на корне [19]. На основании широкого распространения формы *ве́рба* на территории говоров русского языка можно присоединиться к этой точке зрения.

В результате исследования диалектного материала и учета показаний памятников письменности, приводимых отдельными исследователями, можно предположить, что в процессе развития говоров русского языка на разных территориях их распространения действовали различные тенденции, связанные с ударением в парадигме ед. числа существительных жен. рода на *-а*. По характеру этих тенденций говоры можно разделить на три противопоставленные территории.

1. Территория Северной диалектной зоны характеризуется сохранением накоренного ударения у существительных, развивших в других говорах и в литературном языке подвижный тип ударения, ср. парадигмы: *со́сна*, *со́сны*, *со́сну* и т. д.; *спи́на*, *спи́ны*, *спи́ну*, и т. д.; *о́льха*, *о́льху* и т. д. Для этой территории характерна также унификация ударения на основе у существительных, имеющих в других говорах и литературном языке подвижную акцентную парадигму, которая является исконной для них, ср. парадигму: *зи́ма*, *зи́мы*, *зи́му* и т. д., а также материал, приведенный В. В. Колесовым и А. А. Шахматовым [20]: *ру́ка*, *ру́ки* (род. пад.) и т. д.;

---

[16] С. П. Обнорский, указ. соч., стр. 76.

[17] С. П. Обнорский, указ. соч., стр. 76; Ф. Е. Корш, указ. соч., стр. 475—476.

[18] «Словарь української мови», I, Кіев, 1907, стр. 133; Н. П. Лобан, Націск у назоўніках з невытворнай асновай у сучаснай беларускай літаратурнай мове, в кн.: «Працы Інстытута мовазнаўства АН БССР», IV, Мінск, 1957, стр. 221.

[19] В. В. Колесов, указ. соч., стр. 27, 29.

[20] В. В. Колесов, указ. соч., стр. 21, 39—53, 61—66. А. А. Шахматов, Историческая морфология русского языка, М., 1957, стр. 73; см. также диалектный материал в кн.: С. П. Обнорский, указ. соч., стр. 71—73.

во́да, *во́ды*, *во́де* и т. д.; *ве́сна*, *ве́сне*, *ве́сну* (*ве́сну*) и т. д.; *го́ра*, *го́ры*, *го́ре*; *зе́мля*, *зе́мли*, *по зе́мли*, *к зе́мли*; *и́зба*, *к и́збе*, *в и́збе*; *но́га*, *но́ги*; *ко́за*, *ко́зы*; *со́ха*, *со́хи*; *сте́на*, *сте́не* и т. д.

Ф. Е. Корш формы типа *со́сна*, *о́льха*, *спи́на*, *у́да* относил к северным говорам [21].

Формы существительных с исконной подвижной парадигмой, развившие ударение на основе, представлены в памятниках XVI—XVII вв., в связи с чем их появление можно отнести к более раннему времени. Об этом свидетельствует, видимо, и то, что в памятниках этого времени уже наблюдается колебание в ударении подобных форм, ср.: *ве́сну* и *весну́*; *во́де*, *во́ду* и *воду́*; *го́ре*, *го́ру* и *гору́*; *ро́су* и *росу́* и др.[22]. Памятники этого времени свидетельствуют о сдвигах в ударении и в парадигме существительных с исконным ударением на основе, ср.: *спи́на*, *спи́ны*, *спи́не* и *спину́* [23].

2. Территория Юго-западной диалектной зоны, в говорах которой широко представлено явление унификации ударения на окончании в парадигмах существительных жен. рода на *-а*. В пределах этой территории можно наблюдать парадигмы с постоянным ударением на окончании у существительных с разной основой и с различными исконными акцентными парадигмами: *душу́* — V, 117, 339; IX, 33, 37, 41, 201, 222, 225, 750; *пору́* — IX, 655; *стену́* — V, 73; IX, 599, 644, 680, 684, 711, 717, 728, 742, 750. По сути дела в ряде говоров этой территории подвижный тип акцентной парадигмы не существует, на что уже указывали исследователи и ранее [24].

Развитие парадигмы с постоянным ударением на окончании лингвисты объясняли по-разному. Ф. Е. Корш определяющую роль в процессе развития форм вин. падежа с ударением на окончании отводил предлогу, С. П. Обнорский, Л. А. Булаховский, В. В. Колесов развитие форм вин. падежа типа *воду́*, *козу́* связывают с влиянием формы им. падежа, имевшей ударение на окончании [25]. Хр. Станг, В. М. Иллич-Свитыч видели в образовании постоянной акцентной парадигмы этого типа определенную стадию в развитии общего процесса противопоставления акцентных парадигм единственного и множественного числа [26].

Данные лингвистической географии позволяют думать, что эта парадигма развилась на основании общего процесса унификации ударения в парадигме ед. числа существительных жен. рода на *-а*, характерного для большинства говоров русского языка, а в качестве преобладающего или даже основного — именно для говоров юго-запада. Процесс унификации ударения на окончании в парадигме существительных с подвижным ударением актуален также для смежных говоров белорусского и украинского языков [27]. Это дает основание предположить, что данная черта является достаточно древней; можно думать, что она развилась в пределах Великого княжества Литовского, т. е. до XV в.

Унификация ударения на окончании известна многим говорам русского языка других территорий, где она наблюдается в островном распростране-

[21] Ф. Е. Корш, указ. соч., стр. 480—481.

[22] В. В. Колесов, указ. соч., стр. 42—47.

[23] Там же, стр. 12.

[24] С. Б. Бернштейн, Очерк сравнительной грамматики славянских языков, М., 1974, стр. 318; М. В. Иллич-Свитыч, указ. соч., стр. 98.

[25] Ф. Е. Корш, указ. соч., стр. 489—490; С. П. Обнорский, указ. соч., стр. 74, 275 и др.; Л. А. Булаховский, Сравнительно-исторические комментарии к восточнославянскому ударению, стр. 5; В. В. Колесов, указ. соч., стр. 49 и др.

[26] Chr. S. Stang, указ. соч., стр. 61; В. М. Иллич-Свитыч, указ. соч., стр. 97—98; впрочем к этой точке зрения присоединяется и В. В. Колесов (указ. соч., стр. 37).

[27] См.: «Дыялекталагічны атлас беларускай мовы», Мінск, 1969, карта № 195.

нии. Видимо, там этот процесс развивался имманентно и в более позднее время. В свою очередь подобные факты дают основание думать, что этот процесс продолжает оставаться актуальным для говоров русского языка до настоящего времени.

3. Территория широкого юго-востока, выделяемая путем исключения Северной и Юго-западной диалектных зон, характеризуется сохранением исконной подвижной парадигмы у существительных на *-а*, с одной стороны (ср. формы вин. падежа: *кóзу*, *óвцу*, *рýку*, *нóгу* и под., широко представленные на этой территории); с другой стороны, ей свойственны инновации, связанные с взаимодействием парадигм с различными типами ударения. При этом общей чертой новообразований, развившихся в процессе этого взаимодействия, является направление к образованию акцентной парадигмы подвижного типа, ср. также наличие в них форм: *áрбу* — IX, 339; *вéрсту* — БСТ, 413, 620, 809, 1153, 1249; V, 373, 405; IX, 719; *вóйну* — VI, 422; *грóзу* — БСТ, 1259; *гря́ду* — БСТ, 288, 333, 401, 513, 603, 666, 1264; *гýбу* — БСТ, 580, 1282; V, 91; VI, 568; *дéжу* — IX, 657; *жáру* — IX, 614; *зóлу* — I, 89; БСТ, 222, 250, 397, 444, 591, 603, 676, 987, 1231, 1333; VI, 65, 408, 508, 570, 813; IX, 409, 465, 473, 474, 496, 539, 569, 575, 596, 687, 688, 706, 751, 758, 778, 790, 797, 801, 825, 830, 831, 835; *úглу* — БСТ, 986, 1315, 1333; VI, 766; IX, 790; *квáшню* — БСТ, 157, 371, 444, 445, 666; VI, 351, 480; IX, 714; *кóзну* — VI, 664; IX, 319; *кóпну* — БСТ, 258, 428, 445, 590, 642, 647, 652, 677, 681, 715, 739, 788, 834, 911, 937, 942, 1071, 1200 и др.; *кóру* — БСТ, 261, 569, 911, 1036, 1039, 1040, 1065, 1225, 1249, 1410; VI, 295; IX,— 720; *Кóстрому* — БСТ, 1250; *лóпту* — VI, 48; *лóпшу* —IX, 428, 440, 465; *мéжу* (*мёжу*) — БСТ, 348, 570, 618, 946, 1104, 1371; IX, 306, 438, 506, 578, 596; *мётлу* — БСТ, 1249; VI, 48; *Мóскву* — БСТ, 1249; VI, 211, 223; *нóру* — БСТ, 1249; VI, 211; *пéньку* — V, 112; *пчёлу* — IX, 572; *рóдню* — VI, 561, 594; *рóсу* — БСТ, 86, 570; *рýду* — V, 708; *свéчу* — VI, 211; *свúнью* — VI, 561, 664, 841; IX, 614, 645, 648; *скúрду* — БСТ, 45, 73, 114, 465, 590; *скóмью* — IX, 574; *слéгу* — IX, 644, 754; *смóлу* — БСТ, 54, 114, 117, 851; VI, 498; *снóху* — БСТ, 1291; VI, 530; *сóху* — I, 35, 87, 90, 181; БСТ, 68, 104, 108, 242, 286, 298, 304, 351, 364, 411, 413, 419, 432, 558, 561, 562, 568, 574, 591, 600, 652, 721, 791, 809—811, 815, 828, 829, 851; *трáву* — I, 90; БСТ — 549, 653, 737, 761, 1283; V, 424, 442, 499; VI, 83, 507, 541, 553, 714, 861, 890; IX, 40, 102, 116, 117, 120, 126, 301, 305, 320, 327, 329, 333, 339, 341, 403, 406 и др.

В приведенных примерах представлены формы существительных с различными исконными акцентными парадигмами. Так, полагают, что подвижную акцентную парадигму имели существительные *верстá*, *дежá*, *золá*, *иглá*, *межá*, *метлá*, *Москвá*, *норá*, *пчелá*, *росá*, *свинья́*, *скирдá*, *слегá*, *смолá*, *сохá* [28]. Парадигму с постоянным ударением на окончании первоначально имели существительные *арбá*, *войнá*, *грядá*, *казнá*, *копнá*, *корá*, *лапшá*, *пенькá*, *рудá*, *свечá*, *скамья́*, *снохá*, *травá* [29]. В связи с этим можно предположить, что эти существительные с течением времени в определенной части говоров юго-восточной территории развили подвижную акцентную парадигму под влиянием имен с соответствующим типом ударения.

---

[28] См.: В. В. Колесов, указ. соч., стр. 17, 37—56; V. Kiparsky, указ. соч., стр. 206, 209, 210, 212, 221, 224, 229, 231 и др.; В. М. Иллич-Свитыч, указ. соч., стр. 99, 100, 102 и др.; Л. А. Булаховский, Очерки восточнославянского ударения, стр. 51; Ф. Е. Корш, указ. соч., стр. 488—491.

[29] См.: V. Kiparsky, указ. соч., стр. 195—197, 206, 208, 210, 212, 229; В. В. Колесов, указ. соч., стр. 28, 32, 34—37; В. М. Иллич-Свитыч, указ. соч., стр. 100; Л. А. Булаховский, Сравнительно-исторические комментарии к восточнославянскому ударению, стр. 6.

Таким образом, каждая из описанных зон в процессе развития говоров русского языка характеризовалась основной, главной для нее, тенденцией: Северная диалектная зона — к образованию общей парадигмы с постоянным ударением на основе, Юго-западная — к образованию общей парадигмы с постоянным ударением на окончании, Юго-восточная — к образованию парадигмы подвижного типа.

Общим для всей территории говоров русского языка является процесс взаимодействия разных акцентных парадигм, в результате которого развиваются в парадигме существительных изучаемого типа склонения новообразования, связанные с ударением и определяемые основной тенденцией той или иной зоны.

Описанные закономерности развития говоров русского языка в различной степени характеризовали также и говоры белорусского и украинского языков [30], в связи с чем можно высказать предположения о времени и характере их развития. На основании распространения различных инноваций в пределах территории восточнославянских языков можно предположить, что более древней была тенденция к образованию акцентной парадигмы с ударением на окончании у существительных с исконной подвижной акцентной парадигмой (ср.: *рука́ — руку́*, *вода́ — воду́* и под.), ареал которой является достаточно обширным и охватывает юго-западные говоры русского языка и примыкающую к ним с запада значительную территорию белорусского и украинского языков [31].

Как уже говорилось, действие этой тенденции относится, видимо, еще к периоду до разделения восточнославянских языков. Реализация других тенденций (обобщение ударения на основе у существительных с подвижной акцентной парадигмой и постоянным ударением на окончании и развитие подвижной акцентной парадигмы у имен с постоянным ударением на окончании) носит островной или рассеянный характер, в связи с чем можно предположить, что их развитие происходило в сравнительно позднее время и имманентно в пределах каждого из восточнославянских языков.

Наиболее поздним по времени появления следует, видимо, признать образование пограничной зоны на центральной территории южного наречия русского языка с тенденцией к образованию парадигмы с постоянным ударением на окончании у отдельных существительных с исконным ударением на корне (*туча́*, *пашня́* и под.). Произношение *туча́* и под. представлено на границе двух описанных выше зон: с одной стороны, Юго-западной зоны с характерной для нее тенденцией к унификации ударения на окончании (*рука́ — руку́* и под.), с другой — Юго-восточной зоны с тенденцией к сохранению и к образованию подвижной парадигмы (*рука́ — ру́ку*, *весна́ — вёсну* и под.). Возможно, в результате действия этих тенденций на их пограничной территории возникают сдвиги в парадигмах существительных с постоянным ударением на основе. В связи с тем, что и в той, и в другой зонах формы им. падежа существительных на *-а* с разными типами ударения в парадигмах имеют ударение на окончании: *рука́ — руку́* и *весна́ — вёсну* и под., можно предположить, что изменение начинается именно с этой формы. Возможно, что при этой форме выступает парадигма остальных форм с постоянным ударением на окончании.

---

[30] З. Н. Веселовская, указ. соч.; ее же, Наголос іменників в білоруської мови за пам'ятками XVII ст. у порівнянні з наголосом сучасної білоруської літературної мови, «Філологічний збірник», Київ, 1958; Е. Ф. Карский, К истории белорусского языка в XVII столетии, «Труды по белорусскому и другим славянским языкам», М., 1962; И. И. Огиенко, Український наголос в XVI віці, сб. ОРЯС, 101, 1928.

[31] См.: «Дыялекталагічны атлас беларускай мовы», карта № 195.

Впрочем, не исключено, что в пограничных говорах на западе и на востоке этого ареала могут наблюдаться парадигмы разного типа: на западе — с постоянным ударением на окончании (ср., например, в населенном пункте V, 609 *туча́ — тучу́*), а на востоке — парадигма с подвижным ударением. Можно предположить, что эта инновация является сравнительно поздней и первоначально она развилась на территории Верховских княжеств. Большинству говоров русского языка в общем свойственна тенденция к унификации ударения в разных акцентных парадигмах существительных жен. рода на *-а* с неодинаковой ее реализацией на разных территориях. Однако в ряде случаев можно наблюдать различную реализацию этой общей закономерности в пределах одной и той же территории, ср., например, распространение по территории Северной диалектной зоны парадигм *зи́ма — зи́му* и *зима́ — зиму́*. Аналогичные факты имеют место на Юго-западной и Юго-восточной территориях, ср., например, наличие на юго-западе форм *зи́ма — зи́му* — IX, 21, 532; *до́ска — до́ску* — V, 700, 712; IX, 42, 43, 361, 415: *спи́на — спи́не* — IX, 13; *на спи́не* — IX, 144; *зе́мля, зе́мли* (род. падеж), *на зе́мле* — IX, 144; *и́гла* — V, 354; *ски́рда* —V, 354.

Заметим, что в настоящее время более актуальной для говоров русского языка является, видимо, тенденция к унификации ударения на окончании. Эта тенденция, помимо территории юго-запада, где она представлена широко и последовательно, известна также и на остальной части изучаемой территории. Об этом свидетельствуют и факты переноса ударения на окончание в категории существительных, имеющих в литературном языке постоянное ударение на основе (*туча́, пашня́* и др.).

Процесс обобщения ударения у существительных с исконной подвижной акцентной парадигмой характеризует также и литературный язык, здесь он протекает сравнительно медленно с постепенным охватом различных имен. Это нашло отражение, например, в том, что для него уже стало нормой произношение *козу́, овцу́*, но наблюдается колебание в произношении *версту́* и *вёрсту, избу́* и *и́збу, реку́* и *ре́ку, доску́* и *до́ску, полосу́* и *по́лосу*. Другие существительные этого типа сохраняют подвижную акцентную парадигму. Можно думать при этом, что унификация ударения в литературном языке не только обусловлена влиянием говоров, но в ряде случаев носит достаточно самостоятельный характер. С влиянием говоров можно связать факты обобщения ударения, имеющие широкое территориальное распространение с захватом говоров, окружающих Москву, например: *весна́ — весну́, река́ — реку́* и под. Но есть случаи, когда этот процесс, отраженный в том или ином слове, известен главным образом на территории юго-запада с рассеянным распространением на остальной территории, но при этом в литературном языке эти слова преимущественно употребляются с постоянным ударением на окончании, например, *изба́ — избу́, полоса́ — полосу́*. Кстати, следует заметить, что формы *полосу́, борону́, сторону́* имеют в говорах примерно одинаковое распространение, в литературном языке слова *борона́* и *сторона́* сохраняют подвижную акцентную парадигму. Можно наблюдать и такие случаи, когда в ряде говоров, окружающих Москву, употребляются парадигмы отдельных слов с постоянным ударением на окончании, но в литературном языке у них сохраняется подвижное ударение в парадигме, например, *цена́ — це́ну* и др.

В основе акцентных изменений, наблюдаемых в парадигмах существительных жен. рода, могут быть различные причины. На определенных этапах развития для говоров русского языка были актуальными тенденции к унификации ударения в формах различных парадигм существительных жен. рода. Об этом свидетельствуют описанные выше парадигмы-новообразования типа *весна́ — весну́, рука́ — руку́* и под. в составе склоне-

ния существительных на *-а*. Это явление широко представлено также у существительных жен. рода типа *печь*, *кость*. Данное склонение, как известно, имеет два типа акцентных парадигм: парадигму с постоянным ударением на основе и парадигмы с подвижным ударением. Для подавляющего большинства русских говоров характерна унификация ударения в дат.— предл. падежах существительных данного типа склонения. При этом в одних говорах этот процесс осуществляется на основе формы дат. падежа с ударением на основе, в других обобщение ударения происходит по форме предл. падежа [32].

Изменения акцентных отношений могли быть вызваны тенденцией к сближению парадигм разного типа в пределах одного склонения, которая развилась в целом ряде говоров русского языка с разной степенью интенсивности, ср. парадигмы типа *ру́ка — ру́ку*, *ве́сна — ве́сну* и под. по типу *со́сна — со́сну* на северной территории и парадигмы типа *война́ — во́йну*, *казна́ — ко́зну* по типу *рука́ — ру́ку* и под. на востоке, и др. В результате взаимодействия существительных с постоянным ударением на основе типа *нить*, *лошадь* и с подвижным ударением типа *печь*, *кость* в склонении существительных, принадлежавших ранее к основам на **i*, в ряде северо-восточных говоров образуется новая парадигма с подвижным ударением у существительных типа *нить*, *лошадь* (И — В. *нить*, *лошадь*, Р — Д. *ни́ти — ло́шади*, Т. *ни́тью*, *ло́шадью*, П. *нити́*, *лошади́* и под.).

Акцентные изменения могут возникнуть в результате междиалектного взаимодействия, ср., например, формы типа *туча́*, *пашня́* и под. В некоторых случаях можно наблюдать сдвиги в ударении, развившиеся в результате влияния однокоренных образований, имеющих распространение на смежных территориях. Так, например, на границе бытования форм *морко́вь* и *мо́рква* образовалась форма с новым ударением *мо́рковь*.

Некоторые изменения в ударении связаны с изменениями в образовании отдельных форм в парадигмах существительных жен. рода. Они характерны для существительных, относившихся раньше к основам на **i*, и для существительных непродуктивных типов склонения. Так, под воздействием форм дат. и предл. падежей продуктивного склонения типа *жене́* появляются аналогичные формы с ударенным *-е* в парадигмах существительных типа *печь* и *мать*, *дочь*. При этом окончание *-е* могут иметь обе формы или одна из них, что обусловливает образование разных парадигм с подвижным типом ударения: И — В. *мать*, *дочь*, *печь*, Р. *ма́тери*, *до́чери*, *пе́чи*, Д — П. *матере́*, *дочере́*, *пече́*, Т. *ма́терью*, *до́черью*, *пе́чью* или И — В. *мать*, *дочь*, *печь*, Р — Д. *ма́тери*, *до́чери*, *пе́чи*, Т. *ма́терью*, *до́черью*, *пе́чью*, П. *матере́*, *дочере́*, *пече́* или И — В. *мать*, *дочь*, *печь*, Р — П. *ма́тери*, *до́чери*, *пе́чи*, Д. *матере́*, *дочере́*, *пече́*, Т. *ма́терью*, *до́черью*, *пе́чью*.

У существительного *свекровь* в ряде говоров юго-востока развилась новая акцентная парадигма подвижного типа в результате процесса совпадения форм им. и вин. падежей в форме *свекры́*: И — В. *свекры́*, Р — Д — П. *свекро́ви*, Т. *свекро́вью* [33].

---

[32] Подробнее см.: А. И. Сологуб, О формах дательного — предложного падежей ед. числа типа *пече*, *грязе* в русских говорах, в кн.: «Исследования по русской диалектологии», М., 1973, стр. 154—155; ее же, Формы дательного, творительного и предложного падежей существительных типа *печь*, *грязь*, в кн.: «Образование северно-русского наречия и среднерусских говоров», М., 1970, стр. 74—80.

[33] О данной парадигме и об образовании указанной выше формы *мо́рковь* см.: А. И. Сологуб, О диалектных формах некоторых существительных женского рода, имеющих нулевую флексию в русском литературном языке, в кн.: «Диалектологические исследования по русскому языку», М., 1977, стр. 142—155.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1980

ЛУНДИН А. Г.

СТЕПЕНИ СРАВНЕНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В СЕМИТСКИХ ЯЗЫКАХ

Степени сравнения прилагательных плохо представлены в семитских языках. Только в арабском можно найти степени сравнения, образуемые морфологическими средствами. Во всех других языках отношения сравнения выражаются описательно, синтаксическими средствами.

Даже в арабском система степеней сравнения неполная и целый ряд отношений сравнения выражается описательно, при помощи предложных конструкций. Существует лишь одна степень сравнения — имя превосходства, элатив. Тем не менее, можно выделить сочетание грамматических признаков, образующих систему степеней сравнения.

В этой системе центральное место занимает элатив, образуемый по модели *'afʿalu* : *'akbaru* «больший», *'aḥsanu* «более красивый» и т. д. [1]. Однако эта схема словообразования применяется не только для элатива: по ней же образуются и прилагательные, обозначающие цвет или телесный недостаток: *'aḥmaru* «красный», *'aḫrasu* «немой» и т. д., не имеющие сравнительного значения [2].

Вторым элементом системы является особая форма жен. рода элатива, образуемая по модели *fuʿlā*:*kubrā* «большая», *ḥusnā* «более красивая» и т. д. [3]. Она имеет также интересную орфографическую особенность — обозначение конечного гласного через «йа», а не через «алиф». В какой-то степени эта форма жен. рода является отличительным признаком элатива, так как прилагательные типа *'afʿalu*, не имеющие значения имени превосходства, образуют жен. род по иной схеме, *faʿla'u*. Однако и форма *fuʿlā* применяется не только для элатива: по этой форме образуется также жен. род от некоторых слов, не объединяющихся в единую группу: числительных «первый» (*'ūlā* «первая») и «другой» (*'uhrā* «другая») [4], прилагательных *ḥumlā* «беременная» [5], *yumnā* «правая» и некот. др.

Превосходная степень (суперлатив) образуется от форм элатива присоединением определенного артикля как для муж., так и для жен. рода. Таким образом, в системе степеней сравнения арабского языка выделяются три элемента: форма муж. рода элатива, форма жен. рода элатива и суперлатив — форма элатива в определенном состоянии.

---

[1] См.: Б. М. Гранде, Курс арабской грамматики в сравнительно-историческом освещении, М., 1963, стр. 265—266. Подробное исследование арабского элатива см.: H. Wehr, Der arabische Elativ, «Abhandl. der Akademie der Wissenschaften und Literatur in Mainz. Geistes- und sozialwissenschaftl. Klasse», 1952, 7, Wiesbaden, 1953; А. С. Лекиашвили, К генезису формы элатива в арабском, «Труды Ин-та языкознания [АН ГрузССР]», I, Тбилиси, 1954. Оба автора исследуют лишь форму *'afʿalu*, не уделяя специального внимания форме жен. рода *fuʿlā*.

[2] Б. М. Гранде, указ. соч., стр. 264—265.

[3] Там же, стр. 271. Эту форму нужно отличать от формы *faʿlā*, по которой образуется жен. род. от прилагательных типа *faʿlānu*, не имеющих значения элатива.

[4] Г. Вер выделяет особую группу прилагательных, обозначающих «пространственное положение» (*yusrā* «левая», *wusṭā* «средняя» и т. п.), к которой он присоединяет также *'ūlā* и *'uḫrā* (H. Wehr, указ. соч., стр. 585). Ср., однако, форму *'iḥdā* «одна».

[5] Б. М. Гранде, указ. соч., стр. 271.

В языке южноаравийских надписей, как и в других семитских языках, прилагательные морфологически не отличаются от существительных и обычно рассматриваются вместе с ними в единой категории имени. Поэтому они мало изучены и их морфология не выделяется в существующих грамматических очерках [6].

Степени сравнения прилагательных в языке южноаравийских надписей до сих пор никем не отмечались. Лишь А. Бистон, описывая модель словообразования *'fʿl*, упоминает форму *'ṣnʿ* в маʿинской надписи M 294-RES 3307 и сопоставляет ее с арабским элативом, но тут же указывает, что форма *'fʿl* весьма редка и встречается только в собственных именах [7].

Надпись M 294, при всей своей фрагментарности, содержит ясный и четкий контекст: *kwnt/ḏt/gzyth/'ṣnʿ/kl/gz[ytm]* «(да) будет этот указ строже всех ук[азов]», который позволяет уверенно толковать *'ṣnʿ* как форму элатива. Аналогичные формы можно обнаружить в собственных именах, особенно в эпитетах (прозвищах). Прозвища, характеризующие качество лица,— широкое поле для применения прилагательных, в частности — элатива. При известной гипотетичности смыслового толкования собственных имен значение элатива несомненно в таких прозвищах, как *'sʿd* «счастливейший», *'ṣḥḥ* «самый здоровый», *'ḥṣn* «крепчайший», *'ḥṭr* «серьезнейший » и т. п. [8]. Еще яснее это значение выступает в тех случаях, когда мы находим в ономастике два прозвища, образованных от обычного прилагательного и от элатива того же корня: *ḏrḥ* и *'ḏrḥ*, *rym* и *'rym*, *ṣdq* и *'ṣdq*, *wtr* и *'wtr* [9]. Приведенные примеры показывают, что элатив был широко распространен в языке южноаравийских надписей.

Модель *'afʿalu* в языке надписей, как и в арабском, применялась не только для элатива. По ней же образуются и прилагательные, обозначающие телесный недостаток [10] и цвет [11]. Отметим также частое прозвище *'ymn* «правый» [12], которое и в арабском образуется по той же схеме и образует жен. род также по модели *fuʿlā*.

Формы жен. рода элатива можно обнаружить в южноарабских надписях также прежде всего в собственных именах. Наиболее часто среди них имя богини *ʿzyn ʿУззайан* (букв. «всемогущая») [13], точно соответствующее имени арабской богини *ал-ʿУзза*. Почитание этой богини, видимо, было занесено в Йемен с севера [14], и имя можно считать заимствованием. Даже

---

[6] См.: M. Höfner, Altsüdarabische Grammatik, Leipzig, 1943, стр. 128—129; A. F. L. Beeston, A descriptive grammar of epigraphic South Arabian, London, 1962, стр. 39—40; Г. М. Бауэр, Язык южноаравийской письменности, М., 1966, стр. 63.

[7] A. F. L. Beeston, указ. соч., стр. 28. Г. М. Бауэр приводит толкование А. Бистона, не высказывая своего отношения к нему (см. указ. соч., стр. 45).

[8] См.: G. L. Harding, An index and concordance of Pre-Islamic Arabian names and inscriptions, Toronto, 1971, соответственно стр. 44, 51, 26, 30.

[9] См. там же, соответственно стр. 252 и 33, 292 и 39, 369 и 51, 634 и 83. Лишь после завершения данной статьи я смог познакомиться со статьей К. Робена и Ж. Рикманса, отмечающей в сабейских надписях прилагательные в форме элатива муж. рода *'qdm* «предыдущий, предшествующий» и *''ḫr* «последний»: Ch. Robin, J. Ryckmans, L'attribution d'un bassin à une divinité en Arabie du Sud antique, «Raydan», I, 1978, стр. 56.

[10] См. прозвища *'ḫrs* «немой» и *'ḫdb* «горбатый» (G. L. Harding, указ. соч., стр. 25).

[11] См. прозвища *'smr* «темный» (там же, стр. 46) и *'sḫm* «черный» (надпись Sh 21: A. Sharafaddin, Tarih al-Yaman at-Taqafi, III, al-Qahirah, 1967, стр. 73—74).

[12] G. L. Harding, указ. соч., стр. 89.

[13] CIH 558, 559; RES 4149 и т. д. См.: A. Jamme, Le Panthéon sud-arabe préislamique, «Le Muséon», 60, 1947, стр. 50—51.

[14] M. Höfner, Die vorislamischen Religionen Arabiens («Die Religionen der Menschheit», hrsg. von C. M. Schröder, 10, 2), Stuttgart, 1970, стр. 275—276.

оформление имени по грамматическим правилам языка надписей (определенный артикль — *n*) еще не дает права рассматривать форму *ʿzyn* как грамматическую форму языка южноаравийских надписей.

Недавно изданная Ж. Пиренн катабанская надпись из Лувра АО 12.124 [15] содержит новое имя богини *nʿmyn Нуʿмайан*, которое, несомненно, также следует рассматривать как форму элатива жен. рода — «всеблагая». Хотя это имя встречается в надписях единственный раз, оно явно свидетельствует о наличии этой грамматической формы в языке южноаравийских надписей. Ее можно обнаружить также в прилагательном жен. рода с неясным значением *rwsy* в надписи CIH 352,5 (*''rḫ/rwsy*, ср. обычные формулы *''rḫ/ṣdqm* «хорошие события» и *''rḫ/šn'm* «плохие события»). Ср. также географическое название *ḫdry* (Ja 2360, 11), современное джебел *Х̣удра* и имя или эпитет богини *sfly* «нижайшая» (Ja 2470,3; Fa 67,3). Оба имени богинь стоят в определенном состоянии и имеют значение суперлатива. Таким образом, можно предполагать и существование суперлатива, также образуемого аналогично арабскому.

Форма *fuʿlay* в языке надписей применяется не только для образования элатива. По тому же типу образовано и числительное *'ḫry* «другая, последняя», засвидетельствованное в надписи Ja 540 [16]. Видимо, так же образовано и слово *lbny* «сорт благовоний» (см. RES 4225 и т. д.), и *šmry* «культовый объект» (жен. рода: АО 12. 124, Hon. 5). Все это показывает, что в языке южноаравийских надписей существовала система степеней сравнения, аналогичная системе классического арабского языка и состоявшая из тех же элементов. Более того, формы словообразования, свойственные основному элементу системы, элативу, выходят за границы сравнительного значения в тех же случаях и по тем же правилам, что и в арабском языке. Эта черта сближает язык южноаравийских надписей с арабским языком, отделяя его от семитских языков Эфиопии, к которым язык надписей наиболее близок во многих иных отношениях.

Однако этот признак вряд ли может иметь важное классификационное значение. Система степеней сравнения для семитских языков — явная инновация, распространившаяся лишь в арабском и в языке южноаравийских надписей, сохранявших непосредственные контакты на протяжении всего времени бытования языка надписей, до середины VII в. н. э.

Особый интерес представляет форма жен. рода элатива. Ее окончание в арабском — *ā* — можно рассматривать как отражение обычного семитского окончания жен. рода *at* > *ā*, а традиционное написание через «йа» — как чисто орфографический вариант [17]. Но по правилам орфографии южноаравийских надписей написание *y* предполагает чтение дифтонга *ay*, уже не сводимое к окончанию жен. рода *at*. Несомненно, что в арабском также следует реконструировать первоначальное произношение *ay*, сохраненное орфографией. Действительно, такое произношение засвидетельствовано ассирийскими надписями начала VII в. до н. э., передающими имя арабской богини Рудā как *ruldayu*.

Суффикс жен. рода *ay* — *y* известен также в угаритском языке [18], где он встречается в женских именах, преимущественно в именах богинь или мифологических персонажей: в именах трех дочерей Баʿала *pdry*,

---

[15] «Corpus des Inscriptions et Antiquités Sud-Arabes», 1, sect. 1, Louvain, 1977, стр. 125—129.

[16] А. Г. Лундин, Некоторые вопросы земельных отношений в древней Южной Аравии, «Краткие сообщения Ин-та народов Азии», 86, 1965, стр. 149, 153.

[17] См.: S. Moscati, An introduction to the comparative grammar of the Semitic languages, Wiesbaden, 1964, стр. 85.

[18] См.: S. Gordon, Ugaritic textbook, Roma, 1965 («Analecta Orientalia», 38), стр. 62.

ṯly и *'arṣy*, богини *rḥmy*, служанки богини 'Аcират *dmgy*, жены Керета *ḫry* и жены Дан'ила *dnty*. Кроме собственных имен, С. Гордон отмечает суффикс лишь в слове *nʿmy* «блаженство» [19]; к нему можно добавить еще не отмеченные С. Гордоном слова *'uḫry* «другая» и *'irby* «саранча» [20].

Необходимо отметить, что суффикс *ay* в угаритском, видимо, служил для образования прилагательных; это значение отчетливо выступает в большинстве приводимых имен: дочери Баʿала *'arṣy* «земная», богини *rḥmy* «девственная», жен Керета и Дан'ила *ḫry* «хурритянка» и *dnty* «данунитянка» [21]. Таким образом, угаритский суффикс оказывается очень близким арабскому и южноаравийскому, хотя значение элатива в угаритском не развилось.

Тот же суффикс *ay* > *ā* > *ē* прослеживается и в других семитских языках, древнееврейском, арамейском и эфиопском, хотя в них он встречается лишь в отдельных словах, не объединяемых ни значением, ни грамматической категорией. Так, в древнееврейском он отмечен в женском имени *śaray* Сара (как архаическая форма) [22], в слове *ḥōray* «полотно, сетчатая ткань» [23] и в стянутой форме *ē* в словах *aryē* «лев», *libnē* «тополь; сторакс (вид благовоний)», *arbē* «саранча» и в нескольких других. В эфиопском суффикс встречается в названиях некоторых животных (*'arwē* «зверь», *nāgē* «слон») или растений (*šarwē* «ствол дерева», *telabē* «лен») и некот. др. словах. В арамейском языке суффикс засвидетельствован в словах *śalway* «перепелки», *ṭušyay* «скрытность», *'oḥrē* «другая» и т. п. [24]. Слова с суффиксом *ay* часто повторяются в нескольких семитских языках, Так, слово *'ḫry* «другая» можно найти в арамейском, угаритском, южноаравийском и арабском, *'rby* «саранча» — в древнееврейском, угаритском, южноаравийском (надпись Ja 610), *'rwē* «зверь; лев» — в древнееврейском и эфиопском. Древнееврейскому *libnē* «тополь; сторакс» соответствует южноаравийское *lbny* «сорт благовоний» [25], а эфиопскому *telabē* «лен» — может быть, угаритское собственное имя *tlby* [26], эфиопскому *šarwē* «ствол дерева»— древнееврейское имя *śaray* и т. д.

Суффикс *ay* встречается во всех семитских языках, кроме аккадского, и, таким образом, может рассматриваться как общесемитский. Во всех языках он выступает, более или менее отчетливо, как показатель жен. рода. Менее всего это значение выражено в эфиопском, но и там слово *'arwē* «зверь» обычно согласуется по жен. роду [27]. Это позволяет выделить суффикс *ay* как общесемитский показатель жен. рода, широко представленный в арабском, южноаравийском и угаритском, но лишь пережиточно сохранившийся в древнееврейском, арамейском и эфиопском и совсем утерянный аккадским.

Суффикс *ay/ya* > *ā* засвидетельствован также в кушитских и чадских языках, где он также часто служит показателем жен. рода (в языках бе-

---

[19] Ср.: С. Сегерт, Угаритский язык, М., 1965, стр. 31. Впрочем, говоря о категории рода, С. Сегерт не отмечает суффикса *ay* (см. стр. 33—34).

[20] J. Aistleitner, Wörterbuch der ugaritischen Sprache, Berlin, 1963, стр. 14, 34.

[21] Я пользуюсь случаем выразить глубокую благодарность И. Ш. Шифману за многочисленные консультации по угаритскому материалу.

[22] Сходство этого имени с угаритскими именами на *ay* отметил уже С. Гордон: S. Gordon, указ. соч., стр. 62.

[23] Ср. угаритское имя *ḫry* «хурритянка»; может быть, исходное значение древнееврейского *ḥōray* также «хурритская (ткань)».

[24] См.: Б. М. Гранде, Введение в сравнительное изучение семитских языков, М., 1972, стр. 265.

[25] См.: W. W. Müller, Notes on the use of frankincense in South Arabia, «Proceedings of the Seminar for Arabian Studies», 6, 1976, стр. 126.

[26] J. Aistleitner, указ. соч., стр. 326.

[27] См.: В. П. Старинин, Эфиопский язык, М., 1967, стр. 55—56.

дауйе и хауса) или показателем именного класса (в языках сомали и фул) [28]. Таким образом, его следует рассматривать как общий афразийский показатель. На современном уровне изучения афразийских (семито-хамитских) языков выделение такого показателя представляет значительный интерес. В семитских языках он выступает как новый, ранее не отмечавшийся показатель жен. рода.

По-видимому, можно проследить некоторые этапы истории аффикса *ау*. Первоначально это был афразийский классный показатель, видимо, социально-пассивного класса. В семитских языках с отмиранием системы именных классов он теряет свое значение и сфера его употребления сильно сужается. На более позднем этапе, после отделения аккадского и, вероятно, семитских языков Эфиопии, значение аффикса социально-пассивного класса эволюционирует в значение показателя жен. рода и одновременно признака (прилагательного). В этой новой роли он получает значительное распространение в западно- и южносемитских (угаритском, арабском, южноаравийском), точнее — на территории, тянущейся вдоль Красного моря от Средиземного моря до Индийского океана. Но лишь на более поздней стадии, с образованием в арабском и южноаравийском системы степеней сравнения, аффикс *ау* > *а* получает широкое распространение в этих языках как показатель жен. рода элатива.

[28] См.: Б. М. Гранде, Введение..., стр. 265.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1980

ГАМЗАТОВ Р. Э.

РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВОЙ ЖИЗНИ ДАГЕСТАНА В УСЛОВИЯХ ЗРЕЛОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

До революции большинство языков дагестанских народов оставались бесписьменными. Наиболее крупные народы Дагестана имели письменность на основе арабского алфавита, однако ее применение, служившее, главным образом, культовым целям, не повлекло за собой формирования литературных языков с широкими социальными функциями.

С первых же дней установления Советской власти в Дагестане партийные и советские органы приступили к претворению в жизнь решений Коммунистической партии и Советского правительства, в том числе по национально-языковым проблемам. В апреле 1920 г. при Дагревкоме был учрежден отдел просвещения и печати, на который возлагалось непосредственное руководство народным образованием и другими сферами культурного строительства. Ревкомы и отделы народного образования открывали повсеместно школы. После упорной борьбы с представителями горской знати, мусульманского духовенства и буржуазными националистами в качестве первого шага на пути приближения письма к национальной основе языков был реформирован аджамский алфавит на арабской графической основе и в дополненном виде официально принят в 1920 г. Письменность была создана на шести языках наиболее крупных народов Дагестана — аварском, даргинском, лакском, лезгинском, табасаранском и кумыкском. Благодаря распространению письменности, образования и культуры, вовлечению в общественную и хозяйственную жизнь широких народных масс эти языки впервые в своей истории получили возможность значительно расширить социальные функции своей литературной разновидности. Для них были разработаны орфография и терминология, на них стали издаваться учебные пособия, газеты, общественно-политическая, художественная и научно-популярная литература.

Такая огромная работа по языковому строительству в Дагестане, т. е. сознательное воздействие общества на развитие литературных языков (как-то: создание письменности и школ, разработку орфографии и терминологии, составление и печатание учебных пособий, издание газет и журналов), привели постепенно к значительному расширению применения литературных языков, охвативших своим употреблением не только области общественной, но и частной жизни. К важнейшим из них можно отнести: 1) сферу деятельности государственных, общественно-политических, хозяйственных и культурно-просветительных организаций; 2) сферу учебной, общественно-политической, художественной, научно-популярной литературы; 3) сферу устного народного творчества; 4) сферу массовой коммуникации (периодической печати, радио, телевидения, кино); 5) сферу начального школьного образования; 6) сферу общения в пределах населенного пункта; 7) сферу семейного общения; 8) сферу общения внутри одноязычного коллектива; 9) сферу общения носителей диалектов и близкородственных языков малочисленных народностей на территории распространения литературного языка.

Ленинская национально-языковая политика создала реальные условия ускоренного и всемерного развития социальных функций литературных языков народов Дагестана, обеспечила их широкое применение в необходимых сферах материальной и духовной культуры их носителей.

Развитие языков республики, крупные достижения в строительстве социализма и другие факторы требовали максимального упрощения и усовершенствования алфавитов в соответствии с задачами ускоренного подъема общеобразовательного и культурного уровня всех народов Дагестана. Следствием выполнения этих требований и явился перевод письменности литературных языков республики с арабской графики на латинизированный алфавит (для аварцев, даргинцев лакцев, лезгин, кумыков в 1928 г.; для табасаранцев в 1932 г.) и с латинизированного алфавита на русскую графическую основу в 1938 г. Переходу письменности народов республики на новую графику партийные и советские органы Дагестана придавали большое значение. Как отмечает А. Д. Даниялов, «переход был осуществлен как важное общественно-политическое, культурно-просветительное, народнохозяйственное мероприятие крупного, общереспубликанского масштаба, мероприятие, имевшее первостепенное значение для дальнейшего развития культуры народов Дагестана, для их активного участия в социалистическом строительстве, для их воспитания в духе марксизма-ленинизма и пролетарского интернационализма» [1].

Таким образом, были созданы необходимые условия для разработки на подлинно научной основе алфавитов, для формирования и развития младописьменных литературных языков, расширения сфер их применения. На младописьменных языках народов Дагестана бурно развились художественная литература и сценическое искусство.

Впервые в советскую эпоху были ликвидированы белые пятна на лингвистической карте Дагестана и определены важнейшие социально обусловленные закономерности функционирования, взаимодействия и развития его младописьменных и бесписьменных языков [2].

Ныне в Дагестане распространены, кроме русского, 29 языков, в том числе 26 горских дагестанских, а также кумыкский, ногайский и татский. Из горских дагестанских языков письменными являются аварский, даргинский, лакский, лезгинский, табасаранский, все остальные — бесписьменные языки, на каждом из которых говорит весьма незначительная часть населения.

Носители бесписьменных языков отказались от создания письменности на своих родных языках. Они учитывали невозможность развивать на указанных языках современную науку, технику, культуру в силу немногочисленности говорящих на них, ограниченности территории их распространения и сфер применения. Пришел конец родовым, племенным границам их жизни. «Пользуясь всеми правами советских граждан, они получают среднее и высшее образование на том или ином литературном языке, становятся квалифицированными рабочими, агрономами, учителями, инженерами, врачами, учеными... Перед ними (т. е. носителями бесписьменных языков.— *Г. Р.*) открылись широкие возможности для получения образования, для ликвидации вековой отсталости, использования в политической и культурной жизни более распространенных и развитых языков, чем одноаульные древние, пережиточно сохранившиеся племенные языки» [3].

[1] А. Д. Даниялов, Строительство социализма в Дагестане, М., 1975, стр. 163.

[2] «Закономерности развития литературных языков народов СССР в советскую эпоху. Иранские и кавказские языки», М., 1969; Ю. Д. Дешериев, Развитие общественных функций языков народов СССР, М., 1976.

[3] Ю. Д. Дешериев, О развитии языков народов СССР, в кн.: «Вопросы строительства коммунизма в СССР», М., 1959, стр. 329.

В дореволюционной и советской специальной литературе до 50-х годов выделялись кайтагский и кубачинский языки. Впоследствии они были признаны диалектами даргинского языка, а их носители во время всесоюзной переписи населения назвали себя даргинцами.

Сложные этнолингвистические процессы мало затронули основные массы носителей аварского, даргинского, лезгинского, кумыкского, лакского, табасаранского и ногайского языков. Наоборот, численность говорящих на каждом из них увеличивалась и продолжает увеличиваться как никогда до советской эпохи. В условиях интенсивного развертывания охарактеризованных выше этнолингвистических процессов бесписьменные языки продолжают функционировать в аулах, в семьях как «семейные», «домашние» языки, проявляя исключительную устойчивость.

На литературных языках Дагестана регулярно издаются необходимые для учебно-педагогической работы в дагестанских нерусских школах, национальных педучилищах и вузах программы, методические разработки, учебники и учебные пособия. В 1979 г. изданы буквари на даргинском и других литературных языках.

Продолжается процесс отработки нормы в литературных языках Дагестана. Лингвисты республики ведут большую работу в области дальнейшего совершенствования и развития терминологии, улучшения орфографии, орфоэпии и алфавитов, составляют нормативные грамматики, орфографические и другие словари. В ближайшее время, например, выйдет в свет орфографический словарь аварского языка М. С. Саидова.

В настоящее время на местных литературных языках издаются журналы, пять республиканских и районных газет. В республике нет ни одного аула, населенного пункта, где бы сегодня телевидение и радиовещание не вели передач помимо русского на местных литературных языках. Заметно расширилось применение местных литературных языков в деятельности национальных драматических театров республики. Так, только к 60-летию Великого Октября они поставили несколько пьес драматургов Дагестана и других братских республик нашей страны.

Касаясь языковой политики в национальном вопросе, В. И. Ленин писал: «Демократическое государство безусловно должно признать *полную свободу* родных языков и отвергнуть *всякие* привилегии одного из языков» [4]. Следуя этому ленинскому указанию, наша партия всячески способствует свободному функционированию и беспрепятственному развитию национальных языков, расцвету культур носителей этих языков. Вместе с тем учитываются объективные закономерности сближения и дальнейшего слияния наций и народностей.

Развитие литературных языков Дагестана, их все более действенная реализация в процессе создания материально-технической базы коммунизма, дальнейший подъем экономического и культурного уровня населения ведет к возрастанию потребности в языке межнационального общения. В условиях советской действительности, в условиях взаимного доверия, полного равноправия, братской дружбы и сотрудничества народов вопрос о выборе языка межнационального общения был крайне важным, поскольку являлся фактором огромного социального значения. Он должен был учитывать бурное развитие экономики, политики и культуры многонационального края. Как справедливо отметил А. Д. Даниялов, в Дагестане «ни один из местных языков в силу ряда причин не мог выполнять функции единого для всех народов страны гор языка и на протяжении веков не стал языком межнационального общения» [5]. Только русский

[4] В. И. Ленин, Полн. собр. соч., 25, стр. 71—72.
[5] А. Д. Даниялов, указ. соч., стр. 139.

язык — родной язык значительного большинства населения Советского Союза — мог отвечать всем указанным требованиям автономной республики. Тем не менее проблема языка межнационального общения как важнейшего фактора цементирования единства населения должна была решиться на добровольной основе.

В. И. Ленин всегда выступал против введения обязательного государственного языка. Отвечая буржуазным либералам, требовавшим единого государственного языка, он писал: «Мы больше вас хотим, чтобы между угнетенными классами всех без различия наций, населяющих Россию, установилось возможно более тесное общение и братское единство. И мы, разумеется, стоим за то, чтобы каждый житель России имел возможность научиться великому русскому языку.

Мы не хотим только одного: элемента *принудительности*. Мы не хотим загонять в рай дубиной. Ибо, сколько красивых фраз о „культуре" вы ни сказали бы, *обязательный* государственный язык сопряжен с принуждением, вколачиванием. Мы думаем, что великий и могучий русский язык не нуждается в том, чтобы кто бы то ни было должен был изучать его *из-под палки*» [6].

В 1927 г. официальными языками республики были признаны кумыкский и русский. И только к 30-м годам по настоятельному требованию основной массы населения официальным языком Дагестана стал русский язык. Русский язык выполняет широкие функции в общественной жизни республики как язык межнационального общения, среднего и высшего образования, как язык науки и техники. Процесс овладения им идет повседневно, неуклонно растет и число владеющих им. «По данным переписи населения в 1970 году свободно владели русским языком: ..., дагестанцев — 43,6 (в том числе кумыков — 56,3, лакцев — 53,9, лезгин 42, даргинцев — 40,8, аварцев — 39,4 процента» [7]. Велика роль русского языка в жизни народов Дагестана. Поливалентность русского языка в жизни дагестанцев достаточно наглядно отражает следующий, далеко не полный перечень сфер его реализации: 1) в области межнационального общения; 2) в области экономики промышленности, сельского хозяйства; 3) в области среднего общего, среднего специального и высшего образования; 4) в области науки и техники; 5) в области печати, художественной литературы и искусства.

Осуществление Великим Октябрем политического и правового равенства всех наций и народностей России создало в нашей стране реальную возможность успешного развития всех равноправных во всех отношениях языков народов СССР. В нашем государстве сложилась новая историческая общность людей различных национальностей, имеющих общие характерные черты — советский народ. Отличительной особенностью его является единство экономики и культуры, общность жизненных интересов и черт духовного облика. Отношения равенства, дружбы и братства всех народностей автономной республики способствуют двуединому процессу: с одной стороны — это консолидация малочисленных этнических групп с более крупными родственными народностями, с другой — сближение всех народностей автономной республики. Сближение малочисленных национальных групп (носителей диалектов и близкородственных бесписьменных языков) с более крупными народностями происходит на базе упомянутых национальных языков Дагестана, являющихся для данных этнических групп литературными языками. Эти группы, нивелируя диалект-

[6] В. И. Ленин, Полн. собр. соч., 24, стр. 294—295.

[7] А. Халилов, Т. Бижамов, Критика антикоммунистических извращений национально-государственного строительства в СССР, «Советский Дагестан», 1977, 2, стр. 77.

ные различия и «ломая» языковую замкнутость (носителей мелких языков), сами обогащаются за счет диалектов и бесписьменных языков малочисленных народностей.

Путей такого обогащения литературных языков Дагестана немало. Назовем здесь лишь несколько путей обогащения аварского литературного языка за счет диалектов: 1) использование диалектизмов (фонетических, морфологических, лексических) в языке произведений художественной литературы писателей — носителей диалектов; 2) использование диалектизмов в народном эпосе (так, в эпосе «О разгроме Надиршаха» и «Песне о Хочбаре» прослеживаются отпечатки южного наречия, в то время как в «Песне о Бахтика» можно встретить признаки северного наречия); 3) употребление форматива эргативного падежа диалекта — [*д*] вместо форматива того же падежа литературного — [*ца*] (*гьород* вместо *гьороца* при форме номинатива *гьури* «ветер»); 4) употребление диалектной (по своему происхождению) лексики в литературном языке (ср. *гьохъ /охъ* «ячмень», *кьин* «зима», *магъ* «хвост», *къаси* «ночью» *гIатI* «мука». Эти же понятия передаются и словами литературного языка: *пурчIина*, *хасел*, *рачI*, *релъеда*, *ханжу* соответственно).

Процесс развития и постепенного сближения народов Дагестана, как и всех народов Страны Советов, достаточно убедительно показывает беспочвенность утверждений некоторых адептов буржуазной идеологии, пытающихся доказать, что в Советском Союзе происходит «денационализация» республик, русификация нерусских национальностей и их языков. Это могли бы опровергнуть цифры относительно роста населения национальных республик СССР. Так, журнал «Советский Дагестан» приводит такие данные: «Что же касается основных национальностей, проживающих в союзных и автономных республиках, то численность принадлежащих к ним людей не только не уменьшается, но растет неуклонно. Так, при росте численности всего населения СССР за период с 1959 по 1970 год на 15 процентов, численность казахов увеличилась на 54,8, таджиков — на 52,9, узбеков — на 52,8, ингушей — на 50, киргизов и дагестанцев — на 49 (в том числе, даргинцев — на 52,9, аварцев — на 49,9, лезгин — на 45,3, кумыков — на 40, лакцев — на 34,3), чеченцев — на 46,1, азербайджанцев — на 45,2, балкарцев — на 42,9, кабардинцев — на 32, башкир — на 25,3, армян — на 24,1, татар — на 22,2 процента... подавляющее большинство лиц, проживающих в своих национальных республиках, родным языком считают язык своей национальности» [8].

В связи с рассмотрением вопросов развития языковой жизни Дагестанской АССР уместно упомянуть о книге американского лингвиста К. Таундсенда «Они нашли общий язык», где ее автор после неоднократного посещения Советского Союза с целью ознакомиться с системой народного образования в национальных республиках Кавказа старается объективно описать и те благоприятные условия, в которых развиваются языки народов СССР, в том числе и языки народов Дагестана [9].

Сегодняшний билингвизм в Дагестане — это массовый национально-русский билингвизм, выражающийся в 1) повсеместном распространении грамотности параллельно на родном и русском языках; 2) свободном владении родным и русским языками подавляющим большинством населения республики и 3) повседневной реализацией знаний родного и русского языков в жизни народов республики. Такой сложный коррелятивный процесс, как расширение роли родных языков параллельно с усилением роли русского языка в соответствии с ленинскими положениями о «свободе

[8] Там же.

[9] См.: З. Гунаев, Перенять дагестанский опыт, «Советский Дагестан», 1977, 3, стр. 49—50.

языков» и непринудительном овладении русским языком (см. выше) вызван к жизни самой практикой экономического и культурного развития народов Дагестана. Этот же процесс служит мощным фактором усиления и ускорения социального и духовного подъема всех народов республики. Велика роль русского языка и как одного из основных источников обогащения языков Дагестана.

Результаты такого воздействия наблюдаются почти на всех уровнях языков Дагестана: в лексике, фонологии, морфологии, синтаксисе и т. д.

Развитие и обогащение исконного словарного фонда названных языков происходят не только за счет реализации традиционных способов деривации и расширения семантики слов, прямых заимствований из русского языка и через русский язык, но и путем калькирования. Расширение словарного состава на базе исконного лексического фонда происходит в основном путем создания новых лексем посредством традиционных способов деривации: лезг. *сажинсин* «однородный» (*са* «один + *жинс* «род»), авар. *захIматкъо* «трудодень» (*захIмат* «труд» + *къо* «день»), *захIматхалкъ* «трудящийся народ» (*захIмат* «труд» + *халкъ* «народ»), *воржарухъан* «летчик» [*воржар* (основа глагола *воржаризе* «летать») + *у* (соединительный элемент) + *хъан* (деривационный суффикс имен)]. Расширение старой и приобретение новой семантики слов ведут в конечном счете к полисемии этих слов: *багIараб* «красный» — *багIараб горде* «красная рубашка» и *БагIараб армия* «Красная армия», *гама* «корабль, судно» — *гама ралъдал рагIалде швана* «корабль причалил к берегу», и *гама гьаваялде ана* «корабль отправился в космос», *къибил* «корень» — *гъотIол къибил* «корень дерева» и *рагIул къибил* «корень слова», *āслу* «основа, сущность» — *ишалъул āслу* «сущность дела» и *рагIул āслу* «основа слова», *ахир* «конец» — *тIехьалъул ахир* «конец книги» и *рагIул ахир* «окончание слова».

В связи с подъемом экономического, политического и культурного уровня народностей Дагестана их языки заимствовали из русского языка и через него значительное количество слов. Эти заимствования пронизывают почти все пласты лексики и касаются самых разных сфер материальной и духовной жизни народов: промышленного производства и сельского хозяйства, науки и техники, культуры и быта. Интернациональная терминологическая лексика также входит в национальные языки через русский язык. Примечательно, что многие заимствования сохраняют в литературных языках Дагестана свой исходный звукотип, что является фактором унификации заимствованной лексики в этих отличающихся друг от друга языках.

Как признаки стимулирующего влияния двуязычия на фонологические системы языков Дагестана следует рассматривать такие следствия интерференции, как употребление билингвами отсутствующих в их родных языках русских фонем — /ф/, /р'/, /л'/, не свойственных для них последовательностей согласных и гласных, например *кр*, *пл*, *пр*, *ия*, и слоговых структур.

Подчеркивая большое значение национально-русского двуязычия для развития народов Дагестана, Л. И. Жирков писал: «В условиях же современного развития и обогащения этих языков... особенно интересно для лингвиста следить за тем, как языковое творчество на наших глазах накладывает на слои глубочайшей языковой архаики все то новое, без чего не может обойтись язык современной газеты и книги, как возвышаются до абстракции примитивно-конкретные выражения и как архаическая грамматика приобретает способы выражения новых понятий, нового смысла» [10].

[10] Л. Жирков, Развитие частей речи в горских языках Дагестана, «Языки Северного Кавказа и Дагестана», М.— Л., 1935, стр. 155.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1980

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

***W. Haas.* Sprachwandel und Sprachgeographie.** Untersuchungen zur Struktur der Dialektverschiedenheit am Beispiele der Schweizerdeutschen Vokalsysteme.— Wiesbaden, Franz Steiner Verlag, 1978. 354 стр.

Проблема объяснения звуковых изменений — один из коренных вопросов лингвистической теории, который с давних пор привлекал к себе внимание лингвистов. Книга В. Хааса «Языковые изменения и лингвистическая география» представляет собой попытку нового подхода к этой проблеме. Цель книги — проанализировать современное состояние диалектных фонологических систем и показать становление этих систем в результате ряда звуковых изменений. Автор выдвигает теоретические предпосылки, а затем проверяет их на материале вокализма швейцарско-немецких диалектов. В соответствии с задачами данной работы исследование В. Хааса распадается на две основные части: в первой (стр. 6—103) формулируется теория языковых изменений, вторая (стр. 104—280) заключает в себе попытку применить теоретические посылки к конкретному языковому материалу.

Автор опирается на большой опыт традиционной немецкой и швейцарской диалектологии. Неслучайно книга посвящена памяти крупнейшего швейцарского диалектолога Р. Хотценкёхерле. Тем не менее в ряде случаев В. Хаас отвергает традиционные, принятые в немецкой диалектологии взгляды и выдвигает свою концепцию, основанную на достижениях современного языкознания (в частности, фонологии, лингвогеографии, социолингвистики).

В теоретической части книги рассмотрены вопросы: почему и каким образом изменяются языки, каков механизм появления и распространения звуковых изменений. Важнейшие разделы этой части: теория новшеств, теория прохождения изменений, лингвистическая структура языковых различий.

Причину изменений, по мнению В. Хааса, нужно искать, исходя из функциональной стороны языка: всякая система существует, чтобы функционировать; язык как система изменяется, чтобы продолжать функционировать (стр. 8).

Для анализа первого шага звукового изменения В. Хаас пользуется понятиями «инновация» и «новшество» (Innovation, Neuerung). Появление инноваций связано с «оговорками», «ошибками» носителя языка, который в процессе речевого общения может создать новый элемент или особым образом изменить старый. Инновация как «точечное», индивидуальное событие не есть еще языковое изменение, а только материал для изменения, предпосылки к нему. Изменения в языке — замена старого состояния новым — связаны с усвоением многими носителями языка отдельных инноваций. Новшество — это состоявшееся включение инновации в языковой арсенал общества. Лингвист изучает не инновации, которые в целом не поддаются наблюдению, а новшества.

Опираясь на работы классиков диахронической фонологии, В. Хаас считает необходимым учитывать, какие изменения вносит то или иное новшество в существующую фонологическую систему. Автор называет «фонологическими» все те процессы, которые изменяют комбинацию признаков фонемы.

Так, например, некоторые фонологи могли бы рассматривать единичное изменение /о/ > /ɔ/ как мену реализации, не затрагивающую систему, так как количество фонем остается прежним. Но поскольку в приведенном примере /о/, теряя признак закрытости, перестает коррелировать с /е/ и вступает в коррелятивные отношения с более открытым /ɛ/, данный случай интерпретируется В. Хаасом как фонематическое изменение. Неясным, однако, остается, как отграничить изменение признака от сдвига реализации и каковы критерии определения того, с чем коррелирует данная фонема.

Важное место в теории новшеств В. Хааса занимает концепция «естест-

венной фонологии» и «естественных» звуковых изменений, которая восходит к идеям Р. Якобсона и была перенята генеративистами. По этой концепции звуки делятся на «естественные» (например, *a*, *i*, *u*) и «менее естественные» (например, *w*, *γ*, *ʌ*). Степень «естественности» звука определяется путем наблюдений за составом фонем в языках мира, за развитием речи у детей, за изменением лингвистического поведения больных афазией. Создается «иерархия естественности», которая в конечном счете отражает физические явления и психические процессы. Эта иерархия может быть усложнена, если рассматривать «степень естественности» не фонем, а их признаков, а также комбинации признаков в пределах одной фонемы. Например, естественно, чтобы гласные заднего ряда были лабиализованными, а лабиализованные переднего ряда — менее естественные звуки. Более или менее естественными могут быть не только фонемы и признаки, но и звуковые изменения. Если сравнить, например, (1) /a/ > /æ/; (2) /a:/ > /ɔ:/, то представляется, что изменение (1) более естественное. Дело в том, что в случае (1) происходит мена всего лишь одного признака, а в случае (2) — мена нескольких признаков. Таким образом, можно определить «естественное изменение» как изменение на один признак и исходить из посылки: чем меньше признаков изменяется, тем более «естественным» является изменение. В рамках данной работы автор пользуется именно таким определением «естественности», хотя и понимает его уязвимость. В. Хаас указывает на то, что нужно учитывать и многие другие факторы: «степень естественности» фонем, участвующих в рассматриваемом процессе, место изменения в системе фонем, «геометрию» фонологической системы, а в некоторых случаях — позиционные условия, в которых происходит данное изменение.

У читателя может возникнуть вопрос, всегда ли звуковое изменение является «естественным» и следует ли реконструировать отдельные фонетические процессы таким образом, чтобы получить наиболее естественные изменения. Из всего дальнейшего проделанного В. Хаасом анализа материала ясно, что в истории языков (в частности, в швейцарских диалектах) встречаются как «естественные», так и «неестественные» изменения. В тех случаях, когда изменения представляются «неестественными», В. Хаас предполагает влияние других диалектов, заимствования. Например, по реконструкции В. Хааса, в некоторых диалектах юга немецкоязычной Швейцарии (Бернский Оберланд, Валлис) произошло расширение долгих гласных /e:/, /o:/ (*/e:/ > /ɛ:/; */o:/ > / ɔ:/) — изменение, маловероятное с точки зрения «естественности», так как «естественно», чтобы долгие гласные были закрытыми. В. Хаас объясняет приведенную замену закрытых долгих открытыми как результат заимствования из центрально-бернского диалекта, где эти звуки возникли «естественным путем», при монофтонгизации /ai/, /au/ (стр. 196). Таким образом, «степень естественности» играет важную роль для предлагаемого В. Хаасом метода выявления процесса звуковых изменений, хотя, применяя это понятие, В. Хаас дает ему лишь предварительное определение и подчеркивает недостаточную разработанность проблемы «естественности» в языке.

Теория новшеств смыкается у В. Хааса с теорией протекания изменений. Автор исходит из того, что изменение есть «перенимание» (Übernahme), каждое языковое изменение состоит из серии «перениманий»: все бо́льшее число носителей языка слышит, усваивает новый элемент и включает его в свой языковой арсенал (стр. 34). Изменения могут протекать интенсивно и экстенсивно. Первый тип протекания изменений предполагает замену старого элемента новым во всех словах; второй — распространение изменений от одного носителя языка к другому.

Автор ставит вопрос, что перенимает носитель языка: правило, позволяющее заменять одну фонему на другую, или целые слова, уже содержащие новые звуки. В ответе на этот вопрос В. Хаас стремится совместить обе гипотезы. Весь комплекс явлений, связанный с механизмом «перенимания» новшеств и их распространением, представлен автором в виде следующих этапов: 1) определенная группа носителей языка перенимает новшества, введенные другой группой, заимствуя целые слова, содержащие новые звуки; 2) эти новые слова становятся лексическими вариантами старых, сосуществуя с ними; 3) сравнивая лексические варианты, носители языка создают правила перехода от одного варианта к другому; 4) правила обнаруживают тенденцию к упрощению, которое предполагает обобщение (применение правила во многих контекстах) и распространение (применение одинакового изменения признаков ко многим исходным сегментам). Иными словами, радиус действия правила увеличивается; оно распространяется на все большее количество позиций и слов (например, сначала /k/ > /č/ перед /i/, затем перед /i/, /e/ и, наконец, во всех позициях).

На всех ступенях изменения сначала оба варианта сосуществуют, затем новый вариант вытесняет старый; языковое изменение завершается. Процесс снятия вариативности направляется двумя движущими факторами — языковой «естественностью» и социальной значимостью (престижностью).

Важным выводом В. Хааса является признание связи лингвистических особен-

ностей диалекта с социальными факторами, с условиями и временной последовательностью распространения новшеств. Сочетаемость различных черт, характерных для определенного диалекта, отражена в понятии «импликативной шкалы». Закономерности «импликации» выявляются из анализа конкретного диалектного материала. Так, рассматривая сужение долгих гласных в швейцарских диалектах, В. Хаас выделяет представленные в разных говорах типы этого звукового изменения, отражающие этапы его распространения: 1) ê > /e:/, ô > /o:/; 2) ê > /e:/, ô > /o:/, â > /ɔ/, 3) ê > /e:/, ô > /o:/, â > /ɔ:/, æ > /ɛ:/ и т. д. Каждый последующий тип (этап распространения) процесса сужения долгих гласных включает в себя все предыдущие. Нарушение этого «импликативного порядка» может произойти лишь в результате особых процессов, которые следует специально анализировать. Сочетание различных признаков, эмпирически наблюдаемая их импликация связана с механизмом волнообразного распространения языковых новшеств. Взаимодействие между различными «волнами», ведущее к импликативному упорядочению, может рассматриваться хронологически: позднее новшество имплицирует более раннее.

Распространение языковых новшеств не ограничивается влиянием временного и социального факторов. В. Хаас вводит третье измерение — фактор географического пространства, подчеркивая, что в рамках диалектологической работы в центре внимания находятся географически дифференцированные группы. Если исходить из предпосылки, что языковые изменения начинаются как перенимание, усвоение инноваций другими носителями языка, то следует признать, что языковое изменение берет начало в малой группе (Kleingrupe), состоящей из ограниченного числа лиц, находящихся друг с другом в тесном общении. Естественно, что подобная группа ограничена определенным местом в географическом пространстве. Языковые изменения тем самым начинаются в определенное время, в определенном месте социального и географического пространства. Члены группы говорят на одном изолекте. Когда вся группа проводит новшество, оно расценивается носителями языка, не входящими в эту группу, как групповой признак. Дальнейшее перенимание за пределами указанной группы определяется социальной значимостью,— в качестве регуляторов процесса выступают такие факторы, как «престиж» и «влияние нормы».

Там, где диалектология занимается не местными говорами, а городскими диалектами, она не может пренебречь расслоением языка. В Швейцарии Базель и Берн очень рано признаны как гетерогенные в языковом отношении образования. В. Хаас, вслед за Х. Баумгартнером, отмечает, что для групп, объединенных в отношении места, но социально расчлененных, географический критерий недостаточен. Социальные барьеры между группами, объединенными географически, могут оказаться менее проницаемыми, нежели географические барьеры между разделенными в пространстве, но равными в социальном плане группами носителей языка. В. Хаас подчеркивает, что распространение новшеств может быть остановлено или замедлено не только социальными барьерами, но и уже сложившимися языковыми границами. Наиболее беспрепятственно новшество распространяется через близкие изолекты, поскольку внутри таких изолектов существуют идентичные языковые предпосылки для проведения новшеств.

Теоретическую концепцию, разработанную в первой части книги, В. Хаас применяет к анализу швейцарско-немецких вокалических систем. Источником диалектного материала для В. Хааса в основном служат карты «Лингвистического атласа немецкой Швейцарии» («Sprachatlas der deutschen Schweiz»), одним из составителей которого является сам автор. Рассматривая изменения системы гласных в разных швейцарских диалектах, В. Хаас стремится выделить те явления, которые можно рассматривать как результат единого процесса. Он изучает их особенности в разных ареалах, исследуя комбинации различных диалектных черт. Полученная картина позволяет сделать выводы о распространении рассматриваемых процессов в данном ареале. Для каждой области реконструируются наиболее «естественные» звуковые изменения (например: краткие гласные расширяются, долгие — сужаются), а также такие изменения, которые необходимы с точки зрения системы. Кроме того, устанавливаются правила сочетаемости отдельных явлений. Анализируя таким образом сужения и расширения гласных, В. Хаас приходит к выводу, что оба эти явления представляют собой единые и самостоятельные процессы, каждый из которых имеет свой центр [расширение на западе, сужение на востоке рассматриваемого диалектного ареала (стр. 276)].

Книга В. Хааса представляет собой серьезную попытку создать единую концепцию звуковых изменений, учитывающую и фонологические, и лингвогеографические, и социолингвистические факторы. Стремление рассмотреть все явления в их взаимосвязи и динамике, безусловно, следует считать заслугой автора. В. Хаас удачно применяет свою теорию к анализу конкретного материала, убедительно объясняя распространение явлений расширения и сужения гласных в ареале немецкоязычной Швейцарии. В книге содержится много полезных замечаний, касающихся и других фоноло-

гических явлений в швейцарско-немецких диалектах.

Представляется, что наиболее уязвимым местом в концепции В. Хааса является гипотеза о «перенимании» слов, содержащих новшества. Безусловно, в случае изменения, касающегося фонологического состава отдельных слов, процесс распространения новшеств можно представить себе именно так. Предполагаемый В. Хаасом механизм изменений возможен и при слиянии фонем, когда по сути дела тоже происходит замена одного слова другим. Но диахронической фонологии известны и другие изменения: изменения инвентаря фонем и их различительных признаков. В таком случае действие постулируемого В. Хаасом механизма представляется весьма сомнительным. Непонятно, как носитель языка может заимствовать слова с фонологическими единицами, не существующими в его диалекте. Многочисленные случаи восприятия фонем чужого языка сквозь призму собственной фонологической системы и адаптации заимствуемых слов свидетельствуют против такой возможности. Неясно, как, по концепции В. Хааса, происходит фонологизация аллофона. По-видимому, подобные явления не представлены в том диалектном материале, который анализирует В. Хаас. Тем не менее при построении общей теории их нужно было бы включить в рассмотрение.

Подчеркивая единство различных «атомарных» звуковых изменений как этапов одного и того же процесса, В. Хаас сознательно отказывается от предложенного еще К. Хаагом выделения собственно звуковых изменений (Lautwandel) и замены одного звука другим (Lautersatz), так как, по его концепции, в основе распространения всех звуковых изменений лежат одинаковые механизмы и изменение всегда представляет собой «перенимание», которое происходит описанным выше образом. Тем не менее представляется, что правы те исследователи, которые выделяют типы звуковых изменений и подчеркивают принципиальное отличие изменений в фонемном инвентаре от перераспределения уже существующих фонем в отдельных словах [1]. Хотя анализ общих особенностей распространения фонологических процессов, обладающих разным фонологическим содержанием, имеет свои сильные стороны, едва ли правильно отказываться от принятой в диалектологии и диахронической фонологии классификации диалектных различий и звуковых изменений, так как она, как известно, была выработана на основе анализа конкретного языкового материала и подтверждается многими лингвистическими фактами.

Несмотря на указанные спорные положения, анализ материала, данный В. Хаасом, представляет большой интерес для германистов, занимающихся историей языка и диалектологией, а концепция звуковых изменений, разработанная автором, несомненно привлечет к себе внимание специалистов, работающих в разных областях языкознания. Думается, что именно такие исследования позволят лингвистам приблизиться к решению спорного вопроса о причинах и механизмах возникновения и распространения звуковых изменений.

Домашнев А. И., Смирницкая С. В., Найдич Л. Э.

[1] Некоторые работы показывают, что фонологическая сущность звукового изменения может влиять и на его распространение (на швейцарском материале см.: W. G. Moulton, Lautwandel durch innere Kausalität, Zeitschrift für Mundartforschung, 1961, XXVIII, Hf. 3, стр. 249—250).

Й. Скацел. Общественные функции русского языка в развитии социально-экономической интеграции в Чехословакии

(ч. 1—4).— Острава, 1976 — 1978 гг. (ротапринт).

Различные сферы функционирования русского языка как языка межнационального общения и как одного из мировых языков по праву занимают одно из центральных мест не только в проблематике научно-исследовательских работ советских языковедов [1], но становятся объектом детального изучения за рубежом и прежде всего в братских социалистических странах, где русский язык все более входит в жизнь как язык культурного и научно-технического

[1] См.: И. К. Белодед, Русский язык — язык межнационального общения народов СССР, Киев, 1962; «Русский язык в современном мире» (отв. ред. Ф. П. Филин), М., 1974; Ю. Д. Дешериев, Закономерности развития литературных языков народов СССР в советскую эпоху. Развитие общественных функций литературных языков, М., 1976; «Развитие национально-русского двуязычия» (отв. ред. Ю. Д. Дешериев), М., 1976; «Русский язык как средство межнационального общения», М., 1977.

сотрудничества всех народов стран социалистического лагеря.

Рецензируемая работа выполнена сотрудниками Института русского языка при Педагогическом факультете в Остраве и посвящена комплексному изучению функционирования русского языка в Чехословакии. Она включает разработку теоретических и практических социолингвистических проблем, таких, как теория общественных функций языка в социалистическом обществе, роль общения в развитии общества, определение общественных функций языка, вопросы языкового планирования и др.

В работе дается исторический очерк развития общественных функций русского языка в Чехословакии и описание его современного состояния, а также формулируются основные принципы планирования общественных функций русского языка в ЧССР и управления их развитием.

Рецензируемое исследование состоит из четырех частей. Первая часть — «Теория общественных функций языка в социалистическом обществе» является вводной, в ней заключено теоретическое и методологическое обоснование всей работы. В центре внимания автора находятся такие актуальные проблемы социальной лингвистики, как соотношение общества и языка, общественная значимость языка, его общественные функции, роль языка в общественном сознании, в частности, в идеологии. Следуя основным положениям советской социолингвистической школы, разработанным в трудах Ф. П. Филина, Ю. Д. Дешериева, В. Г. Костомарова и др., а также опираясь на богатое научное наследие чешского языкознания, в частности, Пражского лингвистического кружка, Й. Скацел критически разбирает современные буржуазные теории социолингвистики.

Автор формулирует универсальные и дифференцирующие общественные функции языка следующим образом. Универсальные общественные функции формируются в любой языковой ситуации у языков, обслуживающих универсальные формы общения — коммуникацию, интеракцию и фацилитацию (т. е. обмен информацией, взаимовлияние и взаимодействие). Дифференцирующими общественными функциями автор считает неодинаковую степень участия языков в обеспечении указанных потребностей общения, неравномерное использование их отдельными языковыми коллективами в конкретных языковых ситуациях.

В работе устанавливаются основные причины интенсификации общественных функций языков в социалистическом обществе. Это стремительное развитие производительных сил в социалистическом обществе, которое ведет к более многосторонним отношениям языка, общественной практики и общественного сознания. Для общения в условиях социализма характерна более широкая демократизация в расширении знания и употребления языков, целенаправленность разработки проблем обучения языкам, организованное управление и планирование языковых процессов. Роль НТР в изменении языковой ситуации в социалистическом обществе также весьма велика, особенно в сфере планирования и управления процессами функционирования языков. На изменение языковой ситуации в социалистическом обществе существенным образом, по справедливому мнению автора, влияет развитие общения в условиях экономической интеграции и сотрудничества государств социалистической системы. В исследовании весьма удачно применяются разработанные в советском языкознании теоретические и методологические аспекты проблемы взаимодействия и взаимообогащения языков для изучения аналогичных языковых процессов в условиях социально-экономической интеграции в ЧССР. Автор отмечает повышение значения интегрирующего языка всей социалистической системы, т. е. русского языка, особенно в области научно-технического и экономического сотрудничества.

Во второй части работы «История развития общественных функций русского языка в ЧССР» автором рассматриваются проблемы развития общественных функций русского языка на территории современной ЧССР с древних времен в производственно-экономической, общественно-политической и культурной сферах и проводится периодизация этого развития (с X в. по 1945 г. и с 1945 г. по настоящее время). Особо подчеркивается тот факт, что русский язык в Чехословакии на всех этапах его функционального развития был не только одним из факторов культурных контактов, но всегда оказывал определенное политическое воздействие.

Наиболее актуальным в плане общих задач исследования является глава второй части «Развитие общественных функций русского языка в Чехословакии с 1945 г. по семидесятые годы». В этой главе автор обосновывает предпосылки развития общественных функций русского языка, основной из которых является развитие ЧССР по социалистическому пути. Автор отмечает образование чешского и словацкого стандартов русского языка и роль русского языка в развитии общественной жизни республики на примере производственно-экономической сферы Остравской промышленной области. В этой главе развиваются общественные функции русского языка (внешние общественные функции), а также определяются функции интегрирующего языка с точки зрения его стандартов (внутренние общественные функции). Наконец, определяется степень исполь-

зования русского языка в разных процессах общения, исследуется его влияние на эти процессы и его роль в развитии общественного сознания и практики.

В заключение второй части автор подчеркивает, что русский язык становится неотъемлемым фактором развития социализма в ЧССР. Без общения на русском языке нельзя было решать многочисленные проблемы социалистического строительства и сотрудничества с СССР. На исследуемом этапе, констатирует автор, наблюдается более интенсивное изучение русского языка. В перспективе автор видит необходимость управления внутренними общественными функциями русского языка, что приведет к выработке его эффективного стандарта и повысит качественный уровень его знания.

В третьей части работы «Современное состояние развития общественных функций русского языка в ЧССР» проводится синхронный анализ внешних общественных функций русского языка в производственно-экономической сфере ЧССР, анализ современного состояния форм русского языка — языковой способности, языкового процесса и языковой системы. Й. Скацел опирается на большой фактический материал, накопленный им в результате конкретных социолингвистических исследований, проведенных в 1976—78 гг. в Остравской промышленной области. Автор широко применяет современные методы социолингвистических исследований — наблюдение, анкетирование, интервью, эксперимент, статистический анализ и др.

Й. Скацел рассматривает различные аспекты языковой способности на примере пяти типов общения, реализующихся в исследуемых сферах функционирования русского языка: делопроизводства, чтения русской литературы, изучения советской технической документации, общения с советскими специалистами, участия в международных форумах с русским языком в качестве рабочего.

В этой части работы рассматриваются основные явления интерференции в русской речи чехов на семантическом и стилистическом уровнях. Затем автор останавливается на фонетических, лексических и грамматических аспектах системы русского литературного языка при его использовании в производственно-экономической сфере в ЧССР.

В конце третьей части работы отмечается экономический эффект, который достигается благодаря овладению русским языком чехословацкими трудящимися. Употребление русского языка в производственно-экономической сфере дает непосредственный результат благодаря росту оперативности получения научно-технической информации из русских источников, благодаря обмену опытом советских и чешских специалистов, участию в международных организациях (СЭВ) с русским языком в качестве рабочего языка, при повышении профессиональной квалификации чешских специалистов в СССР.

Четвертая часть труда Й. Скацела «Принципы планирования общественных функций русского языка в ЧССР и управления их развитием» посвящена анализу общих проблем планирования языка, в том числе планированию развития общественных функций русского языка в ЧССР в условиях социально-экономической интеграции. Автор детально разбирает различные аспекты проблемы языкового планирования, в частности, вопросы определения места языкового планирования в лингвистике, процессы и этапы языкового планирования, анализ его результатов. Автор дает высокую оценку разработке языкового планирования в СССР, основанного на ленинских принципах национальной политики, подчеркивает, что языковое планирование тесно связано с научным прогнозированием и управлением общественными процессами, и отмечает необходимость развития следующих принципов управления развития языков: методов прямого управления, т. е. административной координации развития системы обучения языкам, и методов косвенного управления, т. е. направления деятельности социальных групп в целях создания оптимальных условий для развития и употребления языков. В данной части работы хотелось бы найти более конкретные конструктивные рекомендации для эффективного повышения качества обучения и владения русским языком в ЧССР.

Подводя итог, следует отметить, что рецензируемая работа Й. Скацела является первым в своем роде социолингвистическим комплексным исследованием проблем функционирования русского языка в конкретной социальной среде за пределами СССР, в одной из стран социалистического лагеря. В работе успешно разрабатываются теоретические основы и даются практические рекомендации для развития общественных функций русского и других языков, взаимодействующих в условиях социально-экономической интеграции в социалистических странах.

Баскаков А. Н.

***C. Tchekhoff.* Aux fondements de la syntaxe: l'ergatif.** — Paris, 1978. 202 стр. [«Le Linguiste» (19)].

Общеизвестно традиционное внимание французской лингвистической науки к проблемам эргативного строя, в той или иной степени всегда стимулировавшееся задачами изучения баскского языка (а в последние два десятилетия и убыхского, вновь вовлеченного в орбиту исследования усилиями Ж. Дюмезиля). Заметный вклад в разработку общей теории эргативности внесли такие французские языковеды, как Р. де ля Грассери, К. Регамэ, Р. Лафон, А. Мартине. Недавно опубликованная монография К. Чеховой служит новым выражением этого внимания. Рецензируемая книга открывается предисловием А. Мартине и состоит из четырех глав (I — излагающей авторскую концепцию эргативного строя, II — посвященной структуре предложения в языках выдержанной эргативной типологии, III — характеризующей механизм эргативности в убыхском языке, IV — рассматривающей структуру предложения в языках с очевидным номинативным компонентом), а также краткого заключения.

Как справедливо подчеркивается в предисловии А. Мартине, основным достоинством этой монографии, подводящей итог многолетним исследованиям К. Чеховой по проблематике эргативности, является то, что автору удалось продемонстрировать, что «фундаментальные черты синтаксиса языков значительно более сложны, чем позволяли того ожидать поспешные формализации некоторых современных авторов», а также прийти к характеристикам, не сводимым «к функционированию особого эргативного „падежа", но которые содержат, прежде всего, структурное тождество единственного партиципанта (при одноместном предикате.— *К. Г.*) с не-агентом в случае двух партиципантов (при двухместном предикате.— *К. Г.*)». Действительно, даже в самой композиции книги отражается мысль, что отношения эргативности при всей своей содержательной определенности способны манифестироваться существенно варьирующей по конкретным языкам формой глагола-сказуемого и синтаксически связанных с ним имен, что делает исходные рубежи автора вполне современными, и, в частности, довольно близкими к позициям, развиваемым в работах целого ряда отечественных типологов (контакт с идеями последних отчетливо выявляет и содержащийся в монографии библиографический аппарат).

К. Чехова всецело разделяет тезис о структурной доминации глагольного сказуемого в моделях эргативного предложения, в условиях которой синтаксически связанные с ним имена рассматриваются как его «определения» (термин «déterminant» используется в значении, придаваемом ему А. Мартине) или партиципанты (стр. 20—24). Функционирование обеих профилирующих в эргативных языках моделей предложения — абсолютной и эргативной — связывается автором с различными синтаксическими потенциями одноактантных и двухактантных глаголов, в связи с чем бросается в глаза и то обстоятельство, заметное также по некоторым другим последним работам, затрагивающим рассматриваемую проблематику, что автор избегает традиционной для специальной литературы квалификации составляющих эти группировки глагольных лексем как транзитивных и интранзитивных [1]. Далее постулируются фундаментальные для эргативной системы синтаксические роли «агента» и «не-агента» или так называемого первого партиципанта, имя которого во многих случаях трактуется в качестве подлежащего, определенную параллель которым образуют семантические роли агенса и пациенса (заслуживает одобрения предпринятая на стр. 28—30 попытка преодолеть многозначное использование термина «subject», встречающееся во многих зарубежных работах). Автор разделяет мнение, согласно которому глагол в языках эргативного строя нейтрален в залоговом отношении, но может располагать диатезой незалогового характера, засвидетельствованной как в северокавказских, так и в ряде других эргативных языков (в частности, в австралийском языке дьирбал), не обнаруживающей специальной ориентации на передачу субъектно-объектных отношений. При этом он не без основания, на взгляд рецензента, подчеркивает, что довольно распространенное в последнее время использование для обозначения «непереходной» словоформы лабильного глагола термина «антипассив» означает обращение к досадно субъективной терминологии, заимствованной из традиционного аппарата лингвистического описания, адекватного лишь для номинативных языков (стр. 37—43).

Типологически противопоставляя эргативный строй предложения номинативному (по принятой в книге терминологии — «аккузативному») и отмежевываясь от пассивной интерпретации эргативной конструкции, составившей целый этап в изучении рассматриваемой проблематики в прошлом, автор в то же время не склонен преувеличивать структурные расхождения обоих типов и

[1] Ср. также: C. Tchekhoff, Un langue à construction ergative: l'avar, «La linguistique», 1972, 8; ее же, Parataxe et construction ergative avec exemples en avar et tongien, BSLP, LXVIII, 1, 1973.

вступает в скрытую полемику с еще, по-видимому, непреодоленным в науке взглядом о глубокой архаичности первого по отношению ко второму (стр. 46). В последней связи обращает на себя внимание высказывание К. Чеховой о том, что невозможно усмотреть какого-либо преимущества номинативной конструкции предложения перед эргативной. На этом фоне становится понятным и то серьезное внимание, которое отводится в монографии анализу функционирования эргативности в языках с ощутимым в той или иной степени номинативным компонентом. Следует отметить, что автор использует понятия транзитивного и интранзитивного глаголов лишь при рассмотрении синтаксического механизма в последних.

Наконец, среди встречающихся в книге методических указаний практически весьма полезно соображение, согласно которому в случаях обнаружения в языке типологически не идентифицируемых изнутри построений предложения (по причине отсутствия в них соответствующих показаний формального, в широком смысле слова, плана), эти построения должны трактоваться в строгом соответствии с типологически профилирующими в данном языке моделями предложения.

В последующих главах книги содержится характеристика функционирования эргативности в целом ряде конкретных языков. Естественно при этом проводимое К. Чеховой различение их двух основных разновидностей — представителей выдержанного эргативного строя (согласно авторской концепции, последний выражается в функционировании эргативной типологии предложения, не ограниченном каким-либо условием, например, принадлежностью словоформы глагольного сказуемого определенной временной серии) и представителей непоследовательно реализуемого эргативного строя (в которых при тех или иных конкретных условиях дает о себе знать и номинативный компонент). Поскольку во всех затрагиваемых случаях автор имел возможность проведения лингвистического эксперимента, здесь можно встретить немало интересных частных наблюдений.

В целом монография К. Чеховой производит впечатление вполне современного исследования синхронного аспекта проблемы эргативности, с большей или меньшей полнотой учитывающего результаты последних типологических разысканий. Рецензенту близко очевидное стремление его автора увидеть определенную содержательную специфику строевых элементов эргативных языков по сравнению с таковой номинативных (чем в какой-то степени объясним не всегда привычный терминологический аппарат работы). С точки зрения дальнейших перспектив контенсивно-типологических штудий существенно отчетливое понимание автором того обстоятельства, что эргативностью и номинативностью еще не исчерпывается разнообразие встречающихся в языках мира синтаксических систем. Наконец, еще одной положительной стороной работы представляется ее насыщенность языковым материалом.

В заключение нельзя не остановиться на некоторых соображениях более или менее критического плана, возникающих при чтении книги. Прежде всего в ней, подобно и некоторым другим недавним публикациям по рассматриваемой проблематике, не всегда встречаем четкую типологическую квалификацию языков, характеризующихся так называемой парциальной эргативностью (ср. нередко используемый для ее обозначения термин «split ergativity»). Признание принципа системности языкового целого предполагает, что практика лингвистического описания едва ли может ограничиваться простой констатацией сфер функционирования типологически разнородных звеньев подобных языковых структур, а должна определять и превалирующий в языке тип. Между тем, как известно, довольно нестрогое обращение в специальной литературе с понятием парциальной эргативности уже неоднократно приводило к недоразумениям, поскольку чаще всего оно находило свое применение к языкам с преимуществом номинативного компонента (например, к языкам, без ограничений реализующим столь яркую типологическую черту номинативности, как залог). Не свободна от подобной нечеткости в главе о языках невыдержанного эргативного строя и рецензируемая книга.

Другое заметное упущение монографии можно усмотреть в том, что автор по существу избегает обсуждения весьма важного для общей теории эргативности вопроса о принципе организации глагольной лексики в языках последовательно выдержанного эргативного строя. Едва ли приходится сомневаться в том, что ограничение указанием на распределение в них глаголов по формальным классам одноактантных и двухактантных, которое с аналогичным успехом может быть предложено и для языков иных типологий, например, номинативной и активной, еще не представляет собой решения этого вопроса. Поэтому уточнение содержательного принципа противопоставления классов глагольных лексем в эргативной системе по сей день остается актуальной задачей изучения последней.

Здесь представляется нецелесообразным останавливаться на тех частных замечаниях, которые могли бы быть адресованы автору рецензируемой монографии. Должно быть естественным, что без случаев спорной интерпретации лингвистических данных не обходится ни одно исследование столь широкого плана, требующее привлечения фактического материала языков самой различной генетической принадлежности.

Климов Г. А.

А. А. Касаткин. Очерки истории литературного итальянского языка (XVIII—XX вв.).— Л., изд-во ЛГУ, 1976. 204 стр.

Исследование А. А. Касаткина посвящено истории литературного итальянского языка, т. е. «истории формирования нормы» (стр. 3) [1], которая рассматривается не столько в ее естественном проявлении (что требовало бы обращения к внутрилингвистической проблематике по преимуществу), сколько аксиологически [2], в ее социальной и культурной значимости, как категория осознанная, связанная с традиционной для Италии проблемой общенационального языка. Показывая, как кристаллизовался и кодифицировался итальянский язык на фоне противоречивых практических и теоретических установок XVIII—XX вв., автор обобщает обширную литературу, вызванную спорами о языке, которые охватили «пишущую и читающую Италию», начиная с XVI в. По своей тематической направленности рецензируемая книга примыкает к неоконченной работе В. Ф. Шишмарева «Очерк истории итальянского языка» [3], хронологически дополняя последнюю.

Методологические предпосылки исследования изложены во «Введении» (стр. 3—18). Исходя из понимания языка как явления прежде всего социального, А. А. Касаткин определяет норму, по аналогии с правовыми категориями [4], в качестве императивной экзистенциальной и идеальной ценности: «на основе фундаментального свойства языка — его нормативности начинает формироваться языковая норма как общепринятый стандарт, как образец, следование которому в глазах общества становится обязательным или, по крайней мере, желательным; иными словами, возникает языковая норма, которую следует именовать деонтической нормой» (стр. 3—4; разрядка наша.— *Б. М., С. Н.*).

Определение «деонтическая», подразумевая строгую необходимость реализации языковой нормы, казалось бы, вступает в противоречие с исходной посылкой исследования, что «история языка... по своему содержанию есть в значительной мере история его нормативного развития, история становления его деонтической нормы» (стр. 4). Это противоречие, однако, снимается имплицитно заложенным в цитированных отрывках разграничением нормативности как «имманентного качества языка» и деонтической нормы как «социально осознанной категории». Оно аналогично — в более традиционной терминологии — разграничению нормы объективной (или «естественной») и аксиологической («литературной»). Однако аналогия остается неполной, поскольку, в силу своей осознанности, понятие деонтической нормы приложимо к нормативным единствам разного уровня, в том числе к региональным вариантам языка (стр. 8). В свою очередь, понятие нормативности как основной функции языка может быть распространено на любые его формы (стр. 3), включая «нормальные» языки (в смысле И. Вахека). По определению, нормативность коррелирует с системностью; но, с другой стороны — система языка составляет основу нормы, которая представляет собой «диалектическое единство устойчивости и изменчивости» (стр. 4). Таким образом, и система и норма интерпретируются в динамике развития, как явления взаимообусловленные и эволюционирующие «от „аллотропии“ и гибкости, допущения многих сосуществующих форм, к ригидности, жесткой альтернативе в различении „правильного“ и „неправильного“» (стр. 4) [5].

---

[1] Здесь и далее в тексте даются ссылки на соответствующие страницы рецензируемой книги. А. А. Касаткин последовательно обращается к изучению социальной истории литературного итальянского языка; см. его статьи: О теориях языка в Италии накануне XIX в. (Трактат М. Чезаротти «Опыт философии языков»), в кн.: «Романо-германская филология», Л., 1957; К тысячелетию первого памятника итальянского языка (Carta Capuana, 960 г.), ВЯ, 1960, 6; Галилео Галилей и проблемы языка. К 400-летию со дня рождения (1564—1964), «Вестник ЛГУ», 1964, 20, и др.

[2] О разграничении объективной и аксиологической нормы см.: Г. В. Степанов, О двух аспектах понятия языковой нормы (на испанском материале), сб. «Методы сравнительно-сопоставительного изучения современных романских языков», М., 1966.

[3] В. Ф. Шишмарев, Избранные статьи. История итальянской литературы и итальянского языка, Л., 1970.

[4] Ср.: А. А. Касаткин, История языка и история права (на материале некоторых романских языков), ИАН СЛЯ, 1964, 2, его же, Язык трактата Чезаре Беккариа «О преступлениях и наказаниях», в кн.: «Общее и романское языкознание», М., 1972.

[5] Отметив изменения в системе, А. А. Касаткин характеризует изменения в норме. Распространив авторскую формулировку и на характеристику системы, мы исходили из его убеждения в «реальности прогресса языкового единства» (стр. 5), который сказывается, например, на диалектном уровне, отличающемся предельной вариативностью изоглосс, в перераспределении границ вариантных явлений и их упорядочивании под воз-

Емкую характеристику получает во «Введении» история становления нормы литературного итальянского языка, начиная с первых памятников письменности на volgare («Carta Capuana», 960 г.; письмовник Гвидо Фава, 1229 г. и др.). Эти страницы подкрепляют конкретными примерами основные взгляды автора на природу языковой нормы и ее эволюцию.

Возникновение письменности, которая является «важнейшим шагом на пути к деонтической норме» (стр. 6), порождает *тенденцию к преодолению узкоместных* особенностей языка, их сублимации в «эмбриональной деонтической норме», по выражению А. А. Касаткина. В результате подобной тенденции оказывается затрудненным региональное соотнесение ранних текстов. Нормативные начала в языке стимулируются и социально-нормативной природой ряда документов (клятвы свидетелей на суде, устав коммуны и т. п.).

Следующий шаг в истории нормы связан с возникновением литературы, первоначально в рамках региональных норм, *литературных койне, которые оставались* «наивысшими возможными формами деонтической нормы» (стр. 8), затем — на основе *ведущего диалекта, постепенно* возвышающегося в качестве литературного языка. Отметив роль Флоренции и флорентийского диалекта на этом „качественно новом этапе истории итальянской языковой нормы" (стр. 8), автор дает краткую характеристику литературных и социально-исторических процессов, способствовавших языковой унификации политически расчлененной Италии.

Вслед за веком Данте, Петрарки, Боккаччо, вместе с закатом флорентийской демократии, начинается эволюция итальянского гуманизма в сторону аристократизации, *отказа от volgare и оживления* латыни в научной литературе. Но уже конец XVI в. отмечен новым этапом гуманистического движения — umanesimo volgare, чему немало способствовало появление печатной книги, ставшей «союзницей» народного языка. Последний фактор изменяет не только «форму адресования», но и адресата нормы, условия ее распространения. Языковая норма все более превращается в «экзотерическую», всеобщую и «тем более обязательную», что в свою очередь требовало преодоления ее лабильности.

Кодификация нормы не могла обойтись без борьбы мнений, которая в Италии была осложнена тем, что первоначальное относительное языковое объединение страны не получило прямого продолжения в последующие столетия. Упадок Флоренции осложнил процесс языковой унификации. Под сомнение ставится в дальнейшем и тосканская, флорентийская основа итальянского языка. Оппозиция тосканскому и его защита, ориентация на язык треченто, язык времен «трех венцов», или на узус современности — это основное содержание языковой полемики XVI в.

В ходе этой полемики победу одержали сторонники канонизированного языка треченто П. Бембо и его последователь Л. Сальвиати, при участии которого была основана Академия Круска (1583 г.). Три издания Словаря Академии (1612, 1623 и 1691 гг.) утверждали лексические и фразеологические нормы, которые были основаны на образцах классического «золотого века». Оказавшись в фокусе языковых дебатов XVII в., словарь объективно давал все же единственно твердую основу общеитальянской нормы, поскольку ориентация на живой флорентийский узус была бы невозможной в условиях падения политической роли Флоренции, а уступка местным диалектам лишь усиливала бы центробежные тенденции итальянского языка. В результате, по определению А. Н. Веселовского, «...вся Италия кристаллизовалась, обращаясь в один сплошной памятник... Правда, что кристалл был чистейшей воды...» (стр. 17). Но «язык Петрарки и любви», став национальным языком Италии, бытует на фоне бесконечного разнообразия территориальной речи. Новейшие этапы взаимоотношений между национальным языком и «полифонией диалектов» в связи с процессами политического объединения Италии и составляют содержание книги.

Первая глава посвящена процессам обновления и обогащения литературного языка, которые имели место на протяжении XVIII в. Доминирующей тенденцией эпохи сеттеченто является «стремление к обновлению языка..., воплощенное в теоретических исканиях и литературном творчестве» (стр. 12). Точно подобранными примерами и яркими характеристиками деятелей итальянской культуры, известных и менее известных, автор описывает не только борьбу мнений, но и языковой колорит, отображаемого времени, особенности индивидуальных стилей.

Л. Муратори, разностороннему мыслителю и историку эпохи, принадлежит «пальма первенства в новой постановке и новом решении языковых проблем Италии» (стр. 22). Выступив против отождествления «тосканского» и «итальянского», Муратори пришел в своем творчестве к «ясному и простому языку, не лишенному ... просторечий и диалектных интонаций» (стр. 25). Противоположную позицию занимал А. М. Сальвини, «самый значительный представитель традиционного тосканизма в конце XVII— начале XVIII вв.» (стр.26—27),

---

действием нормы, в упрочении «порога интеграции» (Б. А. Серебренников) лингвистических ареалов. Другими словами, ареалы нормированных и ненормированных языковых систем обнаруживают разные закономерности развития.

усилиями которого было подготовлено четвертое издание Словаря Академии Круска (1729—1738 гг.). К разумному синтезу «культа Данте и духа обновления» стремился Д. В. Гравина. Своеобразным оставалось положение тосканского в Неаполе, где он был «своего рода „плебисцитом" в пользу итальянизации» (стр. 30—31). Неудачную попытку противопоставить официальной норме «сиенскую» (точнее, тосканскую, но узколокальную) предпринял Дж. Джильи, исключенный за это из числа членов Академии Круска («пятьдесят одна итальянская академия сочувственно откликнулась на его начинание», стр.35). Таким образом, тосканизм XVII в. предстает как многоструйное течение, составной частью которого была критика традиционного тосканского пуризма.

Неоднозначна в «вопросе о языке» позиция крупнейшего итальянского философа XVIII в. Дж. Вико. Сознательная ориентация на язык классиков сочеталась у Вико с неаполитанским «субстратом» его научного языка. Как писатель, по определению А. А. Касаткина, он эволюционировал «от „божественного" языка к „человеческому", т. е. перешел от латыни к итальянскому языку своего времени, обращаясь, правда, и к источникам „героического" языка» (стр. 40).

Не менее выразительны характеристики неаполитанцев А. Дженовези, ученика Вико, и Ф. Гальяни, пьемонтцев Дж. Баретти, искавшего сближения с живым народным языком, и Дж. Галеани Напьоне, радикально настроенных миланцев Пьетро и Алессандро Верри, а также юриста Чезаре Беккариа, выступившего с трактатом «Исследование о природе стиля», в котором ощущается влияние идей Вико, падуанца М. Чезаротти, развивавшего идею равноправия и изменчивости языков, венецианца Карла Гоцци.

Крупным событием языковой истории XVIII в. явилось упразднение Академии Круска, которая по указу великого герцога Тосканы Петра Леопольда вошла в 1783 г. в состав объединенной «Accademia Fiorentina».

Обновлению и обогащению литературного языка, усилению его социальных позиций, способствовало творчество крупнейших писателей второй половины XVIII в. Карло Гольдони и Витторио Альфьери.

Языковая консолидация Италии становится настоятельной необходимостью в эпоху Risorgimento, характеристика которой дана во второй главе книги. Попытки «офранцуживания», последовавшие в период наполеоновского колониального режима, вызвали среди патриотов Италии волну протеста, которую призван был успокоить императорский декрет 1811 г. о восстановлении Академии Круска — на нее возлагались «в основном прежние задачи» (стр. 72).

Идею языкового единства защищают в начале века У. Фосколо и «последователь Дж. Вико и теоретик итальянской общности» В. Куоко. Новым фактором истории итальянского языка после 1815 г. становится движение романтизма, наиболее полно выражавшее в литературе идею национально-освободительной борьбы. Виднейший его представитель Дж. Никколини впервые поставил вопрос о роли народных масс в развитии языка, которое, по его словам, «есть дело, превосходящее силы любого отдельного ума, будь то Архимед или Галилей» (стр. 95).

Качественно новый этап в истории «вопроса о языке» связан с деятельностью А. Мандзони. Вклад Мандзони в развитие итальянского языка характеризуется «единством теории и практики (или, точнее, практики и теории)» (стр. 117). Распространившаяся не без влияния Мандзони ориентация нормы в сторону обиходной флорентийской речи вызвала ряд возражений, в том числе со стороны Г. Асколи, показавшего «несовпадение провинциального флорентийского узуса и традиционных норм литературного итальянского языка» (стр. 135). Позже Асколи отчасти эволюционировал в сторону тосканизма, но его положительная программа остается расплывчатой. Более определенным явилось выступление Ф. Д'Овидио, который рекомендовал компромиссное решение: «...когда литературный узус колеблется или вовсе отсутствует, к флорентийскому следует обращаться как к советнику, подчас незаменимому, но не как к абсолютному авторитету» (стр. 149).

Теоретический компромисс между традиционным тосканизмом и требованиями общенационального языка отразился и в деятельности Академии Круска. В последнем (пятом) издании ее Словаря (1863—1923 гг.) была сделана попытка отделить «устаревшие и мертвые слова» от активного лексического фонда; шире использовались цитаты из классиков национальной итальянской литературы разных времен. Несмотря на продолжение дебатов вокруг Словаря, «вопрос о языке», который, по выражению А. Грамши, был «одним из элементов политической борьбы в Италии» (стр. 156), практически был уже снят к концу XIX в.

Полемика о языке «методологически важна для изучения всего многообразия связей так называемой внешней и внутренней истории языка» (стр. 157), единство обоих аспектов отражает, по мнению А. А. Касаткина, всю историю формирования «деонтической нормы».

В третьей главе из множества проблем языкового развития после воссоединения Италии выделена проблема взаимодействия языка и диалектов, которая решается на основе марксистско-ленинской теории становления нации и национального языка. Соответственно вырисовы-

ваются три крупных периода. Относительная слабость позиций национального языка, сохранившаяся региональная изолированность, но и известное «укрупнение диалектов» в период с 1871 по 1915 гг. Взаимодействие, отчасти и смешение диалектов в результате первой мировой войны; игнорирование языка народных масс, насаждение «приблизительно национального», по определению М. Кортелаццо, языка римско-флорентийской окраски в годы фашистской диктатуры (период с 1915 по 1945 гг.). И, наконец, современный период (после 1945 г.), для которого характерно «постоянное, как никогда ранее, широкое взаимодействие языка и диалекта при доминирующем положении национального языка» (стр. 170). Взаимодействие это осуществляется поразному в различных условиях. При этом (по схеме Б. Мильорини) сосуществуют «письменный литературный язык», или собственно норма, «региональный итальянский», т. е. обиходная речь на основе нормы, «региональные диалекты» при наличии диалектной нормы и «местные диалекты», или обиходная диалектная речь, говоры. Социальный престиж диалектных единств разного порядка неодинаков.

Наряду с усилением влияния Рима на литературный итальянский язык, новое развитие получила «малая» диалектная литература, имеющая в Италии давние традиции. По-новому отразились в проблеме «диалект и кино» традиции театра на диалекте. Так называемая «диалектная вспышка» или «диалектный взрыв» (esplosione dialettale), характеризующая современную языковую ситуацию в Италии, затронула и язык художественной литературы. А. А. Касаткин справедливо считает, что активизация диалектов носит все же относительный характер и «не меняет общего направления движения... „от множества к единству“» (стр. 182), являясь лишь своего рода «антиприторической реакцией».

В кратком «Заключении» суммируются «различные стороны процесса превращения литературного итальянского языка в национальный язык объединенной Италии и формирования его деонтической нормы на протяжении последних трех веков» (стр. 188). Автор вновь подчеркивает, что в ходе движения «от множества к единству» осуществляется «дальнейшая нормативная интеграция национального языкового коллектива» (стр. 189). Эта авторская позиция, основанная на понимании деонтической нормы как императивной и идеальной ценности, отчасти перекликается с выводами Ф. де Соссюра, высказанными в «Курсе общей лингвистики» в связи с характеристикой силы взаимообщения и локальной ограниченности языка: «на практике... можно отвлекаться от фактора локальной ограниченности или, что то же, рассматривать его как отрицательный аспект унифицирующего фактора. Если этот последний достаточно могуществен, он обеспечит единство на всей территории; в противном случае явление остановится на полпути... эта более ограниченная площадь будет тем не менее единым целым по отношению к своим частям» [6].

«Очерки истории литературного итальянского языка» дают достаточно цельное представление о действии «силы взаимообщения» деонтической нормы. На широком социальном фоне в книге раскрыты многие малоизвестные, а подчас и совсем не известные страницы истории литературного итальянского языка. В стороне осталась, однако, проблема соотношения лингвистического и экстралингвистического аспектов нормы, проблема, которая, как нам кажется, могла бы дополнить представление о деонтической норме как императивной ценности не только в аспекте «экологии языка» (в смысле Э. Хаугена), но и с точки зрения языковой системы.

Можно полагать, что отмеченная нами возможность соотнесения «нормативности» и «системности» в качестве имманентных свойств языка должна проявляться в процессах языковой интеграции. В социолингвистическом плане последние находят свое выражение в деонтической норме. Однако степень императивности нормы не может не зависеть и от лингвистических параметров системы, если иметь в виду, что национальный язык в качестве системы высшего порядка формируется на основе исходных частных систем, перестраивая специфически диалектные признаки или вытесняя их под воздействием более престижных, но и более «привычных» форм языка. Другими словами, система, задающая норму, не может восприниматься в качестве «чужого» языка, но только как некоторый эталон «своего» языка. Не является ли «диалектная вспышка» показателем частичного отрыва императивности нормы от «обязательности» системных реализаций языка, развитие которого в силу исторических обстоятельств не привело еще к обобщению его территориальных и социальных подсистем в структуре национального языка?

Проблема соотнесения нормы и системы остается одним из актуальных вопросов современного языкознания. Тщательно выполненное исследование А. А. Касаткина, впервые обобщающее итоги обсуждения «вопроса о языке» не только в отечественном, но (насколько нам известно) и в зарубежном, в том числе итальянском, языкознании, намечает ряд новых аспектов проблемы «система и норма», связанных с дальнейшей разработкой и углублением концепции деонтической нормы.

Бородина М. А., Сухачев И. Л.

[6] Ф. де Соссюр, Труды по языкознанию, М., 1977, стр. 244.

F. de Tollenaere, R. L. Jones. **Word-indices and word-lists to the Gothic Bible and minor fragments.**— Leiden, E. J. Brill, 1976. XVI + 582 стр.

Рецензируемый том представляет собой собрание индексов и списков слов к тексту готской Библии и других дошедших до нас готских памятников меньшего объема в издании В. Штрайтберга [1]. Основное назначение этого объемистого тома заключается, по замыслу его авторов, в том, чтобы дать возможность специалистам с минимальными затратами времени найти в указанных текстах любое слово, а точнее любую засвидетельствованную в них словоформу. Исследователи уже давно испытывают острую потребность в таком ключе к «Готской Библии В. Штрайтберга, который позволил бы им резко сократить затраты сил и времени на проведение детального анализа готских текстов в самых различных аспектах. Получаемые в результате такого анализа данные, обладая самостоятельной научной ценностью, особое значение приобретают в широком контексте сравнительно-исторического и историко-типологического изучения германских языков.

Единственным исчерпывающим словарем готского языка вплоть до настоящего времени является, как известно, словарь Э. Шульце [2], который стал библиографической редкостью и никоим образом не отвечает современным требованиям: составленный по текстам в устаревшей редакции, он к тому же не отражает лексического состава всех известных ныне готских памятников. Что касается собственно словаря В. Штрайберга к «Готской Библии» [3], то в нем указаны далеко не все случаи употребления слов, зафиксированные в текстах. В своем предисловии к нему еще в 1910 г. В. Штрайтберг писал о намерении составить полный готский словарь с приложениями в виде греческо-готского глоссария и списка всех засвидетельствованных словоформ. Однако это намерение так и не было им осуществлено.

Как указывают авторы рецензируемой работы (стр. XI), в самое последнее время с помощью электронно-вычислительных машин были подготовлены полный индекс и обратный список готских слов (У. Истебрук), а также грамматическая конкорданция (Г. Марчанд), но эти материалы не опубликованы, к сожалению, до сих пор. Индексы и списки слов, вошедшие в рецензируемый труд, исчерпывающе и разнообразно представляют лексику всех известных готских текстов, включая так называемый фрагмент из Шпейера [4] — найденный в 1970 г. 188-ой лист в сохранившихся отрывках готской Библии в «Серебряном Кодексе» (соответственно 336-ой лист оригинала). Учтены также результаты исследования В. Беннета, посвященного повторной дешифровке текста «Пояснения к Евангелию от Иоанна» (Skeireins) [5].

Данные материалы были получены с помощью вычислительной техники и могут служить наглядным свидетельством того широкого размаха, который приобрела за последние двадцать лет автоматизация лексикографических работ и, в частности, автоматическое составление индексов к древним и современным текстам. В реализации этого научного проекта приняли участие сотрудники Лейденского университета, Института нидерландской лексикологии, американских университетов в Корнелле и Ватерлоо, а также Научно-исследовательского центра ИБМ в Йорктаун Хайтс (Нью-Йорк).

Показательно, что автоматическое составление данных индексов и списков слов было проведено на строго формальной основе. Авторы полностью сняли сложную проблему выбора методики лингвистической обработки текстовых данных перед вводом их в машину. Текст В. Штрайтберга был подвергнут следующим чисто техническим операциям: 1) развернуты сокращения, принятые писцами; например, *witāds* > *witands*, *aipisks* > *aipiskaupus*; 2) заглавные буквы в начале главы или стиха заменены строчными; 3) отсутствующие во фрагментах слов буквы, независимо от их количества, заменены двумя точками; 4) сняты круглые и квадратные скобки, с помощью которых отмечались необходимые, по мнению издателя, опущения и вставки (лишь в трех специальных индексах эти скобки были сохранены); 5) в подавляющем большинстве индексов убраны курсив и прямой шрифт, служившие для выделения неясных букв;

[1] «Die Gotische Bibel», hrsg. von W. Streitberg, I — Der gotische Text und seine greichische Vorlage. Mit Einleitung, Lesarten und Quellennachweisen sowie den kleineren Denkmälern als Anhang, Vierte unveränderte Aufl., Heidelberg, 1965.

[2] E. Schulze, Gotisches Glossar, Magdeburg, 1848.

[3] «Die Gotische Bibel», hrsg. von W. Streitberg. II — Gotisch-Greichisch-Deutsches Wörterbuch.

[4] E. Stutz, Ein gotisches Evengelienfragment in Speyer, KZ, 85, стр. 85 и сл.; ее же, Fragmentum Spirense-Verso. KZ, 87, стр. 1 и сл.

[5] W. H. Bennett, The Gothic commentary on the Gospel of John: *skeireins aiwaggeljons þairh iohannen.* A decipherment, edition and translation («The modern language association of America», monograph series, 21), New York, 1960.

6) учтены исправления, которые внес в текст «Skeireins» В. Беннет.

В качестве единицы словника в индексах и списках слов выступает последовательность букв между двумя пробелами, т. е. текстовое слово, содержательная сторона которого во внимание не принимается. Соответственно все слова в корпусе тома даны без указания их значений и без каких-либо грамматических помет. Слова, принадлежащие к изменяемым частям речи, представлены не словарными, или исходными формами, а всеми своими засвидетельствованными словоформами, каждая из которых составляет самостоятельную единицу индекса или списка. Следует особо отметить, что из-за неразграничения омонимии и полисемии все омографы, а значит все лексические, лексико-грамматические и грамматические омонимы, рассматриваются как одно слово. Последовательно выдержанный формальный подход к текстовым единицам привел к важным последствиям: он предопределил не только достоинства и недостатки принятой формы представления подвергнутых обработке данных, но также те затруднения, которые нередко возникают при извлечении из этих данных нужной информации.

Рецензируемый том отличается сложной структурой, что обусловлено, во-первых, большим количеством включенных в него словоуказателей и списков слов и, во-вторых, разнообразием признаков, по которым они составлены. Вначале помещены индексы: 1) алфавитный индекс слов (стр. 5—217 [6]) 2) индекс фрагментов слов (стр. 221), 3) индекс цифровых символов (стр. 225), 4) индекс слов с диакритическими знаками (стр. 229), 5) индекс слов, исправленных В. Штрайтбергом (стр. 233—236), 6) индекс сомнительных чтений в тексте «Skeireins», изданном В. Штрайтбергом (стр. 239). Далее следуют списки слов: 1) обратный список слов (стр. 245—288), 2) частотные списки слов — алфавитно-частотный (стр. 291—333) и ранговый (стр. 337—423), 3) список слов по длине (стр. 427—469), 4) список компонентов в словах с дефисами (стр. 473—474), 5) списки комбинаций графем в медиальной позиции, представляющие собой по существу списки сочетаний гласных (стр. 477—507) и согласных букв (стр. 511—557), 6) список расхождений между параллельными текстами (стр. 561—572). В качестве приложений даны: 1) отклонения от текста В. Штрайтберга в предыдущих его изданиях, в рукописях и тексте «Skeireins» В. Беннета (стр. 577). 2) текст фрагмента из Шпейера (стр. 581). В конце тома приводится библиография — общая (7 названий) и частная, относящаяся к фрагменту из Шпейера (21 название).

Характерной особенностью индексов, отличающей их от списков слов, является то, что включенные в них единицы снабжены подробными текстовыми адресами. Основу сложной системы условных сокращений, символов и значков, входящих в эти адреса, составляют традиционные обозначения. К ним были также добавлены особые текстовые маркеры, которые дали возможность отметить слова, подвергшиеся редакторской правке В. Штрайтберга. Здесь имеются в виду: 1) слова, исправленные В. Штрайтбергом, 2) слова, набранные одновременно прямым и курсивным шрифтом, 3) слова в тексте «Skeireins», различающиеся в изданиях В. Штрайтберга и В. Беннета.

Центральное место среди индексов занимает самый большой по объему алфавитный индекс, в котором дан свод всех засвидетельствованных словоформ. Остальные индексы, в которых текстовые слова объединены по формальным признакам, связанным с редактурой текста, его сохранностью, с буквенными обозначениями цифровых символов, лишь так или иначе дополняют алфавитный. Одни из них имеют самостоятельный словник (индексы 2, 3, 6), другие представляют собой выборку из алфавитного (индексы 4, 5), в результате чего некоторые совокупности слов даны в корпусе тома дважды. Списки слов были получены, как правило, путем автоматического упорядочения словника алфавитного индекса по ряду заданных формальных признаков. Наиболее ценными, на наш взгляд, являются обратный и частотно-алфавитный списки, а также списки комбинаций графем в медиальной позиции и расхождений, отмеченных в параллельных текстах.

Приведенные выше сведения о структуре тома дают самое общее представление о тех возможностях, которые открывает перед исследователем использование собранных в нем материалов. Однако подробнее мы остановимся лишь на некоторых из них, так как все возможные применения указанных материалов трудно не только рассмотреть в рамках краткой рецензии, но, видимо, и предугадать заранее.

Алфавитный индекс следует рассматривать прежде всего как словоуказатель, позволяющий соотнести представленные в томе списки слов с текстами. Благодаря расположению текстовых слов в алфавитном порядке в этом индексе очень легко найти любую словоформу, а следовательно, и узнать ее адрес или адреса в тексте. С другой стороны, исчерпывающий характер представленных в индексе лексических данных делает его надежным источником пополнения фактического материала, полученного из

[6] Как и в рецензии В. Беннета на рассматриваемый труд («Language», 53, 2), здесь указываются только страницы, занимаемые собственно индексами, списками слов и приложениями.

словарей или извлеченного непосредственно из текстов. Этому способствует также удобное размещение (в три столбца) текстовых адресов при каждой единице, причем немаловажно, что приводятся они в той последовательности, в какой тексты даны в издании В. Штрайтберга. Вместе с тем совершенно очевидно, что если исследователю требуется получить все контексты какого-либо высокочастотного слова, принадлежащего к изменяемой части речи, поиск словоформ этого слова в индексе предполагает хорошее знание системы готского словоизменения. Дело в том, что отнюдь не все засвидетельствованные словоформы таких слов, расположенные в книге в алфавитном порядке, следуют непосредственно одна за другой. Некоторые из них отделены одной, двумя и даже несколькими другими единицами, не говоря уже о супплетивных словоформах.

При пользовании алфавитным индексом приходится постоянно иметь в виду и то обстоятельство, что извлекаемые из него данные нередко нуждаются в последующей лингвистической корректировке. Речь идет прежде всего о разграничении омографов, покрывающих различные случаи лексической, лексико-грамматической и грамматической омонимии. При лексической омонимии омографами могут быть все формы соответствующих слов, как, например, в случае с глаголами *witan*[1] «знать» и *witan*[2] «наблюдать», «стеречь», «соблюдать» или *saljan*[1] «жертвовать» и *saljan*[2] «оставаться», «останавливаться (на ночлег)». При лексико-грамматической омонимии имеет место омонимия отдельных форм разных слов; так, омограф *hundam*, зафиксированный в трех случаях употребления, представляет форму дат. падежа двух слов — *hunda* «сто» (2) и hunds «собака» (1). Совпадение отдельных словоформ особенно характерно для грамматической омонимии, примером чего может служить регулярное совпадение форм им. и вин. падежей в именной парадигме среднего рода. Много омонимичных форм, а следовательно и омографов, дает парадигма личных местоимений 3-го лица: омограф *is*, например, представляет собой форму им. и род. падежей ед. числа личного местоимения 3-го лица муж. и ср. рода, *imma* — дат. падеж ед. числа муж./ср. рода, *izē* — род. падеж мн. числа муж./ср. рода, *im* — дат. падеж мн. числа муж./жен./ср. родов. Местоименная словоформа *is* имеет, кроме того, и лексико-грамматический омоним — форму 2-го лица ед. числа от глагола wisan «быть». Что касается разграничения разных значений, представленных в засвидетельствованных словоформах многозначных слов, то оно может быть проведено лишь на уровне реализации этих словоформ в тексте. Существенную помощь в этом может, безусловно, оказать словарь В. Штрайтберга, где даны все значения многозначных слов с указанием их соответствий в греческом оригинале.

Обратный список, в котором слова располагаются по алфавиту конечных букв, представляют собой интерес для исследователей, занимающихся вопросами готского словоизменения и словообразования. Благодаря указанному расположению слов в списке автоматически выделяются массивы текстовых слов с одинаковыми окончаниями, несущими в языках с развитой системой словоизменения основную информативную нагрузку. Обратившись к соответствующим страницам данного списка, можно легко получить исчерпывающий перечень словоформ, относящихся к определенному словообразовательному типу или представляющих какую-либо (именную или глагольную) парадигму. Огромный выигрыш во времени, достигаемый благодаря этому при сборе фактического материала, не поддается количественной оценке. Такая возможность получить в кратчайший срок инвентарь интересующих специалиста фактов имеет большое значение и с точки зрения предварительной оценки перспективности постановки той или иной задачи, что особенно важно в условиях заведомой фрагментарности имеющихся данных. При использовании обратного списка слов нельзя не принимать во внимание те особенности представления в нем лексических единиц, которые связаны с машинной обработкой текстовых данных. Следует учитывать, в частности, все сказанное выше о необходимости корректировки данных алфавитного индекса, так как именно через этот индекс легче всего соотнести единицы обратного индекса с текстами, а следовательно, и определить количество засвидетельствованных в них конкретных словоформ.

Частотные списки слов, пользуясь которыми можно решать задачи, связанные с распределением в текстах как отдельных словоформ, так и их совокупностей, даны в двух вариантах — алфавитно-частотном и ранговом. Первый из этих списков позволяет установить общую частоту любой текстовой единицы, причем легче всего это сделать, естественно, для неизменяемых частей речи. Непосредственно из списка можно, например, узнать, что отрицание *ni* «не», «нет» встретилось в текстах 1507 раз, тогда как отрицательная частица *ne* «не» — всего 12. Сопоставление алфавитно-частотного списка со словарем В. Штрайтберга позволяет также со всей наглядностью продемонстрировать неполноту данных последнего, прежде всего на материале неизменяемых частей речи: союз *jah* «и» зафиксирован в текстах 4429 раз, тогда как у Штрайтберга указано всего 25 случаев употребления, союз *iþ* «а», «но» — 688 раз (49), предлог *miþ* «с» — 303 (43), наречие *sai* «вот» —

110 (26), наречие *her* «здесь» — 21 (4) и т. п.

Что касается слов, принадлежащих к изменяемым частям речи, то установление их частот сопряжено уже с бо́льшими или меньшими трудностями, поскольку в каждом конкретном случае приходится подсчитывать частоты отдельных словоформ этих слов. Так, общая частота слова *manna* «человек» в текстах равна суммарной частоте его словоформ и составляет 352 словоупотребления. Соответственно словоформа *manna* им. падеж ед. числа представлена в текстах 100 раз, *mannan* вин. падеж ед. числа — 41, *mans* род. падеж ед. числа, им./вин. падеж мн. числа — 74, *mann* дат. падеж ед. числа — 30, *mannans* им./вин. падеж мн. числа — 10, *mannē* род. падеж мн. числа — 57, *mannam* дат. падеж мн. числа — 40. Однако, поскольку в трех случаях из 100 омограф *manna* — это форма вин. падежа ед. числа несклоняемого существительного *manna* «манна», общая частота слова *manna* «человек» составляет не 352, а 349 словоупотреблений. Вместе с тем, если бы понадобилось определить частоту отдельных словоформ данного слова, то пришлось бы обратиться уже к контекстам, так как некоторые из этих словоформ являются омонимами (см. выше формы *mans*, *mannans*). Еще сложнее было бы определить общую частоту личного местоимения *is* «он», поскольку, как уже указывалось выше, многие его формы омонимичны формам местоимений *ita* «оно» и *sō* «она», а словоформа *is* имеет в качестве лексикограмматического омонима и форму 2-го лица ед. числа от глагола *wisan* «быть». Для разграничения же частот таких омонимичных словоформ требуется обращение к тексту и последующий перебор всех их контекстов. Наконец, трудности иного рода возникают при установлении общей частоты суплетивного глагола *wisan* «быть», не только обладающего сложной парадигмой, но и имеющего два глагола-омонима: *wisan* «пребывать» и *wisan* «радоваться». Следовательно, данный алфавитно-частотный список можно рассматривать лишь как своего рода заготовку для такого частотного словаря, в котором единицей счета является совокупность всех засвидетельствованных словоупотреблений представленных в текстах слов.

Ранговый список, где текстовые слова даны в порядке убывания частот, дает четкую картину их количественного распределения. Однако из-за неоднородности подвергнутых счету единиц как на уровне их лексико-грамматических классов, так и на уровне их словоизменительных форм, лингвистическая ценность такого распределения весьма относительна. Определенный интерес может представлять, на наш взгляд, состав текстовых слов, отличавшихся наибольшей и наименьшей частотой. Так, если взять наиболее частотные единицы в этом списке, то оказывается, что первые шесть из них покрывают 16% всех словоупотреблений всех текстовых слов: союз *jah* «и» — 6,5% (4429 случаев употребления), предлог *in* «в» — 3,4% (2315), отрицание *ni* «не», «нет» — 2,2% (1507), предлог *du* «к» — 1,6% (1061), местоименная форма *izwis* «вас», «вам» — 1,3% (873), союз *iþ* «а», «но», «однако» — 1% (688). С другой стороны, около 50% всех текстовых слов (4527 из 9462) встретилось в текстах всего один раз. Это, однако, не означает, что половина всех засвидетельствованных слов зафиксирована в единичных словоупотреблениях, поскольку многие из таких текстовых слов представляют собой разные словоформы одного и того же слова.

Чтобы получить частотные списки, в которых будет непосредственно отражена морфолого-статистическая или лексико-статистическая структура текста, необходимо подвергнуть алфавитно-частотный список соответствующей обработке: разграничив омонимичные формы, сгруппировать затем текстовые слова в рамках разных частей речи и свести вместе все засвидетельствованные словоформы отдельных слов. Таким образом, можно получить списки, в которых в порядке убывания частот будут расположены словоформы, а также совокупности всех засвидетельствованных словоформ отдельных слов на уровне отдельных частей речи. Эти списки можно использовать в дальнейшем при решении большого круга вопросов.

Обширный материал для разного рода фонологических и морфонологических исследований дают списки сочетаний графем в медиальной позиции. По существу это списки словоформ, составленные в соответствии с алфавитным расположением в них срединных сочетаний гласных и согласных букв, а не графем. В нарушение указанного принципа во второй список были включены также словоформы с буквами *h* и *q*, обозначавшими лабиовелярные звуки. Рассматриваемые списки в сочетании с алфавитным индексом и обратным списком слов, где представлены начальные и конечные сочетания букв, дадут возможность специалистам с минимальными затратами времени достичь максимальной полноты фактического материала, столь необходимой для любого серьезного исследования. То обстоятельство, что в качестве единиц в этих списках выступают словоформы, намного увеличивает их ценность и позволяет учесть начальные, срединные и конечные сочетания букв во всех засвидетельствованных словоформах. Данные этих списков нуждаются, безусловно, в определенных коррективах, так как при автоматической обработке текстовых слов по указанному выше признаку авторы ре-

цензируемой книги не принимали во внимание морфемные швы и дефисы, вследствие чего сочетания букв были выделены как в пределах морфем, так и на их стыке.

И, наконец, укажем на исчерпывающий список расхождений между параллельными текстами, который избавит исследователей от необходимости скрупулезно обследовать эти тексты и позволит им сконцентрировать внимание непосредственно на изучении проблем варьирования на разных уровнях языковой структуры — орфографическом, лексическом, синтаксическом.

Выход в свет рецензируемого тома является важным событием в истории изучения готского языка. Есть все основания полагать, что предпринятый опыт автоматического составления словоуказателей к фрагментарным древним текстам, проведенный на строго формальных основаниях, оказался успешным. Специалисты получили в свое распоряжение обширный корпус материалов, которые при умелом их использовании с учетом ограничений, налагаемых машинной обработкой текстовых данных, могут стать неисчерпаемым источником самых разнообразных сведений о лексике готского языка. Вместе с тем, поскольку готские данные принято использовать в качестве отправной точки при сравнительно-историческом и историко-типологическом изучении германских языков, можно также надеяться, что опубликованные материалы будут способствовать появлению новых серьезных исследований и в этой области.

Сизова И. А.

Х. Р. Курбатов. **Татарская лингвистическая стилистика и поэтика.** Отв. ред. М. З. Закиев.— М., «Наука», 1978. 220 стр.

Стилистическая система любого развитого национального языка вырастает из взаимодействия общественно обусловленных речевых и экспрессивных форм и образующих их языковых средств. Каждый из речевых стилей характеризуется устойчивостью в большей или меньшей степени употребления обычных для него фонетических черт, морфологических форм, синтаксических оборотов и лексических средств. С другой стороны, речевой стиль налагает печать «своей принадлежности» на те или иные языковые единицы. В результате в речевой деятельности носителей данного языка осуществляется взаимосвязь. Каждый стиль речи представляет собой относительно отграниченную структуру, но все эти структуры в конечном счете объединяются в единую систему стилей речи. Рассмотреть национальное своеобразие этих структур, выявить взаимоотношение между ними, с одной стороны, а с другой — показать стилеобразующую сущность языка на всех его уровнях (лексика, грамматика, фонетика),— таковы основные задачи, которые поставил перед собой Х. Р. Курбатов в рецензируемой книге.

В соответствии с таким планом работа состоит из четырех глав: первая — «Стили речи», вторая — «Лексическая стилистика», третья — «Грамматическая стилистика», четвертая — «Фонетическая стилистика».

Собственно исследовательской части предпослано «Введение», в котором автор приводит основные концепции лингвистической стилистики, содержащиеся в обширно цитируемой им русской и западноевропейской специальной литературе, включая упоминания об античной традиции; здесь же (стр. 11—12) кратко излагаются «мысли и замечания, относящиеся к стилистике» татарских ученых XIX—XX вв., даны ссылки на ряд современных тюркологических работ.

Современные речевые стили татарского языка разделены Курбатовым на три основные группы: функциональные стили (в авторской трактовке — «объективные стили»), экспрессивные стили («субъективные стили») и стиль литературно-художественной речи. К функциональным стилям автор относит: разговорную форму речи (литературно-разговорная и нелитературно-разговорная речь), стиль деловых бумаг, стиль научного изложения и публицистический стиль. Курбатов, в отличие от ряда авторов, отказывается от признания экспрессивной разновидности речи «стилистическим оттенком», возводя ее в ранг стилей (стр. 9). Он выделяет семь экспрессивных стилей: возвышенно-патетический, сниженно-уничижительный, учтиво-вежливый, дружеско-ласковый, беспристрастно-холодный, благосклонно-шутливый, насмешливый. Взаимоотношение указанных двух групп стилей автор определяет так: «Функциональные стили и экспрессивные стили так или иначе взаимопроникают друг в друга. Если можно так выразиться, функциональные стили представляют собой как бы продольные, а экспрессивные стили — уточные нити „словесной ткани“ человеческой речи» (стр. 22). Языковые особенности и речевые приемы тех и других стилей и их разновидностей подтверждены в данной главе работы яркими, лаконичными примерами.

Основанием для обособленного положения стиля (или стилей) литературно-художественной речи в системе стилей языка является отличный от функциональных и экспрессивных стилей «принцип употребления языковых средств и речевых приемов», связанный с задачей построения образной речи в целях эстетического воздействия на читателя (стр. 44—45). Образность не чужда некоторым функциональным и экспрессивным стилям речи, она как бы сопутствует им; с другой стороны, речевые формы последних используются при создании образа в литературно-художественной речи. Однако в ней образность является главной особенностью.

Приемы создания образной речи основываются на употреблении слово-образов, понятных без контекста или в минимальном контексте, и рече-образов, выявляющихся в более широком контексте; отличие первых от вторых можно рассматривать также как отличие единиц постоянного и временного характера (стр. 49), причем временные рече-образы могут откладываться в языке как постоянные, принимающие характер слово-образов (стр. 50). Особенности тех и других типов словесных образов автор демонстрирует анализом такого наиболее национального поэтического жанра, как народная песня (стр. 51—57). Сцепление словесных микрообразов в ткани художественного произведения в макрообразы также иллюстрируется интересным анализом ряда стихотворений татарских классиков и современных поэтов (стр. 63—68).

Главы вторая и третья посвящены выявлению стилеобразующих возможностей лексики и грамматики. Разбирая синонимы, антонимы, омонимы, фразеологические обороты и переносные значения слов, а также лексику разных пластов (устаревшие слова, неологизмы, жаргонизмы, диалектные слова, заимствованные слова), Курбатов обращает внимание и на то, что свойственно именно данному языку, и на то, что является общим для стилистики многих народов. Как говорит и сам автор, грань между основным грамматическим значением и дополнительно-стилистическим значением морфологических категорий очень зыбка. Но тем не менее он сумел уловить их стилистические нюансы. Это видно даже в таком совершенно не разработанном тюркологами вопросе, как категория определенности — неопределенности (см. те страницы книги, где идет речь о стилистической функции слова *бер* «один»).

Большое место в четвертой главе, рассматривающей фонетические средства стилистики, отведено теории стиха. О том, что современное книжное и народное стихосложение в татарском (и в других тюркских языках) силлабическое, а не силлабо-тоническое (как это утверждали многие годы в наших школьных учебниках и руководствах по теории литературы для вузов), автор рецензируемой работы впервые заявил в 1955 г. в объемистой статье «Ритмика стиха в татарском языке» [1] (отметим, что статья послужила поводом для созыва конференции по теории тюркского стиха, состоявшейся в 1958 г. в Казани с участием литераторов из других тюркоязычных республик). Что же касается классического стихосложения — аруза (квантитативное, или количественное, стихосложение, основанное на чередовании долгих и кратких слогов), он решительно выступает против мнения отдельных литературоведов, которые утверждают, что эта система стихосложения возникла в тюркоязычной поэзии самостоятельно, не испытывая влияния арабско-персидской метрики, и есть явление типологическое (стр. 163). В подтверждение аргументов Курбатова (стр. 186—187) добавим, что какое-либо стилистико-поэтическое явление, возникнув в недрах самого языка (типологически совпадает оно или не совпадает с фактами из других языков и литератур), никогда не исчезает из арсенала поэтики данного народа; а аруз, заимствованный из иноязычной, арабско-персидской поэтики, вместе с демократизацией татарского литературного языка вынужден был уступить место более соответствующему фонетическим законам данного языка народному стихосложению — силлабике (впрочем, подобное явление наблюдалось и в истории русской литературы: вспомним творчество поэтов-виршевиков XVI—XVII вв.— они под влиянием поэтики поляков и других западных славян употребляли силлабику вместо исконно русской тонической и силлабо-тонической систем). Курбатов показал развитие татарского аруза — его зарождение, расцвет в средние и последующие века, а также в начале XX в. (Габдулла Тукай, 1886—1913) и, наконец, постепенное исчезновение в 20-х годах. К удивлению многих специалистов, он обнаружил, изучая произведения Хади Такташа (1901—1931) и Мусы Джалиля (1906—1944), что эти два выдающихся поэта также начали с аруза (позднее они целиком перешли на силлабику). Далее, впервые Курбатовым было дано точное объяснение (что зафиксировано и в этой книге — стр. 194 и сл.) техники стиха таких молодых поэтов 60-х годов, как Р. Файзуллин и Р. Гатауллин: стихи их дисметрические (т. е. свободный стих — «верлибр», а не вольный стих). Им также замечено, что вольный стих (т. е. полиметрические стихи) Хади Такташа в первый период его творчества (до 1926 г.) построен на арузе, а в последующие годы — исключительно на силлабике (стр. 191 и сл.).

---

[1] См.: «Совет эдэбияты», 1955, 8.

Выигрышно объяснение особенностей неполного (отчасти и полного) стиля произношения в виде структурных парадигм (парадигмы эти — нововведение автора, стр. 141—149). Ценно и свежо и исследование сценического (драматургического) произношения (стр. 149—153). Такие явления устной формы речи, как темп речи, различные произносительные варианты, иноязычный акцент и др. рассматриваются автором как художественно-изобразительные средства в театральном искусстве.

Стилистические разыскания автора, его теоретические рассуждения продемонстрированы в книге на добротном, стоящем на высоком идейно-эстетическом уровне языковом материале.

Лингвистической стилистикой и поэтикой Курбатов занимается давно. Об этом свидетельствуют его многочисленные статьи, опубликованные в журналах и сборниках, и книги «Вопросы синтаксиса и стилистики татарского языка» [Казань, 1956, (на татар. яз.)], «Стилистическая система современного татарского литературного языка» [Казань, 1971, (на татар. яз.)]. Рецензируемая книга — результат его дальнейших исследований и углубления теоретических положений в этой области. Основные положения книги не вызывают сомнений или серьезных возражений. И все же нам хотелось бы отметить следующее: автор охватил, в сущности, все стороны стилистической системы татарского языка, за исключением, к сожалению, таких разновидностей литературно-художественной речи, как стиль драматургии и стиль детской литературы. Тем более, что Х. Р. Курбатову принадлежат интересные, проведенные с хорошим знанием специфики этих жанров лингвостилистические исследования (мы имеем в виду многочисленные его статьи о драматургии и сценическом искусстве, а также статью «Стиль литературы для детей» [2]). Достойно сожаления, что в книгу не вошли и тонкие наблюдения Х. Р. Курбатова над индивидуальными стилями таких крупных художников слова, как А. Еники и Ф. Хусни, которые, несомненно, расширили бы наше представление о стилистических особенностях татарской прозы.

Высказанные замечания носят, скорее всего, характер пожеланий. В целом исследование речевых стилей, функционально-стилистических, экспрессивных и поэтических особенностей языка в монографии носит строго систематизированный характер. Автор успешно справился с поставленной целью: как можно глубже раскрыть всю систему стилистических категорий языка и речи и объяснить их взаимосвязь и взаимообусловленность. Этому в немалой степени способствовал и стиль изложения самого автора, меняющийся в зависимости от характера предмета исследования.

Осторожен и требователен автор к себе в обращении с терминами. Ища наиболее точные слова и стремясь к международному стандарту в обозначении тех или иных стилистико-поэтических и лингвистических явлений, Х. Р. Курбатов нередко дает в скобках их эквиваленты, вносит уточнения в традиционное терминоупотребление (здесь отметим, что в такой насыщенной терминами книге был бы весьма уместен предметный указатель). Так, например, если многие литературоведы считали поэму Г. Тукая «Сенный базар, или новая Отсеченная голова» пародией на произведение безымянного древнетатарского поэта «Книга об Отсеченной голове» (XII в. ?), то у Курбатова читаем, что это — перифраз. И действительно, объектом сатиры Тукая являются здесь не персонажи древнего автора, а пороки современного ему общества,— с этой целью он использует форму поэмы своего предшественника, сохраняя стилистические приемы, синтаксико-метрический строй и отдельные лексические элементы ее (стр. 172). Для малой формы свободного стиха, которую японцы называют «танси» (не следует смешивать с термином «танка»), а некоторые наши авторы (А. И. Мамонов, см. «Библиографию») — «прозостихом» или «короткой формой стихотворения в прозе» (тут уже явное приравнивание свободного стиха к стихотворению в прозе, что совершенно не одно и то же), Курбатов применяет условно-фигуральный термин «свободный стих — „загвоздка“» или называет ее просто «свободным стихом-миниатюрой» (но татарский вариант его же термина *ирекле шигырь-хикмэт* «свободный стих-хикмет» пожалуй, еще точнее отражает суть и формы и характер содержания данного вида свободного стиха — см. стр. 197—198).

Будет вполне справедливым сказать, что данная работа возникла на стыке двух наук — языкознания и литературоведения. Затронутые в книге теоретические проблемы и огромный фактический материал, содержащийся в ней, привлекут внимание специалистов этих двух смежных наук. Она может быть рекомендована также и как учебное пособие студентам-тюркологам.

Книга Х. Р. Курбатова представляет собой серьезное научное достижение и вносит значительный вклад в развитие теории лингвистической стилистики и поэтики.

Нигматуллин А. З.

[2] См.: сб. «Герой. Стиль. Мастерство», Казань, 1972 (на татар. яз.).

«Краткий толковый словарь русского языка (для иностранцев)». — Под ред. В. В. Розановой. Сост.: И. Л. Городецкая, Т. Н. Поповцева, М. Н. Судоплатова, Т. А. Фоменко.— М., «Русский язык», 1978. 227 стр.

Авторы рецензируемого словаря ставили перед собой две задачи: 1) очертить «наиболее употребительную и актуальную лексику» современного русского литературного языка, которая необходима для общения в официальной обстановке и в быту, для чтения периодической печати и художественной литературы средней трудности, для понимания радиопередач и телепередач (сюда следовало бы добавить — для просмотра кинофильмов и спектаклей, а главное — для обучения в советских учебных заведениях), т. е. фактически ставилась задача представить лексический минимум русского языка; 2) дать лексикографическое пособие для лиц, изучающих русский язык как иностранный в практическом плане, пособие, которое могло бы быть связующим или промежуточным звеном между тем или иным двуязычным словарем и обычным толковым словарем русского языка.

Обе задачи достаточно сложные и не имеющие прецедента в отечественной лексикографии. Необходимость же такого пособия очевидна, если иметь в виду резко возросший интерес в мире к изучению русского языка, огромный контингент иностранцев, занимающихся в советских вузах, миллионы учащихся школ и учебных заведений в зарубежных странах, ежегодно овладевающих русским языком как иностранным.

Отбор пяти тысяч «наиболее употребительных и актуальных слов» составителям облегчало то, что ко времени создания этого лексикографического пособия был опубликован ряд частотных словарей русского литературного языка, в которых оказались отраженными лексические особенности его основных функционально-стилевых ответвлений. Например, в словарях Г. Джоссельсона [1] и Э. А. Штейнфельдт [2] представлен материал, соответственно на 59% и 37,5% из художественной литературы, примерно на четверть — из периодики; частотный словарь, составленный в Университете дружбы народов им. П. Лумумбы [3], включает около трех тысяч слов, наиболее употребительных в русской разговорной речи; «Частотный словарь общенаучной лексики», изданный МГУ [4], отражает, как видно из названия, самые употребительные слова научного стиля речи. Более того, к тому времени стали появляться частотные словари сочетаемостей русских слов [5]. Следует отметить как положительный факт, что составители рецензируемого словаря имели возможность учесть и учли многое, что было сделано ко времени его создания в области статистической лексикографии. При отборе материала для словника за основу они взяли «Материалы к словарю основной лексики русского языка (существительные, прилагательные, глаголы)» [6] и «Частотный словарь современного русского литературного языка» Э. А. Штейнфельдт. Для сопоставления были взяты также, кроме указанных выше словарей: «Русский язык для всех. Словарь» (М., 1972), И. Кошараш, Е. Феньвеши-Коняева «Лексический минимум русского языка» (Будапешт, 1969) и некот. др. Был использован и опыт зарубежных словарей основной лексики, например, Г. Гугенема, Х. Итона, А. Хорнби.

Положительной стороной рецензируемого пособия, отличающей его от других лексических минимумов, является и отбор по принципу частотности и актуальности не только самих слов, но и их значений, а также сочетаемостей. Это, несомненно, ощутимый шаг вперед в разработке основ словарей такого типа, потребовавший большого предварительного исследования лексического материала по данным имеющихся лексикографических источников и соответствующих картотек.

Вместе с тем необходимо высказать некоторые замечания по отбору источников словаря и самого материала. Прежде всего отметим, что круг лексикографических справочников, характеризующих частотность непосредственно русских слов, несомненно, можно было бы увеличить, включив сюда все имевшиеся на время создания словаря источники, например: «Частотный словарь современной русской разговорной речи»

---

[1] H. H. Josselson, The Russian word count, Detroit, 1953.

[2] Э. А. Штейнфельдт, Частотный словарь современного русского литературного языка, Таллин, 1963.

[3] «2380 слов, наиболее употребительных в русской разговорной речи», М., 1968.

[4] «Частотный словарь общенаучной лексики», под ред. Е. М. Степановой, М., 1970.

[5] П. Н. Денисов, В. В. Морковкин, Л. А. Новиков, Проспект учебного словаря сочетаемости слов русского языка, М., 1971.

[6] «Материалы к словарю основной лексики русского языка (существительные, прилагательные, глаголы)», в кн.: «Вопросы учебной лексикографии», М., 1969

Н.П.Вакара[7], лексический минимум «Программы по русскому языку для студентов-иностранцев, обучающихся на подготовительных факультетах высших учебных заведений СССР» (М., 1966).

Следующее замечание связано с выбором частотных словарей, положенных в основу рецензируемого лексикографического пособия. Хотя ко времени его создания имелось «более двух десятков частотных словарей русского языка, общих и специальных, типа справочников по отдельным подъязыкам, авторам и предметным областям»[8], насчитывающих в целом более 10 тысяч слов, общим в них является значительно меньшее (в 3—4 раза) количество слов. Это объясняется жанрово-стилистическим и тематическим различием источников выборки материала для указанных лексикографических справочников. Поэтому в основу словаря рассматриваемого типа, если только ставится цель отразить специфику лексики основных функционально-стилевых ответвлений языка, должны быть положены такие частотные справочники, которые действительно отражали бы эту специфику. Словарь же Э. А. Штейнфельдт, материалы которого в данном случае взяты за основу словника, строился на выборках в основном из детской и юношеской литературы, так как предназначался как справочное пособие при составлении лексических минимумов для программ национальных школ. Предполагаемый адресат рецензируемого словаря — прежде всего, взрослые, изучающие русский язык в практических целях (в основном для овладения специализированными знаниями в наших учебных заведениях). В частности, более показательным в плане отражения лексики художественных произведений на то время являлся джоссельсоновский словарь, строящийся в большинстве своем на материале русской классической и советской литературы.

При подготовке данного словаря к переизданию необходимо соотнести его словник с крупнейшим пока «Частотным словарем русского языка», подготовленным группой сотрудников Ленинградского университета под руководством и под редакцией Л. Н. Засориной[9]. Объем выборок, на основе которых он создан, равен миллиону словоупотреблений, в то время как ранее опорой составителей частотных словарей были выборки максимум в 400 тысяч словоупотреблений. Кроме того, преимуществом нового частотного словаря являются более полные сведения о лексике современного русского языка с учетом ее функционально-жанровой дифференциации. В этом случае равномерно представлены четыре группы текстов-источников: художественная проза, драматургия, отражающая разговорную речь, научные произведения и публицистика, журнальные и газетные статьи. Сравнение его первых по частотности пяти тысяч слов (с частотой 21 и выше) со словником «Краткого толкового словаря русского языка (для иностранцев)» показывает, что по своему составу они разнятся весьма значительно. Возьмем для примера слова на букву *А*. В Словаре под ред. Л. Н. Засориной на букву *А* помещено 92 слова, в рецензируемом словаре — почти в два раза меньше. В последний не вошли многие лексемы даже с большой частотностью (более 45): *абсолютно*, *абсолютный*, *австриец*, *австрийский*, *агрегат*, *агрессивный*, *агрессия*, *академик*, *акт*, *алмаз*, *американец*, *американский*, *английский*, *англичанин*, *англо-французский*, *арена*, *аэродром*, не говоря уже о таких актуальных словах, как *автомашина* (33), *агентство* (26), *агрессор* (42), *азиатский* (26), *академический* (30), *аккуратно* (38), *актуальный* (24), *ансамбль* (26), *антиимпериалистический* (25), *араб* (24), *арестованный* (32), *архитектурный* (40), *аспирант* (25), *аудитория* (34), *африканский* (35). В то же время в Словарь оказались включенными такие лексемы, как *авария*, *алкоголь*, *алфавит*, *алюминий*, *апельсин*, *аппетит*, *аптека*, *арбуз*, *арифметика*, *ассистент*, *астрономия*, *атаковать*, *ателье*, *аэропорт*, которые в Словаре под ред. Л. Н. Засориной отмечены как имеющие минимальную частотность и, следовательно, находящиеся далее за пределами наиболее актуальных пяти тысяч слов. Речь, разумеется, не идет о слепой подгонке словника первого из этих словарей к словнику второго. И все же отличия между ними заставляют высказать некоторые пожелания составителям рецензируемого лексикографического пособия. В предисловии к словарю необходимо оговорить принципы отвода словника; требует объяснения не только количественная его сторона, но и его качественный состав. Здесь мало указать, что основными критериями отбора лексики являются ее частотность и актуальность, хотя в принципе это верно. Но где пределы этой частотности и актуальности, какие объективные показатели использовались при отборе лексики со слабой степенью частотности и актуальности? Ощущается необходимость дать научную и методическую аргументацию, обосновывающую включение в словник именно данного материала.

Отдельно следует поставить вопрос о словах-определителях, т. е. о словах,

---

[7] N. P. Vakar, A word count of spoken Russian. The Soviet usage, Columbus, 1966.

[8] Л. Н. Засорина, Частотные и учебные словари, «Р. яз. в нац. шк.», 1969, 2, стр. 24.

[9] «Частотный словарь русского языка», под ред. Л. Н. Засориной, М., 1977.

включаемых в минимум не потому, что они частотны или актуальны и, следовательно, нужны для общения, а только потому, что они необходимы при толковании лексики. Составители пишут в предисловии, что при толковании лексики использовали не особые слова-определители, а слова, представленные в словаре. Значит ли это, что им хватило для толкования отобранных первоначально слов, или они сочли возможным включить в словник все слова, использованные при толковании, как коммуникативно важные? Ответ на этот вопрос также желательно было бы получить в предисловии.

Таким образом, подытоживая сказанное о реализации в словаре первой задачи, которую составители поставили перед собой,— очертить наиболее употребительную и актуальную лексику, необходимую иностранцам для общения на русском языке, можно считать ее в основном выполненной на тот период, когда создавался словарь. После соответствующей доработки с учетом данных нового и самого представительного в настоящее время частотного словаря, изданного под ред. *Л. Н.* Засориной, рецензируемый лексикографический справочник может служить основой при составлении лексических минимумов для программ и учебников по русскому языку разных типов, издающихся в нашей стране и за рубежом. В этом смысле он уже сейчас является ощутимым подспорьем для методистов и преподавателей русского языка не только как иностранного, но и как неродного в условиях нашей многонациональной страны.

Посмотрим теперь, как оказалась реализованной вторая задача — дать т о л к о в ы й словарь русского языка, который иностранцы могли бы сами использовать в практических целях. Такой лексикографический справочник должен отвечать по крайней мере двум требованиям: 1) содержать необходимую грамматическую и семантическую характеристику всех слов, включенных в него; 2) быть доступным для иностранцев и удобным для использования, чтобы в минимальное количество времени они могли почерпнуть из него максимальную информацию лексикографического характера.

Слова в Словаре располагаются в алфавитном порядке, и это хорошо. Однако делается исключение для существительных, образованных от глаголов и обозначающих действие, состояние (*горéние* при *горéть*), названий лиц женского пола, образованных от названий по профессии, занятию лиц мужского рода (*артйстка* при *артйст*), относительных прилагательных (*бумáжный* при *бумáга*), порядковых числительных (*седьмóй* при *семь*), наречий, образованных от прилагательных (*грóмко* при *грóмкий*), некоторых глаголов с частицей *-ся* в страдательном и возвратном значении (*брйться* при *бирть*). Такая компоновка материала сокращает объем словаря и дает возможность не вдаваться в семантические объяснения соответствующих групп слов.

Положительным в рецензируемом словаре является расширение грамматической характеристики лексических единиц по сравнению с обычными толковыми словарями. Даются все формы слов, которые чем-либо могут затруднить иностранцев, в том числе нестандартные, супплетивные, заключающие чередующиеся звуки или иное по сравнению с начальной формой ударение, а также формы род. падежа ед. числа существительных, формы 3-го лица мн. числа глаголов. Словарь включает также, хотя и краткий, но обстоятельный грамматический очерк русского языка, содержащий сведения о его звуковых и морфологических особенностях. Грамматический очерк, однако, должен включать и основные синтаксические сведения. Если давать иностранцам ключ к пониманию морфологических форм, то почему бы не дать им ключа к пониманию и синтаксических конструкций, которые включены в толкование слов и в иллюстративный материал?

В словаре последовательно используются два способа семантизации лексики — посредством толкования ее на русском языке и посредством перевода ее на другие языки. Каждый из этих способов программирует определенный круг потребителей, причем оба эти круга могут накладываться друг на друга только частично. Так, перевод отобранных слов осуществляется на четыре языка: английский, французский, испанский, немецкий. Следовательно, данным словарем могут пользоваться лица, говорящие на указанных языках, независимо от того, в какой степени они владеют русским языком. Перевод дает возможность пользоваться словарем даже тем, кто только еще приступает к изучению русского языка, в том числе на подготовительных факультетах. Но перевод имеет и слабые стороны. Во-первых, им могут пользоваться только лица, которые владеют одним из указанных иностранных языков. Во-вторых, в словаре дается перевод только первого значения русских слов; вторичные их значения этим способом не семантизируются. В-третьих, перевод как способ семантизации в двуязычных словарях вообще имеет определенные недостатки, на которые обращал внимание еще акад. Л. В. Щерба, рассматривавший данный вопрос в теоретическом плане. Эти словари,— писал он,— «вовсе не стремятся сообщить понимание иностранных слов, а дают лишь их возможные в разных контекстах переводы» [10]. Л. В. Щерба объяснял та-

[10] Л. В. Щ е р б а, Преподавание иностранных языков в средней школе. Общие вопросы методики, М., 1947, стр. 90.

кое состояние словарей несовпадением понятий в разных языках и выдвигал в связи с этим идею создания иноязычного толкового словаря, в котором были бы искусно скомбинированы объяснения и переводы. Он рассматривал такие словари как переходную ступень между переводными словарями и толковыми словарями изучаемого языка, *которыми пользуются сами носители* этого языка и в которых значения слов раскрыты с достаточной полнотой и точностью. Следует добавить, что иноязычные толковые словари имеют и то преимущество, что являются в определенной степени самообучающими, так как позволяют пользующемуся ими не только постоянно повторять знакомые слова, входящие в круг определителей, но и расширять свой запас лексики за счет этих определителей. Идеей Л. В. Щербы воспользовались и практически осуществили ее составители рецензируемого словаря. Они последовательно применяют в целях семантизации отобранных слов не только переводы, но и объяснения на русском же языке. Как отмечают составители, все значения «толкуются с помощью тех слов, которые представлены в словаре» (стр. 5). А таких слов около пяти тысяч. Отсюда следует, что тот контингент учащихся, который не владеет указанными четырьмя иностранными языками, сможет пользоваться данным словарем, предварительно овладев если не всеми включенными в него лексическими единицами, то, по крайней мере, большей их частью, иначе таким учащимся будет требоваться большое количество времени, чтобы добраться до смысла многих слов, особенно с абстрактным значением. Следовательно, неочерченность или излишнее количество слов-определителей с методической стороны представляется слабым местом любого учебного словаря рассматриваемого типа.

Делая общий вывод о «Кратком толковом словаре русского языка (для иностранцев)», отметим, что: 1) предложенный тип словаря впервые разработан в нашей стране, в нем имеется ряд интересных лексикографических находок (отражение частотности не только слов, но и значений; показ типичных сочетаемостей; более детальная грамматическая характеристика лексики и некот. др.); 2) коллектив его составителей проделал большую работу по отбору материала для словника и его лексикографической обработке в целом; 3) словарь имеет определенный адресат. Сюда входят: а) иностранцы, владеющие одним из четырех языков, на которые сделан перевод словника, независимо от уровня их знания русского языка; б) иностранцы, не владеющие указанными языками, но знакомые с большинством слов-определителей (применительно к нашей системе обучения это лица, заканчивающие подготовительные факультеты); в) учащиеся национальных школ нашей страны. Кроме того, словарем могут пользоваться методисты русского языка, особенно составители программ, учебников, различного рода пособий, сборников, а также преподаватели русского языка, для которых этот язык не является родным.

Максимов В. И.

«Язык Л. Н. Толстого». Пособие по истории русского литературного языка. Под ред. А. Н. Кожина.— М., «Высшая школа», 1979, 240 стр.

Лингвистическая литература, посвященная творчеству Л. Н. Толстого, огромна; не менее многочисленны и литературоведческие труды, в которых рассматриваются вопросы стиля писателя. Все это, скорее, не облегчало, а усложняло задачи, поставленные авторами книги — дать представление читателю «о роли писателя в развитии словесной изобразительности и литературно-языковой культуры русского народа: о художественно ориентированном употреблении литературной и нелитературной речи, о стилистической организации речевого материала (структура „образа автора"), об экспрессивной многоплановости словоупотребления, об эстетической „нацеленности" грамматических средств в сфере художественного повествования, о речи персонажей как предмете художественного изображения, о кристаллизации национальной нормы художественного повествования, об отражении некоторых изменений в системе литературных норм в языке художественной прозы Л. Н. Толстого» (стр. 3).

Следует сразу же отметить, что отбор литературы, посвященной языку и стилю Л. Н. Толстого, произведен чрезвычайно тщательно: кроме трудов В. И. Ленина, имеющих принципиальное значение для изучения творчества Л. Н. Толстого, названы лингвистические и литературоведческие работы, в которых вопросы языка и стиля великого писателя исследованы с наибольшей полнотой охвата материала и на самом высоком научном уровне. Помимо этого ссылки на различные источники содержатся в тексте книги, и не только в функции подтверждения высказываемых авторами положений, но и в полемических целях. Так, например, начало второй главы строится как дискуссия

с Б. И. Бурсовым относительно стилистики «Севастопольских рассказов» (стр. 48—50).

Задачи книги, поставленные авторами, весьма многообразны и охватывают едва ли не все наиболее существенные характеристики языка и стиля прозаических произведений Л. Н. Толстого, т. е. самой главной и основной сферы его художественного творчества. Отказ от анализа драматургических и философских произведений писателя в данном случае представляется вполне закономерным, ибо здесь требуются иные посылки, иные лингвометодические основы, да и цели рассмотрения языковых характеристик драматургических и философских произведений не могут, по всей вероятности, вполне совпадать с задачами изучения толстовской прозы. Кроме того, в книге, ориентированной главным образом на студентов филологических факультетов университетов, в первую очередь, разумеется, должна рассматриваться «программная» проза: анализ проводится на материале самых значительных произведений — «Война и мир», «Воскресение», «Анна Каренина», «Казаки», «Хаджи Мурат», «Севастопольские рассказы», «Смерть Ивана Ильича» и некот. др. Надо сказать, что и отбор этих произведений, давно и прочно вошедших в золотой фонд русской и мировой классики, нередко получавших в научной интерпретации налет некоего «хрестоматийного глянца», требовал, наряду с учетом сложившейся традиции, и новых аспектов исследования.

Рецензируемая книга состоит из шести глав: первая глава — «О языке художественной прозы Л. Н. Толстого» (авт. А. Н. Кожин), вторая глава — «Художественное повествование. Структура „образа автора“ и стиль» (авт. В. В. Одинцов), третья глава — «Речевая трансформация образа» (авт. И. Я. Чернухина), четвертая глава — «Слово и текст» (авт. Л. И. Еремина), пятая глава — «Художественные функции речей персонажей» (авт. В. Н. Виноградова и Е. А. Иванчикова), шестая глава — «Язык и стиль „Войны и мира“ как воплощение русской национально-художественной нормы» (авт. Л. И. Скворцов).

Многообразие рассматриваемых проблем, особенно в работах, написанных несколькими авторами, почти постоянно таит в себе опасность некоторой «разноголосицы», при которой проявляются и теоретические расхождения в освещении поставленных вопросов, и языковая индивидуальность изложения, и подчас трудно совмещаемая разноплановость самих проблем. Авторы рецензируемой книги сумели избежать этой опасности: написанное ими исследование в целом характеризуется признаками общности и единства как в отношении лингво-методических посылок, так и в отношении формы самого изложения материала — и в этом несомненная заслуга редактора и автора первой главы А. Н. Кожина. Правда, некоторые расхождения индивидуальной манеры и установок авторов можно отметить в несколько многословном и излишне усложненном, на наш взгляд, описании материала в главе четвертой; в некоторой эскизности пятой главы, в частности, в параграфе «Средства словесной изобразительности»; в третьей главе, где постановка вопроса о «персонаже — объекте изображения» и «персонаже — субъекте изображения» еще требует уточнения дифференцирующих критериев.

Но это — частности. Значительно важнее и существеннее тот факт, что книга имеет общую основу, общую направленность. Единство соблюдается одним методологическим принципом: показом того, к а к и п о ч е м у Л. Н. Толстой использовал разнообразные речевые средства. При постановке этих вопросов авторы, как правило, исходят из внутренней структуры текста произведений, показывая тем самым не только результат художественного воплощения, но и творческую лабораторию великого писателя. Важна также постоянная опора на теоретические взгляды и суждения Л. Н. Толстого о языке, о читателе, о духовной деятельности в целом (см., например, стр. 12, 60—61, 74, 212—213 и др.). Здесь поднимается очень интересная, но мало изученная в лингвистике проблема — проблема теоретических взглядов художника слова на язык как на орудие своего творчества и их практического отражения в произведениях писателя [1].

Центральное место в книге занимает анализ использования с л о в а. Слово как основной элемент содержания произведения выступает в нескольких «ипостасях», определяемых отдельным избранным ракурсом, в многообразии функций, в своеобразном и единственно возможном употреблении. В то же время слово предстает в соотнесении с широким контекстом, со своими синтаксическими связями, нормативно-стилистическими характеристиками, взаимообусловленностью лексического окружения, взаимосвязью с «образом автора» и «образом персонажа».

Именно последний ракурс — взаимо-

[1] В связи с этой проблемой большой интерес представляет работа Ю. С. Сорокина «Взгляды Л. Н. Толстого на народный и литературный язык и эволюция толстовского стиля», в которой указывается: «Взгляды Толстого на язык и специально на русский язык в его двух основных разновидностях (литературный и народный язык) занимают часто если не центральное положение, то близкое, непосредственно связанное с центральными для его мировоззрения вопросами» (см.: «Славянское языкознание. VIII Международный съезд славистов», М., 1978, стр. 308).

связь с «образом автора» и «образом персонажа» — обусловливает пристальное внимание исследователей к психологической и социальной мотивации слова в тексте. В одних случаях «точкой отсчета» служит само слово как единица лексической системы языка, свойственная определенной функциональной разновидности: народно-разговорной, судебно-обиходной, религиозно-культовой и др. (гл. 1). В других случаях отбор лексики рассматривается через призму характеристик персонажей, осуществляемых авторской, несобственно-прямой и прямой речью (гл. 3 и 5), а также в качестве конструирующего элемента текста (гл. 4). Это не означает, что исследование имеет сугубо лексикологический аспект, совсем нет. Слово дается в широком контексте, а иногда акцент переносится на анализ самого текста и его структурно-композиционных особенностей: на этом методе построена, например, вторая глава, связанная с исследованием «образа автора».

В каждой главе книги привлекается обильный и разнообразный материал, авторы не скупятся на цитаты, анализ которых иллюстрирует научные положения и служит убедительным доказательством их справедливости.

Вместе с тем именно опора на текстуальный анализ позволяет в ряде случаев показать развитие и трансформацию традиционного словоупотребления и традиционной образности в творчестве Л. Н. Толстого. Так, например, в четвертой главе специальный параграф отводится анализу традиционно-поэтических символов, используемых в русской классической поэзии и прозе (у Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Некрасова), которые получают свое индивидуальное языковое выражение и у Л. Н. Толстого. В шестой главе «традиционно значимые „начины“», прослеживаемые в творчестве Гоголя и Некрасова, устанавливаются в большинстве частей «Войны и мира» (стр. 222—223); однако предположение автора о том, что традиция обозначения точной хронологии в художественном произведении ведет свое начало от русской летописи, не является вполне бесспорным. В данном случае мы имеем дело с хронологией в ее разной функции: функции подлинной документальности и функции имитации документальности.

Принципиально важным представляется постоянное обращение авторов к проблемам нормы литературного языка второй половины XIX в., соотнесение языка Л. Н. Толстого с литературным языком эпохи в целом. Такая постановка вопроса, на наш взгляд, вполне правомерная, существенна в теоретическом и практическом отношении. Она соответствует той классификации функциональных стилей литературного языка, при которой художественно-литературный стиль не отрывается, не отграничивается от других стилей, но выступает как некий синтез. Сами признаки «литературности», «нелитературности», «литературной периферийности» языковых элементов как признаки нормы обнаруживаются именно в связи со своей целевой направленностью и идейно-эстетической значимостью в тексте художественного произведения.

Проблемы нормы встают в разных главах и параграфах книги и рассматриваются в плане привлекаемого материала. Так, итог первой главы (стр. 42—45) составляют наблюдения (с учетом работ А. Х. Востокова и Я. К. Грота), касающиеся развития словоупотребления и словоформ, динамики нормы и ее отражения в языке писателя. В четвертой главе (стр. 111—115) в ситуации контекста анализируются стилистически маркированные единицы, главным образом, просторечия и элементы сферы судопроизводства. В третьей главе (стр. 66, 68) синтаксические характеристики разговорной речи связываются с дифференцирующим признаком «персонажа — субъекта изображения». «Проекция нормы» особенно наглядно выступает в пятой главе, где речевые особенности персонажей соотносятся с их социальными характеристиками по языковым уровням — фонетика, словообразование, лексика, синтаксис,— в последнем случае, в частности, синтаксические особенности как проявление разговорной и ораторской разновидностей дифференцируются не только по признаку социальному, но и по признаку эмоционально-психологическому (стр. 182—187). (Отметим, что в данной главе персонаж выступает не столько как «образ» в традиционном понимании, а как действующее лицо, как характер, живая личность.) Проблемам нормы уделяется большое внимание в шестой главе, завершающей книгу. Норма словоупотребления и словоформ в романе-эпопее «Война и мир» рассматривается по трем группам: 1) явления, связанные с влиянием французского языка; 2) явления, обусловленные системой литературных норм изображаемой эпохи; 3) явления, основанные на вариантности средств в индивидуальном языке Л. Н. Толстого. В этой главе проблемы нормы выходят за рамки системы литературного языка, в целом они рассматриваются в плане национально-художественного своеобразия, находящего свое претворение в границах национальных форм речи (стр. 197).

Шестая глава является завершающей не только по композиции книги: здесь содержатся итоговые положения о мировом значении творчества Л. Н. Толстого, о его непреходящем влиянии на развитие современной советской литературы. Как продолжение традиций национально-художественной нормы названы произведения А. Н. Толстого, К. Седых, П. Проскурина. Творчество великого русского писате-

ля является одним из самых ярких и очевидных примеров того, как художественные произведения, оставаясь глубоко национальными по своим идейно-содержательным и стилистико-языковым особенностям, приобретают интернациональное значение и способствуют преемственности в общем процессе развития литературы [2].

В этом смысле советская литература не может быть ограничена только национально-русским материалом, иллюстрирующим влияние Л. Н. Толстого на современном этапе. Приведем только один пример. Д. Магомедов, ссылаясь на работу У. Б. Далгата «Л. Н. Толстой и Дагестан» (Махачкала, 1960), пишет относительно повести Л. Н. Толстого «Хаджи Мурат»: «Популярность этой повести настолько велика, что... и поныне наблюдаются процессы фольклоризации ее». С одной стороны, фольклоризируется вся повесть, с другой — народные сказания о Хаджи-Мурате приобретают окраску толстовской повести. Так, например, в предании о Хаджи-Мурате, записанном в 1926 г. Г. Ясуловым со слов стариков на аварском языке, и в некоторых других сказаниях заметно влияние толстовской повести. Это свидетельствует о том, насколько она народна и близка горцам [3].

Итак, книга «Язык Л. Н. Толстого», выпущенная коллективом авторов под ред. А. Н. Кожина, отвечая требованиям, предъявляемым к жанру учебных пособий, является содержательным научным исследованием и по разработке конкретного материала, и по поднимаемым в ней проблемам. Продолжение основных традиций в изучении художественно-прозаического наследия Л. Н. Толстого сочетается здесь с выявлением ряда новых аспектов научных исследований. Книга представляет большой интерес не только для самого широкого круга языковедов, но и для литературоведов.

Михайловская Н. Г.

[2] См. об этом: А. Бушмин, Преемственность в развитии литературы, Л., 1978.

[3] Д. Магомедов, Развитие социалистических национальных художественных культур, М., 1979, стр. 59.

№ 3 1980

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

С 13 по 18 августа 1979 г. в столице ГДР Берлине состоялся IV Международный конгресс преподавателей русского языка и литературы, посвященный теме «Теория и практика преподавания русского языка и литературы. Роль преподавателя в процессе обучения». Он проводился в рамках деятельности Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ).

Работа конгресса вызвала живой интерес мировой общественности. С воодушевлением участники конгресса восприняли приветствие ЦК КПСС и Совета Министров СССР, которое огласил президент МАПРЯЛ акад. М. Б. Храпченко «Гуманистическая деятельность вашей ассоциации,— говорится в приветствии,— находит все большее признание во многих странах мира. Вместе с другими мировыми языками русский язык занимает важное место в общении между народами, способствует развитию научно-технической революции, обмену ценностями духовной культуры, расширению международных контактов и сотрудничества».

В приветствии делегатам Берлинского конгресса Генеральный секретарь ЦК СЕПГ, Председатель Государственного Совета ГДР Э. Хонеккер подчеркнул, что форум русистов мира служит «взаимопониманию и мирному сотрудничеству народов», тем самым он способствует «дальнейшему осуществлению Заключительного акта Конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе и политике мирного сосуществования государств с различным общественным строем».

В адрес конгресса поступили также приветствия от ЮНЕСКО и других международных организаций, в которых выражается уверенность в том, что IV Международный конгресс поможет решению общих проблем обучения иностранным языкам и будет способствовать развитию международного сотрудничества.

В работе форума русистов участвовало 1 830 делегатов из 65 стран мира. Самыми представительными были делегации из СССР, ГДР, ПНР, ЧССР, ВНР, НРБ. Широко были представлены страны Азии, Африки и Латинской Америки — русисты 41 государства этих регионов участвовали в форуме.

Научная программа IV конгресса была обширна и многообразна. В отличие от предыдущих конгрессов, на которых также обсуждались проблемы теории и практики преподавания русского языка и литературы, в центре внимания IV конгресса был вопрос о роли преподавателя в процессе обучения русскому языку, степени подготовки учителя-словесника, повышении его педагогического мастерства.

Специалисты обменялись опытом решения этих проблем в разных формах очного и заочного обучения — в школах, филологической и нефилологической аудиториях, кружках, на курсах и факультетах повышения квалификации.

На пленарные заседания были вынесены доклады ведущих русистов СССР, ГДР, СФРЮ, ПНР, ЧССР, Нигерии, Швеции. В этих докладах получили дальнейшую разработку лингвистические, лингводидактические, литературоведческие, психолингвистические и страноведческие основы современного обучения русскому языку.

Помимо пленарных заседаний работали 6 секций: научно-методические основы преподавания русского языка как иностранного; преподавание русского языка как иностранного в школе; преподавание русского языка как иностранного филологам-русистам; литературоведение в системе подготовки преподавателей русского языка; преподавание русского языка как иностранного специалистам-нефилологам; краткосрочные и заочные формы обучения русскому языку и повышение квалификации преподавателей русского языка и литературы.

Состоялось заседание Круглого стола, где обсуждались вопросы изучения русского языка в странах мира.

На заседаниях секций и Круглого стола было заслушано 525 докладов и сообщений. По итогам работы секций приняты рекомендации по дальнейшему совершенствованию преподавания русского языка. Тезисы докладов и основные доклады ведущих русистов СССР, ГДР, ЧССР изданы отдельными сборниками. Доклады специалистов ряда других стран опубли-

кованы в научно-методических журналах. Важнейшие результаты работы конгресса публикуются на страницах журнала «Русский язык за рубежом» и других периодических изданий.

Состоявшийся на конгрессе обмен мнениями раскрыл плодотворную деятельность педагогических и научно-исследовательских коллективов разных стран по внедрению в практику новейших достижений лингвистической и методической мысли, дальнейшей координации работы, улучшению качества учебников, учебных пособий и дидактических материалов.

На торжественном открытии конгресса, по решению Исполнительного совета МАПРЯЛ, состоялось награждение медалью А. С. Пушкина известных русистов, внесших значительный вклад в распространение и преподавание русского языка. Первыми лауреатами медали А. С. Пушкина стали: А. Шмид (Австрия), С. Русакиев (НРБ), Р. Суара (ВНР), К. Габка (ГДР), Ч. Чакраварти (Индия), Л. Мас Мартин (Куба), С. Галсан (МНР), Б. Бялокозович (ПНР), И. Ойце (СРР), И. Пулькина (СССР), И. Вахрос (Финляндия), П. Полья (Франция), А. Алитан (ФРГ), М. Сотак (ЧССР), В. Циха (ЧССР), А. Менац (СФРЮ).

В дни проведения конгресса работала выставка, на которой были представлены учебники русского языка и учебные пособия, аудиовизуальные средства обучения, а также научные исследования в области русистики. Более тысячи наименований научной и учебно-методической литературы экспонировались 22 странами. Специальный раздел был посвящен деятельности МАПРЯЛ.

Научная и организационная деятельность конгресса получила широкое освещение в периодической печати, радио- и телепередачах. Более 100 аккредитованных корреспондентов разных стран мира представляли восемь агентств печати, тридцать шесть редакций газет и журналов, три теле- и шесть радиостанций.

К проведению IV Международного конгресса преподавателей русского языка и литературы была приурочена работа XV и XVI сессий Исполнительного совета МАПРЯЛ, а также Генеральной ассамблеи Ассоциации, на заседаниях которых были заслушаны отчеты за трехлетний период деятельности МАПРЯЛ и намечен план работы на следующие три года. На заседаниях Генеральной ассамблеи были избраны руководящие органы Ассоциации: президентом вновь избран акад. М. Б. Храпченко, Генеральным секретарем — член-корр. АПН СССР проф. В. Г. Костомаров.

Конгресс стал важным этапом в развитии мировой русистики, он еще раз продемонстрировал расширяющееся сотрудничество русистов мира, развитие современной науки о русском языке, росте интереса к изучению русского языка и литературы. Достигнутый уровень современного состояния русистики, который был констатирован на этом конгрессе, определил проблематику следующего, V Международного конгресса преподавателей русского языка и литературы. Для обсуждения предложена тема: «Современное состояние и основные проблемы изучения и преподавания русского языка и литературы». Генеральная ассамблея утвердила план работы МАПРЯЛ на период до V конгресса, который состоится в Праге в 1982 г. Этот план предусматривает проведение целого ряда международных симпозиумов и конференций по теоретическим и практическим вопросам изучения и преподавания русского языка и литературы, в том числе по таким темам, как «Проблемы повышения эффективности в подготовке филологов-русистов» (ГДР, 1980 г.); «Вопросы теории и практики преподавания русского языка и литературы в странах Азии» (МНР, 1981 г.); «Вопросы теории и практики преподавания русского языка и литературы в странах Африки» (Нигерия, 1981 г.); «Актуальные проблемы преподавания русского языка и литературы: реализация принципа коммуникативности в обучении» (ЧССР, 1981 г.); «Преподавание русского языка в финно-угорских школах» (Финляндия, 1981 г.); «Проблемы изучения и преподавания русского языка в англоязычных странах» (США, 1981 г.); «Вопросы изучения и преподавания русского языка в скандинавских странах» (Швеция, 1982 г.).

На этих встречах ученые проанализируют материалы IV конгресса, что послужит расширению и углублению проблематики V конгресса, повышению качества научно-исследовательской и научно-методической работы, обобщению опыта русистов всех стран, практической реализации новейших достижений в преподавании русского языка с учетом конкретных условий и традиций каждой страны на основе развития творческого сотрудничества русистов мира.

Планом предусмотрено проведение в 1981 г. в Москве IV Международной олимпиады школьников по русскому языку и ряд других мероприятий.

Сохин С. И. (Москва)

15—17 мая 1979 г. в Ленинграде в Институте русской литературы АН СССР (Пушкинский Дом) состоялась Всесоюзная научная конференция, посвященная 80-летию со дня рождения выдающегося русского писателя Леонида Максимовича Леонова. На юбилейной конференции

было заслушано и обсуждено 56 докладов и сообщений [1].

Одной из отличительных особенностей конференции явилось то, что ее участники уделили большое внимание вопросам языка и стиля прозаика. Как известно, до недавней поры эта важная тема сравнительно редко затрагивалась литературоведами и лингвистами (можно назвать лишь специальные исследования В. А. Ковалева, Н. П. Люлько и некот. др. авторов).

Выступая на пленарном заседании, В. А. Ковалев, в частности, сказал: «Велика, неоценима роль Леонова в истории русской советской литературы, в развитии и обогащении ее языка». Своеобразным подтверждением этих слов видного ученого и стали те доклады, в которых шла речь о микроструктуре леоновских произведений, об их «первоэлементе».

С циклом интересных докладов, посвященных языковой фактуре созданий писателя, выступили представители Института русского языка АН СССР: А. Н. Кожин, Е. А. Иванчикова, Л. И. Еремина, В. В. Одинцов (Москва). Следует заметить, что между лингвистами-москвичами и сотрудниками сектора советской литературы ИРЛИ установились прочные контакты, которые обещают немало полезных начинаний: в Пушкинском Доме было проведено обсуждение двухтомного коллективного труда «Языковые процессы современной русской художественной литературы», выполненного в Институте русского языка (1977 г.); разработана большая совместная программа по изучению языка и стиля крупнейших русских мастеров слова XX в.— А. Н. Толстого, А. А. Фадеева, М. А. Шолохова, Л. М. Леонова, К. А. Федина и др.

На различных способах эстетизации профессиональной лексики в прозе Леонова (на материале романа «Русский лес») остановился в своем докладе А. Н. Кожин. Сосредоточив внимание на анализе военной лексики, докладчик отметил, что она многогранна и всегда приобретает у писателя неповторимую окраску, передающую движение жизни. Используя средства военно-деловой речи, Леонов очень тонко передает, например, крах «молниеносной войны», на которую рассчитывала фашистская Германия, достоверно изображает парад на Красной площади 7 ноября 1941 г. А. Н. Кожиным были подробно рассмотрены стилистические функции таких слов, как *переход*, *выкладка* и др. Кроме того, он продемонстрировал разные случаи неожиданных леоновских сцеплений, связей и переключений (соединение военного слова с бытовым — *брешь* и *просунуться*; стыковка военной лексики с сугубо мирной — *артиллерия* и *промоина*). Далее докладчик говорил об умении прозаика максимально приближать батальные картины к читателю, подытоживать с помощью военно-деловой лексики повествование, о леоновском мастерстве перифразы, непринужденно-попутных уточнений, добавлений, комментариев, подсказок, о семантическом переосмыслении писателем отдельных слов и выражений.

Е. А. Иванчикова посвятила свой доклад «Семантика и эстетика леоновской фразы» рассмотрению, с одной стороны, некоторых особенностей синтаксиса прозаика и, с другой стороны, отдельных синтаксических приемов, выполняющих в его художественных текстах эстетические функции. Наблюдения проводились на материале романа «Русский лес». Проанализированные случаи проявления специфичности писательского почерка Леонова в построении фразы и в организации более сложных контекстных образований, по мнению докладчицы, позволяют выделить такие свойства его индивидуального синтаксиса, как сжатие, лаконизацию синтаксической формы и ее предельное смысловое насыщение; тенденцию к смысловой завершенности участков повествования; пристрастие к обобщенному выражению смысла воссоздаваемых фактов; оснащение изображаемых лиц или предметов конкретизирующими, разъясняющими деталями; акцентуацию как смысловых центров сообщения, так и его периферийных элементов. В докладе было показано, как синтаксически обусловленная семантика леоновской фразы взаимодействует с ее «эстетикой» в конкретных компонентах текста романа, выделяемых с точки зрения их художественно-образных функций. Наблюдения над функционально-синтаксической структурой повествовательных и описательных контекстов «Русского леса» дают право говорить, в частности, об определенной склонности писателя к интеллектуализации изображений. Е. А. Иванчиковой демонстрировались также примеры использования синтаксических средств при построении речевых характеристик персонажей произведения. Наряду с функцией объектно-живописующей, синтаксис Леонова выполняет и функцию субъектно-оценочную, когда автор от себя или вместе со своим героем выражает то или иное отношение к повествуемым фактам или описываемым картинам.

В докладе Л. И. Ереминой «Структура диалога в прозе Л. Леонова» отмечалось, что в произведениях писателя авторское повествование органично вливается в систему диалога, становится существенно необходимой частью диалогических сцен, что в авторском повествовании сохраняется не только «аспект героя», но и формы речи персонажа, его «речевая маска». Леонов-прозаик стремится

[1] Полный отчет о работе Леоновской конференции читатель может найти в журнале «Русская литература» (1979, 4).

к зрелищности диалога, поэтому велика роль авторских комментирующих ремарок, раскрывающих психологическую атмосферу той или иной сцены. Позиция персонажа, его эмоциональность проникают в речь рассказчика, сообщая повествованию внутреннюю полифоничность. Мастерство Л. Леонова, подчеркнула докладчица, выявляется именно во взаимопроникновении и взаимодействии собственно диалога и авторской речи.

В докладе В. В. Одинцова «Субъектно-стилистические формы в ранней прозе Л. М. Леонова» была предпринята попытка объяснить противоречие в литературоведческих оценках ранних повестей и рассказов Л. М. Леонова нечеткостью, двойственностью структуры «образа автора». Эта нечеткость обусловлена была тем, что молодой писатель не овладел в необходимой степени стилистическими приемами конструирования субъектно-стилистических форм.

Вопросы языка и стиля Л. М. Леонова затрагивались и в других докладах, прозвучавших на конференции.

Характер метафоры в романах писателя рассматривался в сообщении В. Н. Чембай (Днепропетровск). По типу метафоризации Леонов, считает докладчица, стоит ближе не к тому стилевому течению, полюса которого иногда условно обозначают именами М. А. Шолохова и Н. А. Островского, а к линии, представленной творчеством М. Горького и М. М. Пришвина. Даже статистические подсчеты (при всей их неизбежной приблизительности) дают весьма интересные результаты. Важна и качественная основа метафоры у названных прозаиков: Л. Леонова роднит с М. Пришвиным и М. Горьким высокий уровень абстрагирования. В метафоричности леоновского мышления выражается сложность идейно-художественных концепций писателя. Например, в романе «Русский лес» метафора передает многогранный духовный мир советского человека. Кроме того, при помощи метафоры воссоздается философское видение мира автором, его восприятие человека как части природы, обращение к мышлению предков. Метафора Л. Леонова связана со стремлением автора объективно воссоздать действительность через ряд опосредованных звеньев: на основное значение образа как бы наслаивается ряд дополнительных, углубляющих и расширяющих читательское восприятие оттенков изображаемого. Источниками метафоризации в романах Леонова служат архаизмы и военная терминология (*Москва с опущенным забралом*, *лесной генерал* и т. п.), соединение экономических и этических категорий, понятий (*социальная и нравственная промышленность*), переосмысление фольклорных, литературных мотивов и др.

В докладе И. А. Демченко (Ростов-на-Дону) «Иронические контрасты стиля в несатирической прозе Л. Леонова» подчеркивалось, что художник, следуя традициям русской классической и советской сатиры, обновляет ее приемы и создает новые или синтезирует старые, которые проявляются у него уже в ином, неожиданном качестве. Контрасты «иронического разностилья», по мнению И. А. Демченко, встречаются в леоновской прозе на самых разных уровнях (композиция, язык автора и персонажей, фраза, словосочетание, отдельное слово или даже часть его).

Некоторые аспекты леоновской ономастики были предметом рассмотрения Н. П. Малахова (Ташкент), выступившего с докладом «О рассказе „Бродяга“». Отдельные особенности символики писателя анализировались в сообщениях В. В. Курилова (Ростов-на-Дону) и С. Н. Добрякова (Москва).

Подводя итоги конференции, В. А. Ковалев в качестве одной из ее характерных черт назвал возросший интерес к поэтике Л. М. Леонова, к языку и стилю крупнейшего мастера слова.

Бекедин П. В. (Ленинград)

CONTENTS

Articles: Trubačev O. N. (Moscow). Reconstruction of words and their meanings; **Discussions:** Pozdnjakov K. I. (Moscow). Problems of methods in comparative-genetic analysis; Elizarenkova T. Ja. (Moscow). Vedic and Sanscrit: variation of the linguistic type; Čerkasov L. N. (Yaroslavl). Manner of articulation of consonants in modern literary Russian as a criterion of their classification; Pumpjanskij A. L. (Moscow). On the material aspect of language; Alpatov V. M., Krjučkova T. B. (Moscow). Male and female variants of the Japanese language; **Materials and notes:** Tarlanov Z. K. (Petrozavodsk). On the isomorphism of verbal-nominal formants in languages of Daghestan; Grinbaum N. S. (Leningrad). Ancient Greek literary language. Early Hellenistic period; Hattori S. (Tokyo). On the formation of the Tatar and Chuvash languages; Birjukovič R. M. (Saratov). The case for the category of possession in Turkic languages (some semantic arguments); Sologub A. I. (Moscow). Accentuation in the paradigms of feminine singular nouns in Russian dialects; Lundin A. G. (Leningrad). Degrees of comparison of adjectives in Semitic languages; Gamzatov R. G. (Moscow). Linguistic development in Daghestan in the conditions of far-advanced socialist society; **Reviews.**

SOMMAIRE

Articles: Trubačev O. N. (Moscou). Reconstruction des mots et de leurs significations; **Discussions:** Pozdnjakov K. I. (Moscou). Méthodes d'analyse génétique comparée; Elizarenkova T. Ja. (Moscou). Le védique et le sanscrit: variation du type linguistique; Čerkasov L. N. (Yaroslavl). Classification des consonnes du russe littéraire moderne d'après le mode d'articulation; Pumpjanskij A. L. (Kalinine). Sur l'aspect matériel de la langue; Alpatov V. M., Krjučkova T. B. (Moscou). Variantes masculine et féminine du japonais; **Matériaux et notices:** Tarlanov Z. K. (Petrozavodsk). Sur l'isomorphisme des formants verbo-nominaux dans les langues du Daghéstan; Grinbaum N. S. (Léningrad). Le grec ancien littéraire. Première période hellénistique; Hattori S. (Tokyo). Sur la formation des langues tatare et tchouvache; Birjukovič R. M. (Saratov). Fondements sémantiques de la catégorie de possession dans les langues turques; Sologub A. I. (Moscou). Accentuation des paradigmes des noms féminins singuliers dans les parlers russes; Lundin A. G. (Léningrad). Degrés de comparaison dans les langues sémitiques; Gamzatov R. G. (Moscou). Développement linguistique du Daghéstan dans les conditions de la société socialiste avancée; **Comptes rendus.**

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

1. Авторам публикуемых статей направляется копия наборного экземпляра, который является окончательным вариантом сдаваемого в набор материала; корректура авторам высылаться не будет.

2. Рукописи должны представляться в двух экземплярах; текст и подстрочные примечания обязательно должны быть напечатаны на машинке через два интервала. После подписи указываются сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, место работы, занимаемая должность, ученая степень, домашний адрес, телефон.

3. Объем статьи не должен превышать 24 стр., объем рецензии — 10 стр. машинописи.

4. Все цитаты и ссылки в статье должны быть тщательно выверены по первоисточникам.

5. При ссылках (в тексте и сносках) необходимо придерживаться порядка: автор, название книги или статьи, название издания (для статьи), заключенное в кавычки, место издания, год издания, страницы. (Страницы, определяющие границы статьи в издании, указываются лишь в критико-библиографических обзорах.)

6. Все примеры на иностранных языках должны быть снабжены переводами. Примеры в журнале принято давать курсивом (подчеркивать в рукописи волнистой чертой), а значения их в кавычках.

7. Все формулы и буквенные обозначения величин должны быть четко выполнены чернилами (следует делать ясное различие между заглавными и строчными буквами).

8. Рисунки должны быть тщательно выполнены тушью: чертежи, сделанные карандашом, не принимаются. Не рекомендуется загромождать рисунок ненужными деталями, все надписи должны быть вынесены в подпись, а на рисунке заменены цифрами или буквами. На полях рукописи указывается место рисунка, а в тексте делается на него ссылка. Фотографии принимаются в двух экземплярах (второй для редакции и ретушера в качестве контрольного). При изготовлении клише величина оригинала уменьшается в два-три раза, поэтому фотографии должны быть четкими и контрастными. Фотографии, выполненные в малом размере и нечетко, не принимаются. На обороте каждого рисунка должны быть проставлены фамилия автора, заглавие статьи и номер рисунка. Статью не следует перегружать графическим материалом.

9. Непринятые рукописи не возвращаются.

10. Статьи, опубликованные или направленные в редакции других журналов, не принимаются (за исключением раздела «По страницам зарубежных журналов»).

11. Хроникальные заметки должны представляться в редакцию в течение двух месяцев с момента описываемого события в лингвистической жизни. Объем хроникальной заметки — 3—5 стр.

Технический редактор *Т. Н. Сенченко*

Сдано в набор 29.02.80 Подписано к печати 30.04.80 Т-05278 Формат бумаги 70×108¹/₁₆
Высокая печать Усл. печ. л. 14,0 Уч.-изд. л. 16,1 Бум. л. 5 Тираж 7118 экз. Зак. 2869.

Издательство «Наука», 103717 ГСП, Москва, К-62, Подсосенский пер., 21
2-я типография издательства «Наука», 121099 Москва, Шубинский пер., 10